

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

ЗА БУЙКИ

КНИГА РАССКАЗОВ

Минск 2012

СОДЕРЖАНИЕ

I. У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА.....	3
У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА	3
ЗА БУЙКИ	9
ЛЮБОВЬ.....	19
ЗВЕЗДОПАД.....	25
ЗАГАДОЧНАЯ УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ	28
АВАРИЯ.....	36
ДВА ДНЯ И ДВЕ НОЧИ	44
ТЫ ОКАЗАЛАСЬ ГРУСТНОЙ, ТАКАЯ РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ	54
ЗОЛОТАЯ РЫБКА.....	61
МЕДВЕДЬ.....	72
ЭФФЕКТ ЛОТОСА.....	80
ВЕЩЬ	94
II. ТАРАКАНЬИ БЕГА	104
ТАРАКАНЬИ БЕГА.....	104
ОСКАЛ ОПТИМИЗМА	110
ПИРАМИДЫ	116
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС.....	121
ОПРОВЕРЖЕНИЕ	126
ДИАЛОГ	132
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ П. П.	137
УЖИН, ЗАВТРАК.....	152
III. ПРОТОТИП.....	160
ПРОТОТИП	160
ПРАЗДНОСТЬ	164
ПРОГУЛКА	169
РАССКАЗ О ТОМ, КАК Я НАПИСАЛ РАССКАЗ	175
РАССКАЗ О ТОМ, КАК Я ЗАКОНЧИЛ РОМАН	186
ШКОЛА ДЛЯ УМНЫХ, или МЕТАМОРФОЗЫ ГИПЕРБОРЕЯ.....	190
СОБОР ГАУДИ	194
Я	200
IV. КОРОТКИЕ НОВЕЛЛЫ	204
ИЗ-ЗА ДЕНЕГ?	204
ИСКУССТВО НЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ.....	205
КАПЛИ МОЛОКА	206
ЛЕДИ В ГОЛУБОМ.....	207
ПЕРВАЯ ФРАЗА	210
ПЕРСОНАЖ	212
СКОВОРОДКА, БЛИНЫ И НАДКУШЕННАЯ САРДЕЛЬКА	214
ЧУДО.....	216
ШАРФИК И ШЛЯПА	218
НА ЯЗЫКЕ ЯГАН	221

I. У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА

У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА

- Война была не такая, война была другая, - капризно твердила пышная Людмила Дорофеевна, дама представительная, с манерами, целомудренно оправляя оборки платья в цветочек.

- Позвольте с вами не согласиться, - сухо кашляя в кулачок, сопротивлялся сублильный Орфей Иванович. При покашливании на левой стороне его узкой, но выпуклой груди со сдержанным достоинством позванивали густо посаженные медали, скромно уступившие место в первой – верхней – шеренге выразительному ордену (второй орден горячей звездой одиноко распластался справа).

9 мая 1975 года, в День 30-летия Великой Победы, brave Орфей Иванович заглянул к Людмиле Дорофеевне с букетом тюльпанов и с не вполне ему самому ясным, однако же достаточно определенным намерением. Праздник придавал уверенности бывшему капитану-артиллеристу, а ныне вдовцу и преподавателю музыкального училища по классу кларнета и флейты.

Дело происходило давно, в Таджикистане, в Ленинабаде, городе Ленина на Сыр-Дарье, – древнем городе, который, по преданию, завоевал сам Александр Македонский. Героев рассказа нет уже в живых, но я, любимый ученик Орфея Ивановича, исполнявший самые ответственные партии в оркестре под его руководством, отчетливо помню облик моих невыдуманных персонажей, их искренние интонации, залитый солнцем среднеазиатский сухой май и свое первое тяжелое недоумение, так усложнившее мою до того беспечную молодую жизнь.

... Цветы Людмила Дорофеевна поставила в вазу, водрузив ее в центр овального стола; при этом она, походя, ткнув холемым пальцем большую кнопку, выключила черно-белый телевизор «Горизонт», по которому звучали коллючие марши и показывали документальные кадры военного времени. Советские войска непрерывно побеждали врага на всех фронтах, и собирались делать это весь день – и вдруг наступила, казалось бы, мирная тишина. В этот момент она и произнесла свою простую фразу про «другую войну», так задевшую Орфея Ивановича. Очевидно, поэтому она повторила ее, издевательски не поменяв ни слова.

- Вы ведь водку пьете? Извините, я не держу в доме водки, - добавила хозяйка.

- Спасибо, я не пью водки, гм-гм, с некоторых пор. Я захватил хорошее вино, если вы не возражаете.

На этикетке крепленого марочного вина «Ганчи» медалей было больше, чем на груди скромного, однако довольно решительно настроенного гостя.

Откупорив бутылку с вином, Орфей Иванович разлил его в бокалы – почти до краев. Людмила Дорофеевна воспитанно не подала виду, но как-то

удивительно тонко, едва ли не кружевами и манжетами, дала понять, что она не одобряет такие широкие, практически варварские жесты.

- За Победу, за Великую Победу! – неуклюже вставая, сказал Орфей Иванович, игнорируя нюансы ее поведения, от которых в любое другое время он получал ни с чем не сравнимое удовольствие, и вытянул вино до конца большими громкими глотками. Людмила Дорофеевна не притронулась к бокалу, даже не пригубила.

- Так какая же была война? – вежливо поинтересовался раненый в ногу и контуженный капитан, дошедший до Берлина, но оказавшийся потом в Средней Азии – за то, что он когда-то высказал свое мнение о войне и о знаменитом генерале (капитан назвал его «людоедом» и «фашистом») в кругу подвыпивших, но весьма бдительных однополчан. Кроме того, ему припомнили, что он обучался игре на кларнете у специалиста, закончившего Венскую консерваторию. Специалиста отправили на Колыму, а его любимого ученика Орфея, коренного минчанина, – туда, где потеплее, в Среднюю Азию.

- Я всю войну провела в городе Белая Церковь, что на Украине, - начала Людмила Дорофеевна явно с намерением выговориться и убедить неизвестно в чем, неизвестно чему сопротивлявшегося гостя.

- Вы были под оккупацией?

- Не сказала бы.

- Но ведь немцы захватили город?

- Они вошли туда и без наглости расположились в домах мирных жителей, никого особо не стесняя.

- Так-так, - сказал капитан и прошелся по комнате, слегка приволакивая ногу. При этом медали на его груди зазвенели вызывающе, и даже саркастически. – И что же делали немцы в городе Белая Церковь?

- Они не делали ничего плохого.

- Они никого не убивали?

- Что вы?! – изумилась Людмила Дорофеевна. – Они нам помогали.

Капитан воинственно прошелся в другой конец комнаты. Бряцающие медали уже не скрывали гнева и раздражения.

- Да не мельтешите вы перед глазами, ей-Богу, сядьте, я вам сейчас все расскажу.

Орфей Иванович присел на краешек стула воспитанным истуканом. Хозяйка налила ему вина в бокал – ровно до половины, как и полагается в приличных домах и компаниях. Он не шелохнулся.

Людмила Дорофеевна отпила маленький глоток вина и продолжала:

- В доме моего отца, репрессированного большевиками за то, что он был священником и сыном священника, – доме большом, с прекрасным земельным участком, – встал на постой немецкий офицер с денщиком.

Орфей Иванович мрачно смотрел на свой бокал.

- Они не тронули иконы в красном углу. И мне любезно предложили лучшую комнату, заметьте.

- Сначала вероломно напали на нашу страну, потом вломились в ваш дом, а потом вам предложили комнату в вашем же доме? Сразу видно: культурные люди.

- Не будьте таким наивным и занудным. Мужчины всегда воюют, а военным надо было где-то жить. Так было всегда, во все времена. Но офицер с денщиком вели себя вежливо, не позволяли себе никакого хамства, всегда «битте» и «данке шен». У обер лейтенанта были до блеска начищенные сапоги, великолепный одеколон, гладко выбритое, ухоженное лицо, голубые глаза. Как у вас. Он вообще чем-то напоминал вас. Вы знаете, он обращал на себя внимание. Однажды, когда я слушала по радио сводку Совинформбюро, – да, да, я легкомысленно нарушила строгий запрет – в комнату ко мне постучался офицер, герр обер лейтенант, звали которого, дай Бог памяти...

- Ганс. Или Фриц. Что, впрочем, одно и то же.

- Не ёрничайте, Орфей Иванович. Вам это не идет. Его звали Рихард.

- А зачем он постучался в вашу комнату?

- Что за вопрос?! Надеюсь, это не пошлый намек? Не помню уже. Так вот. Со страху я выключила радиоприемник, но оставила его на прежней, московской, волне. Он вошел, пристально посмотрел на шкалу, – и сделал вид, будто не заметил, что чёрная стрелочка предательски застыла на запретной точке. Он, конечно, обо всем догадался. Вообще, он вел себя очень прилично, хотя, кажется, был ко мне неравнодушен.

- За победу над фашистской Германией, нашим злейшим врагом, - сказал Орфей Иванович и залпом выпил вино. Людмила Дорофеевна вновь проигнорировала его тост.

- А его денщик, представляете, постоянно насвистывал арии из опер. Он знал весь мировой репертуар и обожал Чайковского. Кроме того, он бесподобно ухаживал за цветами. Такого цветника я не видела в своем доме никогда. Боже мой, какие он вырастил розы! Уму непостижимо!

Орфей Иванович налил себе бокал до краев.

- А когда немцы вынуждены были отступить, то денщик аккуратно собрал вещи и целый день, насвистывая без единой нотки фальши и жмурясь от солнца, сажал морковь в огороде – под линейчку, строго по линии. Забивал колышки, натягивал веревочку – и только потом сеял семена. «Зачем вы это делаете?» - спросила я, разумеется, по-немецки (в школе мы все учили немецкий). «Ведь вы же отступа..., простите, уходите. Вы не увидите результатов своего труда». Он перестал свистеть, посмотрел на меня и ответил: «Но ведь вы же не уходите, фрау Людмила. Здесь будут жить хорошие люди. Я хочу, чтобы после нас остались лучшие воспоминания». Представляете? Потом пришли солдаты Красной Армии в грязных сапогах и растоптали весь посев морковки. Нет, не весь, кое-что выросло, и морковка оказалась чудесной, просто чудесной. А по телевизору и в кино немцев представляют варварами, дураками и садистами. Это вранье, и больше ничего. Меня это возмущает. Я просто не могу смотреть военных фильмов.

- А я убивал немцев, - задумчиво сказал Орфей Иванович. – У одного были начищенные сапоги, а я взял и убил его.

- За что?! – воскликнула Людмила Дорофеевна, в ужасе закрывая свежее лицо руками.

- За то, что он хотел убить меня. Прострелил мне ногу своим крупнокалиберным, и в мой грязный сапог набежало с литр крови. Едва Богу душу не отдал...

- А за что он хотел убить вас?

- Вы не поверите, Людмила Дорофеевна, но этот фашист положил почти половину нашего батальона. Нельзя было нам атаковать с той губительной позиции, нельзя. Поляна простреливалась вражеским пулеметом насквозь. Я ведь сказал об этом комбату Леонидову, царство ему небесное.

- А он, что, не послушал вас?

- Приказы на войне не обсуждаются, Людмила Дорофеевна. Они выполняются. Глупые приказы – тем более. Любой ценой. Мои лучшие друзья лежат под Белой Церковью. Я забыл спросить того гада, зачем он убивал наших солдат. Мне было не до того. Я убил его, всадил в него три пули, все, что оставалось в обойме, а потом еще и штык-нож вонзил, со скрежетом. Наверное, задел за ребра, хотя мне показалось, что у него вместо сердца – камень, и я сталью – по камню. А потом я сел и заплакал. Мне ребят было жалко. Лешку... Матвея... Витька... Потом меня подобрала санитарка, славная девушка. Александра. Через два дня ее убили... Ее Лешка любил... Я не долечился в госпитале, сбежал на фронт. Мне хотелось убивать этих нелюдей, с камнями вместо сердца, еще и еще. У меня была другая война, Людмила Дорофеевна. Там не сажали морковку и не насвистывали арий. Извините.

- Вы меня не обманываете? Вы на самом деле убили человека?

- Не человека, а фашиста.

- Фашисты тоже люди. Они были культурными людьми, они не могли убивать просто так. Должна же быть причина. Почему никто не говорит о причине?

- Они убивали за идею, просто потому, что считали себя сильнее. И умнее. И талантливее. Иконы не трогали, а людей уничтожали. Они считали меня второсортным «материалом». Поэтому я их и ненавижу.

- Ненависть разрушает человека.

- Ненависть к фашистам укрепляет мой дух. А еще я ненавижу фашистов за то, что они заставили меня убивать и ненавидеть. Они и меня сделали немного фашистом...

- Большевики тоже хороши, скажу я вам. Они тоже перекраивали мир «за идею», и для них мой отец тоже был второсортным «материалом». Да и вас они не пожалели...

- Не путайте божий дар с яичницей. Одно дело – убивать из любви к людям, и совсем другое – из любви к себе, из презрения к другим. Большевики были вооружены благими намерениями. Их жестокость – это жестокость романтиков, а жестокость фрицев – это жестокость глупых циников.

- Вот именно – вооружены. Все воюем и воюем. Не люди, а бойцовская порода какая-то. Вот и вы туда же. Какой вы упрямый и ...принципиальный. А казались таким мягким человеком. Покажите мне рану на ноге.

- Вы думаете, я притворяюсь хромым?

- Не говорите глупостей. Покажите ногу. Да, да, поднимите штанину. Какой ужас!

Глядя на давний шрам, грубо зарубцевавшийся красновато-сизым зигзагом, напоминавшим зловещий разлет немецкого Z, легко можно было представить, в какие клочья была разодрана нога молодого тогда еще человека.

- А за что вам дали орден, вот этот? - она аккуратно притронулась пальцем с отполированным ногтем к лакированной эмали ордена Боевого Красного Знамени.

- Именно за то, что я убил фашиста, который не сумел убить меня.

- А этот? – пальчик коснулся застенчиво рдевшего ордена Красной Звезды.

- За то, что спас мирных жителей. Немцев...

Они замолчали. Было слышно, как натруженно тикают настенные часы, уставшие подгонять время, которое пока что оказалось не в силах изменить людей.

- Какую же оперу мы будем ставить в следующий раз? – спросила Людмила Дорофеевна, поймав паузу в осипшем бое домашних курантов.

В музыкальном училище была традиция: силами учащихся и преподавателей раз в сезон ставили новую оперу. Здесь было много талантливейших сосланных музыкантов, которые щедро делились секретами мастерства с учениками. Муж Людмилы Дорофеевны, органист из Риги, умерший лет пять тому назад, тоже оказался в Ленинабаде не по своей воле. Именно он делал искусные аранжировки для оркестра, дирижировал которым Орфей Иванович. Последние годы дирижер взял на себя еще и миссию аранжировщика. Оперные постановки давались все труднее и труднее: кто-то умирал, кто-то уезжал в Москву и Ленинград.

- Что-нибудь из Вагнера, я думаю. Может быть, «Тристана и Изольду». Немецкая опера гораздо глубже и сильнее итальянской, согласитесь. Даже русская ей уступает.

- Несомненно.

- Конечно, мне трудно тягаться в аранжировке с покойным Янисом Теодоровичем...

- Нет, нет, ваши аранжировки тоже хороши. Они очень колоритны и своеобразны. Сохраняют и передают дух оригинала.

- Вы так считаете?

- Так все считают. Спасибо за цветы.

- Если вы намекаете на то, что пора заканчивать мой затянувшийся визит, то извините, я еще не все сказал. А я не всегда бываю так смел, отважен и словоохотлив, как сегодня.

- Так говорите же.

Орфей Иванович шевельнулся на стуле, и медали смущенно издали мелодическое шуршание.

- Я хотел бы иметь честь... - тут Орфей Иванович сухо кашлянул в кулачок. – Видите ли... Эх, была не была: соблаговолите стать моей супругой, Людмила Дорофеевна.

Часы оторопели и, кажется, забыли отсчитать два-три положенных такта. Нависла пауза.

- Разумеется, я буду вашей женой, - сказала Людмила Дорофеевна, мило теребя оборки платья. Как опытный дирижер, она выжала из паузы максимум, и оркестр, то бишь ее голос с трогательно осевшим тембром, вступил в нужном месте, не раньше и не позже. Партитура диалога ожила. Пауза только подчеркнула значимость ее грянувших слов. – Для меня это большая честь. Помоему, за это стоит выпить.

Орфей Иванович растерянно посмотрел на пустую бутылку, стоящую на столе, и сделал движение, чтобы встать со стула. Желание Людмилы Дорофеевны для него давно уже было законом.

- Нет, нет, сиди, Орфей Иванович, тебе нельзя, надо беречь ногу. У меня есть «Рижский бальзам». Он крепче водки. Годится?

Пустая бутылка была убрана со стола (при этом Людмила Дорофеевна ободряющим и плавным движением ладони прикоснулась к свежим тюльпанам, которые, в выправке дворцового караула, вытянули свои пламенеющие бутоны на сочных тугих стеблях), бокалы сменили старинные рюмки из массивного хрусталя.

- Это еще дореволюционное стекло. Единственное, что осталось от деда, не считая иконы. За что пьем?

- За тебя, моя дорогая.

Медали слабо звякнули, стиснутые внушительной грудью Людмилы Дорофеевны, ордена дозрели до бордового румянца. Орфею Ивановичу был подарен поцелуй, о котором он грезил еще там, на фронте, – еще до того, как убил фашиста. И только теперь он обнимал женщину, ради которой, оказывается, воевал: он только сейчас понял это.

В этот момент где-то в городе, затерянном на просторах жестокой Азии, прогремел залп салюта в честь победы над варварами из Европы.

- И за то, что ты остался жив, мой воин, - сказала Людмила Дорофеевна и выпила, опередив капитана и кларнетиста.

Вечерние сумерки быстро поглощали дневной свет.

По высокому небу, обгоняя друг друга, плавно скользили легкие облака.

11.05.2007

ЗА БУЙКИ

- Что, тянет за буйки? – спросил меня загорелый, поджарый мужчина с мускулистой грудью, обросшей темноватой пушистой порослью, в которой, ближе к шее, пробивалась седина, упакованный в черные, плотно прилегающие к лицу солнцезащитные очки. Видимо, бывалый.

- Тянет. По-моему, это естественно. Или в этом есть что-то постыдное, что надо скрывать от всевидящих очей праздной публики?

Я только что вылез из озера после дальнего заплыва. Плыл я долго и с удовольствием, чередуя стили или просто покачиваясь на волнах, перевернувшись на спину. В тот момент, когда буйки остались далеко позади (расстояние до них чувствовал и контролировал мой затылок), я едва не попал под лихой катер. Или маленькую, с хищным силуэтом яхту, не разобрал. Без предупреждения, пренебрегая необходимой осторожностью судно, состоявшее из острых, похожих на акулы плавники, линий, проскочило возле меня, распарывая воду.

Пережив эту атаку, я, ошарашенный и наглотавшийся воды, резко повернул и поплыл назад. Дотянул до линии буйков. И тут меня ни с того ни с сего оставили силы. Сначала трещину дала привычная, генетически присутствующая во мне незаметным, но незыблемым компонентом, уверенность пловца, а потом пропали силы. Из мышц, не крутых, но литых, тренированных, сначала предательски растворилась, а потом эфиром испарилась крепость, я просто перестал надеяться на них, на известную мне силу воли; возможно, я резко и обреченно перестал верить в свою звезду (в которую, оказывается, верил легкомысленно и безгранично). И, как привороженная рыба, не мог заставить себя оторваться от ржавого, раскрашенного в сине-красный цвет поплавка. Чем дольше я кружил возле буйка, делая вид, что не очень спешу назад, тем противнее ощущал валы накатываемой на меня паники, которая делала меня все слабее и слабее.

До берега плыть было прилично. Но еще минут десять-пятнадцать назад мне и в голову не пришло бы делать из этого проблему. Я всегда заплывал за буйки. Более того, это и составляло для меня смысл понятия «купаться». Я совершал заплывы, отдалялся от массы копошащегося люда, наслаждаясь вылазкой в запрещенную зону, где аж до горизонта, если ты был в море, или до противоположного берега, если ты пересекал озеро, манила бликами открытая вода. Только ты и стихия. Два берега – и ты.

И вот что из этого вышло...

Я собрался с духом и не торопясь (чем более хотелось прибавить прыти, тем хладнокровнее я замедлял темп гребков) добрался до берега. Постоял там, где мне было по колено, где народу было больше всего, и вышел.

Мужчина, казавшийся старше меня лет на пятнадцать-двадцать, снял очки. Глаза были сине-голубыми. Когда-то темные, а сейчас почти побежденные сединой волосы, не коротко и аккуратно прибранные под машинку, а длинноватые, свежее тронутые стрижкой (явно не бывший военный, скорее,

смахивает на вольного художника), и голубые глаза – не водянисто-голубенькие, а с глубоким васильковым отливом.

Я вспомнил свое маленькое предубеждение: у плохих людей не бывает отчетливо голубых глаз. Проверить?

- Стыдного нет ничего, - сказал он. – И глупого, пожалуй, нет. Для тридцатилетнего человека это, скорее, нормально и естественно, соглашусь с вами. Но за буйки – это особый риск, к этому надо быть готовым.

Судя по всему, он видел все, что произошло со мной. Об остальном догадался.

Что ж, у него острое зрение – дальноркость, вполне типичная для возраста в районе пятидесяти. Большой жизненный опыт. Склонность к рефлексии. Известное чувство такта. Возможно, умение разбираться в людях. Отсюда, не исключено, – вкус к поучениям. Во всяком случае, интерес к другим еще не пропал или не совсем еще заслонен эгоизмом пожилых. Чем не собеседник?

Тем более что купаться сегодня у меня пропало всякое желание.

- Имя мое Михаил, - я протянул руку, приветствуя его интерес ко мне.

- Константин, - сказал он и крепко стиснул мою ладонь. Я предвидел, что он даст жесткого «краба».

- Вы расскажите мне историю из жизни?

Вопрос мой был без подвоха, но я сказал то, что сказал – упредил нотационный характер беседы. Для умного – достаточно.

- Честно говоря, хотелось бы.

Он быстро сориентировался и на ходу стал перестраиваться. Неплохой уровень и стиль общения. Такого жиденькой иронией не прошибешь. Судя по всему, обладает чувством собственного достоинства, гибкостью, порождаемой духовным тактом...

- Возможно, вы и правы, - добавил он. – Возможно, мне больше хочется рассказать историю, чем вам ее услышать. Вы правы – если вы это имели в виду.

Я молчал, ибо добился своего: я уже лишил его информационного преимущества, дав понять, что быстро узнаю о нем больше, чем он понапридумывает обо мне. Нечего подглядывать за тонущими. Это неэтично. Хотя и, чего греха таить, любопытно.

- Однако, не исключено, что в гораздо большей степени в ваших интересах услышать ее, нежели в моих – рассказывать ее вам. Вполне возможно, что история, услышанная на берегу, очень пригодится вам. Такое бывает.

- Возможно, - сказал я. – Мне интересно.

Я с неудовольствием почувствовал, что скрываю от себя степень интереса к истории, которую может рассказать этот человек. На самом деле я был заинтригован. Мне показалось, что и он почувствовал то, что почувствовал я. Если так, то он переигрывал меня за явным преимуществом. Достойный собеседник? Я был к этому совершенно не готов. Мои самоуверенность и снисходительность превращались в форму пижонства. Вот откуда досада и некоторое раздражение.

Интересно. Возможно, сегодня был один из тех дней, когда узнаешь о себе много нового – на годы вперед.

- Я писатель, - сказал Константин. – Писатель, сценарист и путешественник. Может быть, я и не писатель по характеру своей одаренности, а просто охотник за историями – за историями душ человеческих, я имею в виду.

Мы, словно перед дальней дорогой, присели на свежую еще июньскую траву. Я молчал, давая понять, что не являюсь охотником до комментариев (если я не на работе, конечно); возможно, подумалось мне, я тоже охотник за историями. Я – психотерапевт, и кучерявая, многословная повесть о том, как я умер, чтобы воскреснуть к собственному удивлению, эгоистически копаясь в собственной душе, лежит в моем творческом портфеле. Повесть о несчастной любви и о том, как я потерпел крах, если говорить без обиняков. Послушать просто историю из жизни – почему бы и нет?

Стоп. Опять приступ агрессивного снисхождения. Конечно, я сопротивлялся – сопротивлялся обаянию великодушия и прямоты. Он еще рта не раскрыл, а мне уже почему-то стало неловко за свою повесть, за то, что я автор «вещи», где искусство писать было направлено на то, чтобы скрыть от себя причины причин.

- Однажды...

Нет, это чересчур даже для меня. Начнем иначе.

Что значит – за буйки?

Это значит преступить условную, но нешуточную черту. Можно сказать, подергать смиренного до поры до времени тигра судьбы за влажный ус. И тут фокус в том, что никогда точно не знаешь, удачно ты это сделал или нет. А когда узнаешь – поздно пить боржоми.

Ее звали Пенелопа, не смейтесь, и у нее была младшая сестра...

Вот тут я улыбнулся. Он – тоже:

- Не угадали. Не Ариадна или Коломбина. Ничего необычного: Александра.

Женился я отчего-то на Пенелопе, хотя любил, как потом выяснилось, Александру. Пенелопа была похожа на мать, а Александра – на своего отца, мужика нестандартного, все ждавшего сына и потому награждавшего дочерей своих такими вот именами. В результате Александра была не похожа на Пенелопу. Мне вообще сейчас кажется, что я полюбил ее, что называется, с первого взгляда. Ну, допустим, взгляда не взгляда, но с момента первого душевного, что ли, контакта. Глупость, конечно... Кто мог тогда предположить такой сумасшедший расклад: разница в возрасте между сестрами составляла более десяти лет. Пенелопа вышла за меня, когда ей было двадцать. Саша была девочкой. А я и сейчас не считаю себя поклонником нимфеток. Мне и в голову не могло придти, что я тайно влюблен в Александру – относился я к ней как к сестре. В полном и точном смысле этого понятия. Мы общались не как мужчина и женщина – а как брат и сестра. Сестер у меня не было, я рос единственным ребенком в семье. У меня даже двоюродных сестер не было. Поэтому отношения с прелестной девушкой, с которой можно быть абсолютно откровенным, но невозможно позволить себе абсолютно ничего из области «мужчина – женщина», были для меня, извините, исполнены очарования. Мы

были совершенно свободны и раскованы в общении, потому что оба добровольно признавали табу на преступную любовь брата и сестры (или мужа сестры и золовки, что почти едино суть).

Ох, уж эти табу... С одной стороны, ничего нельзя, а другой – можно все, потому что все равно ведь «ничего нельзя». Понимаете? Именно табу позволило нам сблизиться до черты роковой, словом, пересечь буйки, чертово табу помогло, и ничто другое. Кроме того, я слишком поздно оценил коварный нюанс: я относился к ней как к сестре, но не родной сестре, а двоюродной. Но это все потом. А пока... Мы слишком верили в свою порядочность и были одинаково брезгливы к грязи: мы обладали врожденным чувством достоинства.

А это, казалось нам, уже не табу, а гарантия.

Через девять месяцев после свадьбы у нас с Пенелопой родилась дочь, Оксана, и Саша с момента появления на свет моей малышки души не чаяла в племяннице. Первые десять лет брака мы прожили в квартире, большой и комфортной, с родителями Пенелопы. Жена не хотела уходить на съемную квартиру, как-то все оттягивала этот момент, да так и дотянули до того времени, пока не обзавелись своим жильем.

Наверно, жену можно понять: было очень удобно растить дочь. Всегда кто-нибудь на подхвате: то бабушка, то дедушка, то тетя. Саша нянчилась с ней (называла «мои Ксюшики» или сюсюкала: «Ксю-ксю») и проводила времени в нашей комнате не меньше, чем Пенелопа. Никому и в голову не приходило кого-то к кому-то ревновать. Напротив, мы втайне гордились сплоченностью семьи. Естественно, ситуаций, когда я мог оставаться наедине с Сашей, было сколько угодно. Мы разговаривали с ней часами. Она любила, когда я вслух читаю Пушкина или Бунина. Иногда мы дурачились, порой дурачились рискованно (Ксюшики нам в этом здорово помогала, как бы втягивала нас в свои игры), и – секундное дело! – уже тогда чувствовали, что пламенный и сумасшедший диалог глазами и руками лучше не продолжать. А хотелось все чаще создавать «пограничные» ситуации, когда голова кругом, когда легко прощались забытая на талии рука, поцелуй во вспотевший лобик или акцентированное касание расцветающих ее прелестей. Когда она в свободном халате наклонялась пошептаться к моей дочери, которая называла свою тетю не иначе как «Сашенька», я любовался ее набухающей грудью, и уже с трудом заставлял себя отвести взгляд. Дыхание мое становилось тяжелым. Я уже не целовал Пенелопу на глазах у Александры, а когда жене приходила охота одарить меня лаской (всегда слишком интимной, на мой вкус), Саша, как большая, тут же отводила глаза. Спать она уходила рано, не по возрасту (над чем вся семья добродушно подтрунивала), никогда не задерживалась, чтобы посмотреть с нами телевизор или просто поболтать. Словом, с некоторых пор вечерами она выпадала из семейного круга.

И все же мне было легко с Сашей. Ее удивительное чувство такта диктовало ей чувство дистанции. Мы по умолчанию согласились: никаких разговоров или объяснений между нами быть не должно. Вот она, черта, преступив которую мы начнем совсем другую историю. Черта. Табу. Буйки.

Но и это умолчание уже сближало нас...

Оксана росла, однажды летом ей исполнилось уже восемь лет, а Александре внезапно стукнуло почти девятнадцать. Она была уже студенткой.

Первый гром прогремел тогда, когда Пенелопа, светясь от удовольствия (комната в ту ночь немела от ровного сияния полной луны), рассказала мне, что у Сашеньки появился молодой человек.

- Как молодой человек? – просил я, пытаюсь справиться со сбившимся дыханием.

- И не просто появился, - ответила жена. – Он сделал ей предложение.

- Как сделал предложение?

Я чувствовал себя обиженным и уязвленным в лучших чувствах.

- И не просто сделал предложение, - засмеялась жена особенным смехом – приглушенным клекотом, который я очень хорошо знал.

- Как не просто сделал предложение?

Боюсь, что глупее в своей жизни я не выглядел никогда.

- Сашенька... В общем, Александра уже не девочка. Что же тут непонятного? Рассталась с девственностью. Иногда это с девушками случается, верно?

Смех. Клекот.

- Помнишь, как ты взял меня в первый раз? Уверенно и нежно. Возьми меня точно так же. Чтобы мне было немножко больно и очень сладко.

И опять то самое блекотание, предназначенное для особенных ситуаций, которое я до сих пор принимал за милый щебет.

На меня впервые в жизни – с этой минуты у меня многое в жизни будет впервые – накатил приступ ненависти к ни в чем не повинной жене, приступ ненависти, связанный с сексуальным раздражением против нее. Это было плохо и, главное, с далеко идущими последствиями – я тотчас оценил опасность.

- Не хочу, - сказал я.

- Ты хочешь, чтобы я сделала тебе ням-ням? Нет? Могу позволить то, что позволила только один раз. Хочешь? Давай, разорви свою девочку...

Она стала шарить руками по моему телу, абсолютно уверенная в своем праве обладать мною в любое время дня и ночи. Я был ее мужем. Ее собственностью. Так было все девять лет нашего счастливого супружества. Это было нормально.

И тут я впервые посмотрел на свою жену чужими глазами: отвисшая грудь, скомканный живот, во всем какая-то гениальная адаптированность к мелочам семейной жизни. Она принимает как должное все то, что уже было и что еще только будет в непростой, но неизбежной семейной жизни. Передо мной, особо не смущаясь и не интересуясь моими желаниями, развалился мой пожизненный крест, полноватый в бедрах, но, если не слишком придирааться, еще очень даже ничего на много-много лет. Я вдруг ощутил, что активно не хочу свою жену.

- Давай, иди, чего ты ждешь? Посмотри, что у меня здесь творится... потрогай...

Крест оживал и шевелился.

На следующий день я едва дождался возвращения Александры из университета. Больше всего боялся, что она полетит на свидание с женихом,

которого я заочно, но от чистого сердца, возненавидел до конца жизни, и вернется за полночь. Нет, она пришла к обеду.

- Поздравляю, - сказал я, скрестив руки на груди.

Она сказала: «Спасибо». Больше никаких комментариев. Спасибо – и все.

- Когда свадьба?

- Предложение – это одно, свадьба – это другое. А семейная жизнь – это третье.

- Когда же ты научилась отделять одно от другого?

- Было время на раздумья.

- Я слышал, ты уже не девственница?

- Костя, твои разговоры с твоей женой меня не касаются.

- А тебя касается, что я люблю тебя? Я люблю тебя, черт возьми, - шипел я, сжимая кулаки и пугая самого себя. Кажется, дома была глазастая теща. – Люблю, понимаешь? Люблю... А ты...

Она не сказала ни слова. Даже глаз не отвела. Только по щекам покатались крупные слезинки.

- Я тебя тоже люблю. Но ты каждый вечер уходишь в спальню к своей жене. И всегда будешь уходить. А я уже несколько лет не могу смотреть на это. И что?

- Подожди. Ты сказала, что любишь меня?

- Люблю. Но любовь – это любовь, а жизнь – это жизнь. Ничего не изменишь.

Когда она успела вырасти? Еще вчера у нее совсем груди не было. Когда стали колыхаться под платьем ее бедра? Джинсы в обтяжку – еще куда ни шло, но платье, скрывающее...

Когда я заплыл за буйки? Даже не заметил. Но заплыл несомненно. Причем, неизвестно, насколько далеко. Влюбился в сестру жены. Далековато.

Дело в том, что когда в жизни мужчины появляется подлинное чувство – а если оно появляется, он об этом рано или поздно догадается – кажется, что жизнь начинает вращаться вокруг этой оси. Кажется, что нет ничего невозможного – потому что самое невозможное, любовь, уже случилось. Кажется, что все мыслимые сложности – это дело техники.

Удивительно, как на первом этапе легко совмещаются несовместимые вещи – семья и любовь. Мужчина поразительно недооценивает ситуацию. И это не легкомыслие в нем говорит, а здравый смысл. Он отделил, и правильно отделил, главное от неглавного – и успокоился, наивный. Хотя тут-то, за буйками, все по-настоящему и начинается...

Я понял, что люблю Сашку и буду любить ее всегда. Следовательно, нам надо быть вместе. Иначе чего стоят все эти вековые разговоры о счастье и мечтах?..

Из правильной посылки я вывел неверное следствие. Понял это, к сожалению, тогда, когда, как честный человек, рассказал обо всем жене.

Боже мой, какой ад я сотворил себе своими же собственными руками и не самыми, казалось, глупыми мозгами! На что я надеялся? Едва миновав первую линию буйков (еще был шанс вернуться к берегу, где мирно копошатся

нормальные люди, папы, мамы, тещи, даже не поглядывающие в сторону запретных буйков), я, набрав ход, заплыл за вторую заградительную черту. Я прошел точку невозврата (так это, кажется, называется у летчиков). Точку, за которой то, что я сделал, становится необратимым.

Иначе казать, я выпустил джина из бутылки. А обратно, даже детям известно, джина уже не загнать. Он творит свои джиньи козни, не считаясь с бывшим хозяином положения. Считает делом чести унизить вчерашнего повелителя.

Дело не в том, что жена обиделась; дело в том, что я узнал, что представляет собой существо, которое мы называем просто и уважительно – женщина. Еще и сейчас при слове женщина я порой вздрагиваю. Для мужчины узнать, что такое женщина, – пройти точку невозврата. Это не каждому под силу.

Иногда от идеальной семьи до идеального ада – одно благородное движение сердца.

Можно прожить если не в идеальных, то сносных семейных условиях всю жизнь, и так никогда и не узнать, ни за что не догадаться, с кем ты достойно прошел по жизни рука об руку. Это и есть счастье, если угодно, – правда, то счастье, которое находится до буйков.

Правила жизни до линии буйков очень просты: за буйки не заплывать. Наиболее популярный и почитаемый принцип здесь, на мелководье, – много будешь знать, скоро состаришься. Сейчас поймете, о чем я.

Самый страшный вариант – хорошие, очень приличные женщины, жены, мамы и домохозяйки, смыслом жизни которых становится вот такая святая ересь: испортить жизнь мужчине, которого именно она вынудила оставить ее. Уйти из семьи. Она знает его слабые стороны и уязвимые места (потому что за десять лет жизни ты сам только о них и твердил, только их и выставлял напоказ, словно щеголяя своей беззащитностью, ибо слабости наши – дети, мама, работа, тетя, жена, золовка – высшая доблесть семьянина), и смертельно жалит исключительно туда, в наши ахиллесовы пунтики, не отвлекаясь на артерии, не угрожающие жизни. Кобра, казавшаяся опасной не более, чем раскрашенный резиновый шланг, вдруг раздувает капюшон и стервенеет. Бросается на любое твоё движение. Она, приличная мамаша, все на свете, буквально – все, включая собственных детей, делает инструментом давления на своего «бывшего» (супруга, возлюбленного – не суть; словом, своего бывшего мужчину). Потенциал позитива переходит в потенциал негатива с пугающей легкостью и непринужденностью.

Именно так я прожил свою жизнь с Пенелопой. Чем непригляднее была она в отношениях со мной (голая стерва как таковая, без нюансов), тем благопристойнее становилась в отношениях со всеми другими, включая собственную дочь, собственную сестру и моих родителей, не говоря уже о своих. Я же говорю: позитив усиливается негативом. Вот почему со стороны кажется, что мужчина всегда не прав. Ситуация представляется как минимум неоднозначной (что в переводе с дипломатического означает: мужчина еще как виноват – однозначно больше, нежели женщина).

Первое, что сделала Пенелопа, – спустила всех собак морали и нравственности на Александру, гнусную разлучницу. Иначе говоря, последнюю отлучили от семьи, выгнали из дому усилиями любящей мамыши, которая в одночасье превратилась по отношению ко мне в злобную кусачую тещеньку.

Второе, что сделала Пенелопа, – выгнала из дому меня, наказав «моим Ксюшикам» не подходить к «папашке-растлителю» на пушечный выстрел.

Мои собственные родители в результате умелых манипуляций (слезы, истерики, угрозы свести счеты с погубленной жизнью – все пошло в ход, все в ловком исполнении сошло за истину) превратились в инструмент давления на меня. Они практически отреклись от собственного сына, который все тридцать с лишним лет был образцовым, а теперь вот враз оказался негодяем. Либо возвращение в семью на условиях Пенелопы и полное покаяние – либо они меня знать не хотят. Таково было родительское благословение.

Прошли годы, прежде чем я отмылся от грязи – хотя бы в глазах родителей. Дочь я чуть не потерял. Скоро она выходит замуж, и большой вопрос, позовут меня на свадьбу или нет. Впрочем, позовут, конечно, не сомневаюсь.

Что касается Александры...

Первое время она держалась. Мы даже выстраивали планы совместной жизни, собирались уехать в другой город и начать все – не с начала, конечно, так говорят только ради красного словца, а продолжить исковерканное начало с чистого листа. Попытаться исправить неудачный старт.

Но, понимаете, к тому времени я не мог еще справиться с моим новым кошмаром, который подстерегает всякого, рванувшего за буйки. Я не мог отделаться от наваждения, от преследовавшей меня мании: я настолько боялся увидеть в Александре Пенелопу, разглядеть в женщине женщину, что мой энтузиазм по поводу совместной жизни вряд ли впечатлял Александру.

В конце концов, она собралась с силами и ушла от меня. А я не нашел в себе сил остановить ее.

Понимаете, я просто испугался: заплыть за буйки сил еще хватило – а вот там, в открытом море, я оцепенел. В таком возрасте за буйки еще нельзя: рановато. Кишка тонка.

Константин прервал свою историю и замолчал.

Странно: молчание тоже становилось частью рассказа. Мы молчали каждый о своем, и я не испытывал ни малейшего неудобства. Заговорил он так же внезапно, как и замолчал, починяясь, очевидно, ходу мысли.

- Мужчина и женщина: проще ничего не бывает. Посмотрите на берег: он весь покрыт мужчинами и женщинами. Собственно, больше никого на Земле-то и нет; бабочки, стрекозы и носороги – это, согласимся, несколько иное, хотя и там вопросы пола присутствуют. Так ли иначе отношения «мужчина – женщина» лежат на поверхности, касаются всех, так или иначе об этих отношениях у каждого свое представление.

Но глубже этого нет ничего на свете. Все наши буйки – на этой поверхности.

Иногда очень сложно отличить смелость от трусости, жажду жить – от стремления к самоликвидации, безрассудство – от глупости. Безопасно жить

можно на обжитой, освоенной территории; а если тебя тянет за буйки – что это? Риск или идиотизм? Хорошо или плохо?

Нельзя жить в открытом море. Но на территории до буйков некоторым жить скучно, иногда – невыносимо...

Судя по всему, он окончил свое повествование, и мы вновь замолчали в унисон. Не знаю, ждал ли он от меня каких-либо слов; я же молчал потому, что мне не хотелось пошлым хмыканьем нарушать цельность всего услышанного. Не хотелось портить песню.

- Надеюсь, теперь вам понятно, что рассказать мою историю я мог только совершенно незнакомому человеку?

Я задумался. Потом спросил:

- А почему нельзя было описать это в романе?

- Говорю же вам: я заплыл за буйки. Это не годится в роман, вообще в литературу – по крайней мере, в ту литературу, которая сегодня существует. Литература, как и все живое, предпочитает плескаться и резвиться в зоне до буйков, так сказать, в купальне для женщин и детей. Ведь литература и существует для подавляющего большинства, для народа, для публики – для тех, ради кого и выставлены буйки.

В литературе ведь как: высунул нос за буюк, рискнул, отведал живого чувства – успокойся, зафиксируй его, дай огранку. Не торопись. И это уже великое движение вперед. Новое чувство, которое испытал талант и при этом уцелел, – это технология прогресса. А если ты живешь в эпицентре эмоционального вулкана, где бусы буйков за ненадобностью сняты, все сжигается. Вокруг тебя сплошной пепел. Сухой остаток – не для литературы. Нужна ли писателю подлинная трагедия, которая отнимает все силы и чувства, убивает само понятие талант?

Выращенное и описанное чувство – подарок литературе. Прожитое – у литературы отнятое. Великие достижения в литературе – обратная сторона великой осторожности. Вот и думай...

Кстати, я и сам это только сейчас понял. Сию минуту.

Мы опять замолчали, слышно было только, как устало плещутся волны, набегающие с самой середины озера. Гомон толпы как-то не принимался в расчет, словно его и не было вовсе.

Наконец, я понял, что меня мучает, чего лично мне не хватает в этой истории для того, чтобы она обрела гармоничность и нечеловечески совершенную законченность. Я спросил с замиранием сердца:

- А что стало с Александрой? Да и вы не похожи на одинокого холостяка. Слишком ухоженный вид. Те, кто проигрывают, не очень следят за собой. Как сложилась ваша жизнь?

- Я нашел в себе силы вернуть Александру. А у нее хватило сил не сопротивляться. Любовь действительно сильнее всего на свете. Это не слова. У нас растет сын, в котором оба его деда души не чают. Понимаете?

Я теперь чувствую себя амфибией, я свободно обитаю в пространстве до буйков, но и за буйками ориентируюсь без паники. Я понимаю, что женщина, не украшенная иллюзиями мужчины, – просто красивая серая кобра. Я

понимаю, что в Александре в любой момент может ожить вирус Пенелопы; но без женщины существовать невозможно. Проблема в том, что если относиться к ней как к фурии и кобре, то сам незаметно превращаешься в рептилию – потенциал позитива с пугающей легкостью переходит в потенциал негатива. Мужчина превращается в женщину и становится главным врагом собственному счастью.

Так что стерва – лучший подарок в жизни: после нее есть шанс отыскать приличную женщину. Возможно, мой роман будет называться «Стервоточина». А лучше так: «Ищите женщину». Банальнее не придумаешь, верно?

Он надел очки, очевидно, давая понять, что больше говорить не намерен.

И действительно – легко поднялся с травы и ушел куда-то вверх, к дороге, кивнув мне головой.

Тут я почувствовал, как меня подхватило на гребне цунами, разбушевавшегося у меня в голове и сердце, и, помимо воли, занесло за буйки, хотя ни разу по-настоящему туда я не заплывал.

23-24 августа 2008

ЛЮБОВЬ

Николая Петровича особенно поразила картина, которая висела над зеркалом, похожая на чей-то затасканный этюд: устремленные вверх глаза, мягкие линии губ и выющиеся локоны, спадающие вдоль щек. Глаза, губы и локоны, обнаженное плечо – все это цитаты, все это уже где-то было. Сплошная слащавая романтика, граничащая с безвкусицей, но все это чем-то напоминало стильную Любашу.

- Чья это картина? – спросил Николай Петрович.

- Это первый вопрос, который мне задают, когда оказываются в моей квартире, - улыбнулась Любаша, мило покривив мягкие губы. Она расставляла изящные чашки тончайшего фарфора на маленьком столике, который попросила Николая Петровича придвинуть к дивану. Было уютно и очень комфортно.

- Смесь Боровиковского с Серовым во фламандском стиле, насколько я понимаю в живописи.

- Я понимаю еще меньше. Это работа моего знакомого художника. Он говорит, что писал не столько мой портрет, сколько мой образ. Мне очень дорога эта картина.

- Чем могу помочь, Любаша? Зачем ты пригласила меня?

Николай Петрович, солидный мужчина, одетый совершенно неофициально: на нем был бордовый пуловер с молодежным вырезом и серые джинсы – пригубил чашку с великолепным, густо заваренным чаем и откинулся на спинку дивана.

- Мне нужен ваш совет, Николай Петрович.

Николай Петрович Синицын был другом покойного отца Любаша, Игоря Ярославовича, умершего совсем недавно, месяца три тому назад, от инфаркта, вызванного какими-то «безумными переживаниями». Что это были за переживания – Николай Петрович в точности не знал. Любаша, которой было лет двадцать пять, была замужем за парнем, о котором Николай Петрович знал только то, что у него были своя фирма, что-то связанное с компьютерами, и кроткий нрав. Игорь был без ума от зятя, очень воспитанного и предупредительного.

- Я бы и сам не отказался от мудрого совета. Ну да ладно. Мне положено все понимать в жизни. Слушаю тебя, Любаша.

- Вы ведь по любви женились на Наташе?

Николай Петрович, отец двоих детей, скандально развелся с блекнувшей красавицей-женой Настюшей и женился на своей студентке, Наташе, которая сейчас ждала от него ребенка. Синицын и сам себе толком бы не объяснил, что произошло в его жизни, и уж меньше всего ему хотелось посвящать в эту запутанную историю дочь своего друга, девушку, судя по всему, праздную и не очень обремененную тяготами жизни. Что ей рассказать? Как он дико ревновал жену, у которой было как минимум два любовника? Безобразные семейные сцены, грубые подробности, беспредельное, почти тюремное унижение, ломающее волю и толкающее к приступам слепой ярости, которая пугала

прежде всего его самого. Непонятные, покоренные отношения с детьми. Стремление честно разобраться и прояснить ситуацию привели к тому, что его подленько стали считать стороной оправдывающейся, у которой также рыльце в каком-то сомнительном пушку. Битый небитого везет – теперь он хорошо понимал, что это значит.

О том, что он женился на Наташе, Николай Петрович пожалел уже на второй день после скромной и торопливой церемонии бракосочетания. Это не было взвешенным решением с его стороны, это был шаг, вызванный обидой и болью. Что-то вроде мести. В голове был туман, в сердце – ноющая саднящая пробоина. Но сейчас, некоторое время спустя после тех событий, Николай Петрович успокоился и стал понимать, что Наташа – девушка совсем не простая, «с переживаниями», которая вышла за него замуж по любви и по светлому, не унижающему их обоих, расчету. Ее спокойная, но твердая позиция привела к тому, что все стало становиться на свои места. Вместе с неутраченной болью в его жизни стало находиться место достоинству и уверенности, а вместе с ними стали проникать – блестящими нитевидными вкраплениями – полосочки счастья. Жизнь начинала походить на жизнь – мерцать разными красками...

Нет, для светской болтовни за чаем, да еще в присутствии этого портрета с локонами, его история явно не годилась.

- На Наташе я женился из-за любви, если уж быть точным, - ответил Николай Петрович, принимаясь за чай. – По любви я женился первый раз.

- А я на грани того, чтобы из-за любви развестись, - вымолвила Любаша, не меняя тона. Она держала чашку так, что Николаю Петровичу хотелось оттопырить ей холеный мизинчик.

- Боже мой, врагу не пожелаю, - быстро проговорил он, опуская глаза.

- Что же мне делать?

- Ты думаешь, что на такие вопросы есть готовые ответы?

- Мне не с кем посоветоваться, я чувствую себя ужасно, ужасно.

Любаша не заплакала, нет, но на ее глаза набежали слезы – ровно настолько, чтобы подчеркнуть их оленью прелесть. Любой мужчина, глядя на эти увлажненные очи, по-рыцарски принял бы сторону Любаша, безо всяких объяснений и доказательств. Аргументы не возвысили, а унизили бы Любашу, а заодно и того, кто верил аргументам больше, чем ее глазам. Все это было уже знакомо Николаю Петровичу. Подобной тактикой виртуозно владела жена.

- Тебе придется рассказать мне свою историю, если тебе важно мое мнение, - произнес Николай Петрович как неангажированный эксперт.

- Это очень интимная история. Но мне больше не с кем ею поделиться.

Любаша долго рассказывала о том, как в ее жизнь совершенно незаметно, однако неотвратимо вошел один художник.

- Этот? – кивнул в сторону портрета Николай Петрович.

- Разумеется, этот, - ответила Любаша. – Он старше вас на несколько лет. Великолепный художник, просто дар божий!

Вся сложность переживаний Любаши заключалась в том, что он, этот великолепный художник, был женат, а она, Любаша, была благополучно замужем.

- У вас дошло дело до постели? – спросил Николай Петрович.

Вместо ответа Любаша опустила свои широко расставленные глаза, отчего стал виден высокий лоб, обрамленный вьющимися кудряшками.

Любаша рассказывала о том, как нестерпимо стыдно бывало ей после встреч с художником – стыдно перед женой художника и перед собственным мужем, и перед собой, да, да. Эти мучения, собственно, заполняли всю ее жизнь. Ангельский лик и ангельские терзания совести, отражавшиеся в ее выразительных глазах, заставили, почему-то, Николая Петровича обратить внимание на ее достаточно крупную грудь, которой он до сих пор никогда не замечал. Любаша была дочь друга, он никогда не смотрел на нее как на женщину. Он даже не мог бы сказать, нравилась она ему или нет: он смотрел на нее *другими* глазами, которые предполагали отношения родственного толка (когда женщина *не может* нравиться нормальному мужчине) или, лучше сказать, исключали напрочь отношения интимные. Когда она была маленькая, он гладил ее по головке, теребя забавные кудряшки. Николай Петрович мог бы сказать о себе, что ему ни разу не было стыдно хотя бы за один нескромный взгляд. На ней была блузка, глухо застегнутая под горло, но с длинной молнией, доходившей до середины живота. Почему-то именно эта молния волновала больше всего.

- Что мне делать?

В очах Любаши стояла влажная поволока.

- А кого ты любишь, моя прелесть? - вымученно и как-то фальшиво, *по сценарию*, спросил Николай Петрович. Этот вопрос уже не столько относился к ее сложной ситуации, сколько сближал его с ней.

- Не знаю.

Николай Петрович поймал себя на том, что он выказывал какое-то странное сочувствие, он безвольно начинал играть ложную роль благодетеля, покровителя – роль нечисто озабоченного папаши. И именно из этой нечистоты рождалось бескорыстное участие, а не из чувства долга. Сам факт того, что он принял правила игры, которых как будто не было и в помине, делал его участником милого фарса. Николаю Петровичу внезапно захотелось сделать комплимент картине. Очень тонко и мимоходом сплетенные сети, которых как бы не было, в любой момент могли сделать виноватым именно его. Не исключено, что в округлившихся глазах запрыгал бы полунатуральный ужас, подслащенный желанием продолжать этот inferнальный флирт. Ощущение сетей влекло за собой ощущение «битый небитого везет» – и вместе с тем заставляло продолжать нечистую игру.

- Муж знает об этом?

- Разумеется, нет. Я принесу вам рюмку коньяка.

- Может быть, тебе помочь, Любаша?

Николай Петрович приподнялся с дивана. Он был на добрых полголовы ниже Любаши. Взгляд его уперся в то место, с которого начиналась молния.

- А если муж узнает? - спросил Николай Петрович, коротко рванув упруго хрустнувшую молнию; блестящая змейка молнии расстегнулась и мягко поехала, раздваиваясь, словно раскрывая что-то в ее теле.

- Я ему сама хочу обо всем рассказать. Я так измучилась. И потом: мне стыдно смотреть в глаза его жене... Да, да...

Прохладная грудь с острым соском трепетала у него перед глазами. Бюстгальтера под блузкой не было.

- А художник готов бросить свою семью ради тебя? – спросил Николай Петрович, плотно целуя то одну, то другую грудь. Он делал это рывками, изобличавшими желание потерзать ее плоть.

- В том-то и дело, что нет. Что вы делаете, Николай Петрович? Зачем это вам нужно? Скажите, зачем?

Она подняла его лицо и влажно поцеловала в губы, хищно орудуя остреньким суховатым язычком.

- Ведь вы завтра об этом пожалеете, не правда ли?

- Возможно, - сказал Николай Петрович, уверенно расстегивая молнию у нее на брюках.

- Уходите, уходите, вам пора домой, - говорила она, прижимаясь к нему всем телом.

Он положил ее на диван и легко сдвинул вниз шелковые трусики. Глаза Любаши были закрыты, отчего выражение романтической измученности, сообщавшее ее лицу неземную озабоченность, еще более шло ей. Глядя на ее лицо, Николай Петрович сильной ладонью, рывком, развел ей бедра. Теперь она, открыв глаза, с грубым любопытством наблюдала за его неторопливыми, но решительными действиями.

- Вам пора домой, вам пора домой, – твердила она с придыханием, поглаживая ему спину и живот.

Николай Петрович с небрежной лаской и в хладнокровном исступлении – ее облик и поведение провоцировали именно грубость, но никак не нежность – овладел ею на диване, содрал с нее мешавшее ему белье и блузу. Любаша с искренним упоением отдавала ему себя, не забывая при этом брать то, что доводило до исступления ее. Безо всякого стеснения, с равнодушным (и оттого как бы подчеркнутым) бесстыдством она искусно крутилась под ним, позабыв обо всем на свете, кроме настигающего ее оргазма. Николай Петрович почувствовал себя именно приложением к ее оргазмическим потрясениям. В тот момент, когда она громко стонала, обнажив мелкие зубки и повиливая острым язычком, он разразился такими могучими конвульсиями, что довел ее до обморочной бледности.

- Мы не предохранялись, – сказал Николай Петрович, едва отдышавшись.

- Почему вы так решили? – ответила Любаша, дыхание которой давно уже было ровным и безмятежным. – За это можете не волноваться. За это всегда отвечает женщина.

Николай Петрович посмотрел ей в лицо, но глаза ее были блаженно закрыты. Невозможно было поверить в то, что этот ангел может быть

блудницей. Секрет Любаши был прост: виноват всегда будет тот, кому она отдает свое тело. В ее случае это был закон природы.

Когда Любаша прихорашивалась возле зеркала (совершенно не заботясь о том, чтобы прикрыть свою наготу), казалось, что она сверяет свое отражение с портретом.

- Завтра приедет муж, – говорила она. – А послезавтра он опять уедет. Что вы скажете на это?

- Безобразие, - сказал Николай Петрович.

- Разумеется, безобразие. Но я люблю своего мужа. Да, я люблю именно его. Вы мне помогли с этим определиться. Спасибо вам большое. Так вы придете ко мне через два дня?

- А как же художник?

- А что художник? – с искренним недоумением спросила Любаша. Было видно, что она не знает, какого ответа ждут от нее и какой ответ в этой ситуации был бы правильным, то есть позволил бы ей предстать в наиболее выгодном свете.

- Я ведь люблю своего мужа, – убедительно протянула она, развернувшись к нему пухлым лбом. Этот аргумент, очевидно, не оставлял никаких шансов художнику и где-то ставил в неловкое положение Николая Петровича. – Понимаете?

- Понимаю, - сказал Николай Петрович и позволил своей сильной ладони бесстыдно выразить все то, что Любаша никогда бы не позволила передать словами. Не сказанного, не произнесенного вслух для нее просто не существовало. А жесты она не комментировала. Такого искреннего и чистого лицемерия Николай Петрович еще не встречал в своей жизни. Любая попытка разоблачить его изобличила бы намерение причинить Любаше боль, обидеть эту ранимую и незащищенную женщину. Нет, в отношениях с ней уместны были только нежность, только ласка.

- Вам пора домой, - сказала она сдавленным голосом, сжимая бедра и тут же разводя их, как бы с неохотой уступая силе мужской ладони.

- Пожалуй, я немного задержусь. Мне будет стыдно смотреть в глаза жене.

Любаша закрыла глаза и показала его руке, что ей следует делать дальше. Он гладил ее так, как гладил когда-то по головке. Она не переставала быть маленькой девочкой – и это делало ее развратной женщиной, интересующейся именно той стороной любви, которая начиналась там, где кончались нормальные человеческие отношения. Начиналось *что-то другое*. Сам Николай Петрович переступил какую-то грань и стал другим.

Когда они прощались, Любаша сказала:

- Я буду переживать за вашу жену.

- Давай обсудим это через пару дней.

- Хорошо. Я начинаю ждать и очень волноваться.

На улице Николай Петрович, человек, знавший о жизни очень многое, вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком. Луна, с укором смотревшая на него тяжелым золотым глазом, взваливала на него противное чувство вины. Он даже передернул плечами, словно сбрасывая тяжесть. Потом остановился.

Посмотрел на лунный циферблат подаренных Игорем Ярославовичем часов. До встречи с Любашей оставалось еще двое суток. Целых сорок восемь часов. Две тысячи восемьсот восемьдесят минут.

Внезапно Николая Петровича осенило: та девушка на картине, была, скорее всего, обнаженной, но очень умело скрывающей свою наготу, и смотрела она на луну: вот откуда этот мягкий золотой свет. И как-то легко было представить голову лежащего на разведенных коленях девушки возлюбленного. Зрителя просто дурачили: момент экстаза преподнесли как момент романтического одушевления.

Николай Петрович решил сосредоточиться на том, что через полчаса он увидит свою жену. Лицо его тут же озарилось приятной улыбкой. И обманчивый лунный свет тихим блеском отражался в глазах счастливого человека, неторопливо бредущего в толпе прохожих.

Его можно было понять: скоро жена его родит ему прелестную дочурку, и через каких-нибудь три-четыре годика малышка будет порхать по квартире, милым движением убирая с личика мягкие локоны детских кудряшек.

25.10.2004

ЗВЕЗДОПАД

1

Астрономы обещали звездопад: какая-то косматая комета должна пересечься с орбитой Земли, и мелкие кометные частицы, размером с песчинку, будут сгорать в земной атмосфере. А землянам будет казаться, что падают звезды. Сто штук в час.

Никакого чуда. Фокус разоблачен, однако жителей Земли приглашали полюбоваться на звездопад и прихватить с собой заветное желание: успеешь загадать его во время падения звезды (то есть в период сгорания песчинки) – оно непременно исполнится.

Скучно, как в цирке. Однако Леонид Зверев, подчиняясь чувству детского любопытства, за которое он себя тут же зауважал, и еще какому-то неясному томлению, которое ему не очень понравилось, в одиннадцать часов вечера вышел на крыльцо старого, но крепкого, деревенского дома, служившего ему дачей, то есть норой, где можно было укрыться от докучливого внимания друзей.

Жены у Зверева недавно не стало. Детей у них не было.

Стояла дикая, первозданная деревенская тишина. Даже ленивый лай псов не ломал, а подчеркивал ее незыблемость. Пространство вокруг подсвечивалось только звездами. Окно его дома маячило каким-то желтым лохматым пятном: лампочка горела тускло. Леонид задрал голову вверх. Равнодушные звезды блестящими крупницами рассеялись на различной глубине безмерного пространства, отчего создавалось впечатление, что Земля застыла беспомощным комочком в безмолвном океане, который и сам ютился маленькой звездочкой в чудовищном чреве Вселенной, составляющей, возможно, пылинку какой-нибудь еще Супер-Вселенной.

Человеку не обжить этих пугающих воображение просторов, поэтому звездное небо над головой угнетает нормальных людей – и манит одновременно.

От неясных мыслей, сбивающихся в печальную туманность, Зверева отвлекло первое увиденное им падение звезды. С небес бесшумно сорвалась светлая точка и, прострочив рыхлый бархат тьмы серебряной нитью следа, мгновенно истаяла. Канула в вечность.

Возможно, это была песчинка. Однако хотелось думать, что на твоих глазах сорвалась и сгинула огромная звезда. Древние люди, у которых не было еще телескопов, так, наверное, и думали. Смерть звезды, что ни говори, зрелище более величественное, нежели исчезновение песчинки. Говорят, когда с неба падает звезда, обрывается чья-то жизнь.

Зверев не успел загадать желание. Однако фейерверк был настолько интенсивным и регулярным, что подгадать со своей мечтой под падающую холодную искорку не составляло труда. Было бы желание. В том-то и дело, что Леонид, оставшись один на один с небесами, не знал, что ему загадать. Может быть, потому, что легко доставшееся теряет ценность?

Звездопад смотрелся как забавный аттракцион. Исчезла случайность и непредсказуемость – улетучилась тайна! В принципе, подумалось Звереву, можно ведь устроить искусственный звездопад. Запустить в космос какой-нибудь камень, распылить его в порошок и устроить нестрашный звездный дождик. И абсолютно обесценить сокровенное. Вот вам и небо в алмазах. Неужели нет хотя бы крохотного желаньца? Похоже, нет. Желания растут и цветут там, где есть мистика и вера в чудеса.

Потоптавшись еще минут пять с запрокинутой головой и слегка озябнув, Зверев поднялся на крыльцо. Тишину нарушил ровный гул самолета. Его легко можно было бы обнаружить по мерцанию маячков. Но Зверев, не поднимая глаз, быстро вошел в дом и лязгнул запором замка.

2

Ему привиделся очень-очень странный сон.

Он стоял на крыльце и напряженно ловил боковым зрением сорвавшуюся и сгорающую пылинку, песчинку, небесное тело – не важно. Ему надо было увидеть, как, покаяв черноту темени холодным серебром, искристой капелькой скатится и угаснет светлячок. Зверев знал, что его желание, которое распирало его изнутри, тут же исполнится. Он знал это точно. И его волновало не то, откуда он мог это знать, а то, что его желание непременно, с гарантией, исполнится. Какой замечательный сон!

Шея уже занемела, ноги заledenели, а звездочки все не падали. Зверев начинал уже нервничать. Вдруг ему показалось, что за его спиной залпом посыпались холодные искры. Он резко обернулся – ничего. И когда он вновь запрокинул голову до упора, прямо из середины неба, из какой-то прорехи выпал и быстро покатился большой серебристый клубок, и разматываясь он сияющей щедрой нитью долго, долго, пока совсем не пропал. Потом погасла и нить. Сразу после этого серебристой слезой скатилась еще одна звезда, оставив после себя мерцающий влагой, быстро подсыхающий след. Тогда только Зверев опомнился: губы его уже несколько раз прошептали нужную молитву, и на душе стало легко и тревожно.

Он вытер вспотевшие ладони о теплую байковую рубаху и вошел в дом.

Возле стола стояла его жена, Нюта, и что-то искала.

- Я потеряла одну сережку. Ты мне подарил их на десятилетие нашей свадьбы, помнишь? Я с ума сойду.

- Нюта, но ведь ты же умерла. Как ты могла здесь появиться?

- А-а, элементарно. Люди вон научились делать искусственные звезды. Слышал об этом? Наука далеко шагнула. Меня... подлечили, восстановили немного. Ну, я не знаю, как это назвать. Знаешь, никаких чудес. Поработали на славу – вот и все. Сережка пропала – вот это чудо. Я сейчас заплачу. Без сережки мне не жить.

Голова у Зверева пошла кругом. Что-то мешало ему до конца порадоваться возвращению Нюты, но он рад был отвлечься на такую земную мелочь, как потеря сережки.

- Погоди, я где-то ее видел.

- Где, Ленечка?

- Так глупо: кажется, почему-то, в вазе с кактусами.

- Господи, что за ерунду ты несешь! Как она могла туда попасть, в мой любимый кактус!

- Не знаю, Нюта. Так показалось. Можно я тебя потрогаю?

- Не надо, Леня, не надо...

Она смотрела на него с нежностью и так, словно собиралась уходить от него навсегда. Ему не удалось с ней попрощаться: авиалайнер, в котором она летела на отдых в кресле № 53, развалившись в воздухе, упал в море, ничьих останков обнаружено не было. Люди рейса № 503, направлявшегося в жаркие страны, просто исчезли. Их не стало. Но если бы они прощались, Нюта бы посмотрела на него именно так. Он это знал.

Нюта исчезла, растворилась, словно сорвавшаяся с небес улыбчивая звездочка. Он не видел жену мертвой и не представлял ее тело безжизненным. Он не был готов к ее исчезновению, ему не хватало ее прощального взгляда. В ее глазах стояла такая сильная любовь к нему, к их чудесной жизни, к их удивительно счастливому союзу, что кроме как взглядом выразить это было невозможно. Она благодарила его глазами, в которых стояло нескрываемое обожание.

Даже во сне Зверев почувствовал острую и одновременно тупую боль в сердце. Но он не позволил себе проснуться, схватив Нюту за руку. Она ласково отстранилась.

Зверев подошел к вазе с заморским кактусом, ковырнул пальцем тронутую белым налетом землю и ловко подцепил комочек, в котором поблескивала сережка.

- Смотри!

На его ладони резким алмазным блеском сияла ожившая сережка. Точно так же сияли глаза Нюты.

- Как она могла попасть туда? – ахнула Нюта.

- Смотреть на две сережки я не мог, выбросить их – рука не поднималась; я оставил одну. Так мне почему-то легче. Как она оказалась в кактусе – не знаю.

- А ты не забываешь поливать кактус? Раньше ты всегда забывал.

- Ты же видишь: он живой. Мохнатый. Только мне пришлось его пересадить в новый горшок. В старом он начал сохнуть. Может, заскучал без тебя.

Нюта опять погладила Леонида печальным теплым взглядом, которым провожала его на работу каждый день.

- Мне пора, - просто сказала она.

В сердце опять взметнулась боль, и момент пробуждения странно слился с мигом, в который Нюта исчезала из комнаты. Она бесследно истаяла, канула в вечность.

- Ты забыла сережки! - крикнул он, открыв глаза.

Предутренняя тишина была ему ответом. За окном уже посветлело. Вскоре отрывисто зацокали птички.

Зверев лежал с закрытыми глазами и по щетинистым щекам его тусклыми звездочками текли и текли слезы, которые ему не от кого было скрывать.

2005

ЗАГАДОЧНАЯ УЛЫБКА ЖЕНЩИНЫ

1

- Кошка моя! – шепотом сказал Роман, который оказался в спальне у Инги как раз в ту ночь, когда ее мужа, Григория, не было дома. Все было «очень удачненько», по словам Романа. – Ты мой пушистый зверек!

Роман был напорист и нежен. Он брал, а Инга отдавалась, испытывая при этом невыразимое печальное возбуждение. Ну, почему, почему с Григорием она не испытывает ничего подобного!

Дочка спала в соседней комнате.

Роман был жаден и порочен, и Ингу тянуло к нему, отчего ее мучило чувство вины, смешанное с обидой на мужа, из-за обычности, пошлой тривиальности которого она млела от грубых ласк Романа. Надо же знать, как обращаться с женщинами, если уж ты решил жениться на одной из них, кстати сказать, далеко не последней по своим достоинствам. В том, что ее мучило чувство вины, она обвиняла мужа, и сейчас слегка мстила ему. В ее измене мужу был виноват и муж. Да, да. И в первую очередь. А как иначе?

Хочешь владеть такой женщиной, крупные груди которой раскачиваются в такт любому твоему желанию, потрудись, дорогой.

Ей было горячо и холодно, хорошо и плохо; она чувствовала себя очень сложной натурой, весьма содержательным существом, понять которое было дано, ой, как немногим. Единицам. Избранным единицам, которые представлялись ей в виде безликой роты. Чем больше, тем лучше. Их много, много, и никто ее не понимает.

- Ты любишь меня? – спросила она у Романа, который по-хозяйски развалился в двуспальной кровати на месте ее мужа.

Он засмеялся смехом, обидным для порядочной женщины. Потом запустил свою сильную и нежную пятерню в ее густые волосы, грубовато притянул к себе и неожиданно сказал на ухо такое, от чего Инга, по инстинкту приличной женщины, шарахнулась от него, но одновременно прикрыла глаза и, послушная другому инстинкту, слегка прильнула к волосатому упругому торсу. Отклеиться от упругих мышц мужчины было выше ее сил.

Когда она вела себя как порядочная женщина, Роман словно специально делал то, что явно выходило за рамки приличного поведения любовника, – но Инге это нравилось, несмотря на то, что она театрально протестовала. Правда, при этом он смеялся неприятным смехом. Неизвестно отчего, Инге это не нравилось, и она продолжала «строить» из себя порядочную, и в этом опять же присутствовала какая-то сложная фальшь. Букет противоречивых чувств терзал Ингу.

Секс с Романом был силовым и простоватым, она была покорной; ей казалось, что ее раскрепощенные, смелые позы представлялись ему унижающими ее, и во всей истории с Романом было много унижительного – если бы не его «телячья» нежность и предупредительность.

- Что с тобой, дорогая? – спросил Роман, когда увидел, что по щеке Инги игриво торопится крупная слезинка.

Инга не отвечала. Роман бережно обнял ее и стал поглаживать. Потом мягко поцеловал. Инга неожиданно для себя жадно всхлипнула, и Роман в ту же секунду сделал грубый мужской выпад. Совокупление было неистовым, и радостное, светлое чувство обволокло Ингу, когда они, задыхаясь, поглаживаниями благодарили друг друга за доставленное удовольствие.

Потом они просто лежали, держась за руки, как дети.

А потом Инга, неожиданно для самой себя, сказала:

- Завтра утром я уезжаю. Только не спрашивай куда.

- Хорошо, не буду спрашивать.

Интересно, улыбается он своей гадкой улыбкой или нет?

Улыбается, можно не сомневаться.

- Завтра у меня решающий день.

До этой минуты завтрашний день не обещал быть решающим, но сейчас Инге стало казаться именно так: завтра все решится.

Роман внимательно посмотрел на нее, не зная как быть: спрашивать или оставить в покое. Чего она действительно хочет?

«Все-таки он тонкий и тактичный», - отметила про себя Инга. «И поведение его в постели – тоже своего рода такт», - добавила она и обрадовалась, что способна объективно оценивать сложные моменты в запутанных отношениях людей.

- Что же решится завтра? – спросил Роман и тут же понял, что от него ждали вопроса. – Ведь твой муж еще двое суток будет в командировке.

- Ты ведь знаешь, что я измучилась с ним, - сказала Инга. – Мне тяжело его обманывать. Да, да. Вот ты женатый человек, Роман. Неужели тебе не стыдно перед женой?

Он рассмеялся.

- Я не обманываю себя, а значит, уважаю жену, - сказал он.

- Но ведь ты спишь со мной! - почти без наигранности возмутилась Инга.

- И не только с тобой, - улыбнулся Роман.

Инга знала это, но ей не нравилось, когда Роман говорил об этом спокойно, без утайки. Он готов был рассказать ей любые подробности. Значит, он и другим женщинам совершенно спокойно может рассказать о ней, об Инге. Сложность и «безысходность» их отношений если не пропадала, то ставилась под сомнение.

- Тебе, наверно, не понять, - вздохнула Инга.

- Где мне угнаться за тобой.

Вялая улыбка.

- Завтра я еду к своему давнему поклоннику, Мише.

- Вот это я одобряю, - сказал Роман и рассмеялся.

Странно: явно не глупый и тонкий Роман предпочитал в отношениях простоту, граничащую с сермяжной правдой, и даже ценил ее.

Это раздосадовало Ингу, и она рассказала ему, что завтра у нее судьбоносное свидание с вдовцом Мишей, который готов ее на руках носить, который ради нее способен на любое безумство. Бесцветная, серая жизнь с

мужем представилась Инге в самом непривлекательном свете. Жизнь с обожателем Мишей обещала много новых ярких ощущений.

- Я думаю, тебе надо съездить к Мише, потом переспать со мной, а потом с чистой совестью и ясными глазами встретить мужа, - сказал Роман. - А выходить замуж за Мишу не надо.

- Ты неисправимый циник, - парировала Инга.

Роман пожал плечами.

В такие моменты ей казалось, что мужчины – грубые и нечуткие существа, недостойные женщин.

Роман же в такие минуты испытывал еще большее уважение к своей жене, еще больше презирая женщин вообще.

Инге было неприятно, что Роман и не думал ее ревновать. Не к мужу, так хотя бы к любовнику. Она ощутила на своих сосках мягкие губы Миши. Неужели мужчины так легко делят своих женщин? Но Роман не ревновал, и сложность их отношений, очевидная для Инги, опять пропадала, истаявала, ускользала.

- Ты не ревнуешь меня к Мише? - спросила Инга.

- Я ему завидую, ангел мой, - сказал Роман, запуская пальцы в волосы. Он еще только тянулся к ее уху, а низ живота женщины уже обдало сладковатым колким холодком.

- Когда я стану женой Мишки, мы не сможем встречаться.

- Почему? – вежливо поинтересовался Роман.

Инга знала, что он задаст этот вопрос и именно в такой дурацкой форме. Вот она, мужская сущность: ему и в голову не придет, что встречаются они только потому, что ей плохо с мужем. Не потому что она плохая, а потому, что у нее плохой муж. Может ли приличная женщина подумать о любовнике, о мужчине на стороне, если у нее все хорошо с мужем?

Никогда! Если у женщины есть любовник – это означает только то, что у нее плохой муж. Во всем виноваты мужчины.

Инга молчала и загадочно улыбалась.

Она отказалась встречаться с Романом завтра утром, перед поездкой к Мише, поэтому Роман задержался у нее далеко за полночь.

2

Поездка к Мише, другу детства, оказалась трогательной и волнующей. Начало прекрасного летнего дня слегка было омрачено тем, что Роман все же явился провожать Ингу на электричку и застал ее перед зеркалом даже более чем обнаженную – в одном белье. Он был в восхищении от нового нижнего белья, которое предназначалось исключительно для скромного взора Миши. Роман подвел Ингу к огромному зеркальному шкафу, медленно снял с нее белье и небрежно отбросил на ковер. Инга закрыла глаза и дальнейшее помнила смутно. Помнила только, что от зеркала ей уходить не хотелось.

Уже в электричке Инге показалось, что у нее появились основания не уважать себя: все-таки прыгать из одной постели в другую приличным

женщинам, к которым она в первую очередь относилась себя, нелегко. Но потом настроение заметно улучшилось – беспричинно, что было вдвойне приятно.

К полудню стал собираться дождь. Нудно тянулись низкие темные тучи, отороченные рваной черной паутиной, ажурными клочьями свисающей по краям. Сплошная пелена туч напоминала Инге ее жизнь с Григорием – скучную и безрадостную.

Но вот хлынул дождь. Он хлестал и хлестал в окна электрички, и было даже немного не по себе, словно немилость погоды относилась именно к ней, к ее странному поведению.

А потом бледные обессиленные тучи истаяли и унеслись ввысь. В мире снова стало светло.

- Зайка моя! – сказал Миша, оторопевший перед белым атласом белья.

С Мишей в постели было не так хорошо, как с Романом. А главное – Миша как-то неубедительно сделал предложение (в тридцатый раз за полгода). Инге показалось даже, что он встречается с другой женщиной, покладистой и на все согласной. И она прямо спросила его об этом. Миша густо покраснел и замахал руками, отнекиваясь. Но это не развеяло подозрений Инги.

Домой она вернулась на следующий день, разбитая и усталая. Немного отдохнув, втянулась в хлопоты, уже всецело погрузившись в завтрашний день, основным событием которого была встреча мужа. Поймав себя на этом ощущении, Инга всплакнула, вздыхая о том, что некому оценить сложность ее натуры, такой чувствительной и непредсказуемой. Ведь никому, ни единой подруге, даже однокласснице Зинаиде, которая стала жутко добродетельной с тех пор, как на нее перестали обращать внимание мужчины, не расскажешь о том, что с ней происходит: превратно истолкуют, да еще тебя же и объявят блудницей. А Зинаида сначала выпросит все подробности, а потом начнет стыдить.

Слезы освежили ее. Честно говоря, захотелось, чтобы их осушил Роман своими жадными губами. Инга улыбнулась себе, своим глубоким тайнам, делающим ее жизнь похожей на роман, и опять переключилась на стирку и завтрашнее меню, не забывая тихо пожалеть себя и свою молодость, которую засасывала рутина.

Она очень хорошо знала, чем удивить мужа. Голубцы. «Вот это пища», - скажет муж, хватаясь за сметану и не в силах оторвать глаза от глубокой тарелки с дымящимися, плотно упакованными в просвечивающие капустные листья аппетитными сверточками, густо запорошенными мелко нарубленной зеленью, как будто дело именно в тарелке и сметане, а не в его искуснице-жене. Жалость вновь оживет в ее сердце, и сладко потянет вниз живота, где вчера дерзко хозяйничала рука, и не только рука, не знающего ни стыда, ни совести Романа...

Григорий приехал, как обычно, строго по графику. Все у него четко, размеренно, без боев. Вот только перед голубцами не может устоять. Сначала спросил, как дочь, потом губами бегло коснулся щеки. Поздороваться, собственно, забыл.

Инга почувствовала закипающее раздражение против мужа, которое заставляло ее уважать себя и освежало, как слезы. У нее в душе – гигантские космические бури, а этот мужлан ничего не замечает! Правда, привез изящную цепочку – точно такую же, которая была у ее подружки Татьяны, бывшей любовницы Романа. Цепочка соблазнительно сбегала к основанию прелестного бюста, и Роман просто пожирал глазами то ли украшение, то ли не очень впечатляющие формы Татьяны. Инга представила себе, как смотрелась бы живая и скользящая очаровательной змейкой цепочка на фоне ее пышной и упругой груди. В тот же вечер она обронила, что она без ума от одной безделушки, от цепочки белого золота, которая собиралась живыми капельками и тут же распускалась с искристым блеском.

Надо же: запомнил и привез. Точь в точь, как у Татьяны. Копия. Ну, никакого воображения, ноль фантазии.

- Спасибо, милый.

- Носи на здоровье, котик.

Раздражение не убывало, а нарастало.

- Есть хочешь?

- Угу.

Не «конечно», не «еще бы!», или «голоден, как пес», «жрать хочу», в конце концов, просто «да, дорогая», – ни за что на свете. Всегда и только – «угу». Просто родился с этим. Раз и навсегда.

Инге стало невыносимо жалко себя. Она села и расплакалась.

Григорий в это время возился в ванной. Он вышел в трусах (не таких плотных, как у Романа, фигура не позволяла, а в небрежно приспущенных, «семейных»), свежевыбритый – с брюшком, с мешками под глазами (много работал, это он умеет) и скучно уставился на жену. На столе ждали его голубцы, а тут жена неизвестно из-за чего плачет.

- Ты чего?

Этого «ты чего» Инга простить ему не смогла.

- Я ухожу от тебя! – неожиданно для самой себя заверещала она. – Ухожу! Сегодня же!

- Куда?

Руки опустились вдоль трусов, как по команде.

- К любовнику, у которого я была вчера! А перед этим я спала с другим любовником. Мне надо было почувствовать себя женщиной. Я же не агрегат для приготовления голубцов!

Инге хотелось, чтобы ее пожалели, приласкали, ощутили сложность ее переживаний, делающие ее женщиной уникальной и страшно, фатально привлекательной, которой можно все-все простить. Которой нельзя не простить, даже если речь идет о ее капризах. Тем более, если речь идет о дурацких капризах. Такому человеку и она бы все простила в этот момент. Даже «ты чего».

Но лицо Григория окаменело.

- Змея, - сухо вато изрек муж. – Вон из моего дома.

- Это я змея? – взвилась Инга, уязвленная в лучших чувствах. – Да я засохла с тобой в этой пустыне, которую ты называешь «мой дом». Ты растоптал мою жизнь!

Тут Григорий поступил весьма оригинально, удивив свою жену: он банально двинул ей – откуда только прыть взялась! – твердым кулаком под глаз. Она рухнула на пол, и ее накрыла волна отвратительного страха. И физического, и страха за то, что будет с ее благополучной жизнью дальше.

Она начала что-то кричать, а когда пришла в себя, то до нее дошло, что единственное слово, осевшее у нее в ушах, было «развод».

И, кажется, оно было произнесено тихим мужским голосом.

3

По совету Романа, она упала мужу в ноги и «призналась», что выдумала все, от начала до конца, про своих любовников. От начала – до конца. У нее были веские основания: загубленная жизнь. Ей хотелось, чтобы муж стал ревновать, обратил на нее внимание. «И все такое, - добавил Роман. – Всякие женские штучки».

При этом Инге хотелось, чтобы вся эта история заставила обратить на нее внимание Романа. Кто знает, может, ее сумасшедшее поведение заставит этого сердцееда уйти из семьи и предложить ей, Инге, руку и сердце. Жизнь, говорят, полна неожиданностей. Кто знает...

Но Романа цинично интересовало только одно: замять чужой семейный скандал, чтобы, не дай бог, пожар не перекинулся в «его дом». Все мужчины одинаковы. Жизнь разнообразит только то, что им попадаются разные женщины.

Муж отказывался верить тому, что в изобилии предлагала ему Инга. Она импровизировала вдохновенно и с большой выдумкой, уже почти сама поверив в то, что плела мужу. Слезы не сходили с ее печальных глаз. Она вдруг поняла, что имел в виду Роман под «всякими женскими штучками».

По совету Романа (сама она не могла соображать, по крайней мере, ей хотелось, чтобы Роман поверил хоть в это), она выглядела убитой и растерзанной, день за днем, неделя за неделей, хотя в душе была несколько растеряна, не более того. Роман сказал, что если она поведет себя правильно, то получится классическое «битый небитого везет». «Битые нуждаются в небитых, и наоборот: это позволяет первым сохранить достоинство, а вторым – по-прежнему презирать первых», - сказал Роман. И добавил: «Это самый распространенный вариант семейной гармонии». Инга посмотрела на него снизу вверх (она сидела, он стоял): она стала побаиваться мужчин, и Роман стал казаться ей вовсе не таким простым, каким казался раньше. Нет, вовсе не упругим торсом он привлекал ее внимание. Чем-то другим.

И действительно, через три недели она добилась извинений от мужа («Гриша, разве можно всерьез воспринимать то, что в истерике лепечет униженная и оскорбленная тобой женщина?»), еще через неделю Григорий стал оказывать ей небывалые знаки внимания. Правда, на следующее утро после того, как она впервые после примирения с чувством исполнила супружеский

долг, она позвонила Роману и с интонациями порядочной женщины рассказала, как ей одиноко. Роман молчал, больше не предлагал встретиться. Инга звонила еще. Роман слушал ее и молчал. И только однажды на прямой вопрос, «чем я тебя обидела?», сказал:

- Я не могу понять, зачем ты это сделала?

- Что сделала? – растерялась Инга.

- Во всем призналась мужу. Зачем?

«Ага, вот оно», - сказала себе Инга. Есть то, чего мужчины никогда не поймут в женщинах. Никогда. Тут она впервые улыбнулась своей новой улыбкой, в которой сочеталось превосходство с великодушием и чем-то еще, о чем она сама имела смутное представление, но знала, что лучше этого не знать. Теперь молчала она и почти физически ощущала, как Роман оторопел от новых значений ее улыбки. Когда-нибудь она улыбнется ему, и это будет точкой в их отношениях.

- Ну-ка, Джиоконда, расскажи, как муж врезал тебе святым кулаком по окаянной шее.

Опять этот противный ехидный смех. В тот раз она первой положила трубку.

Михаил отчего-то сам перестал звонить. Скорее всего, женская интуиция не обманула Ингу: у него появилась женщина. Конечно, это могла быть только такая женщина, о которой даже думать не стоило. Григорий был почти счастлив: Инга опять стала центром его жизни. Только однажды за ужином он, переборов неловкость, сказал:

- Знаешь, рыбка моя, что больше всего изумило меня в той истории, которая нас так сблизила? Я никак не мог понять, зачем ты мне все рассказала сама. Любовник – это я еще могу понять. И я бы простил это, если бы все нечаянно открылось. Но зачем признаваться во всем самой, когда никто тебя за язык не тянет – это выше моего понимания. Это... неприлично. Слава богу, это оказалось неправдой. Слава богу, ты на это неспособна. И знаешь, что является лучшим тому доказательством? То, что ты в приступе гнева упомянула двух своих любовников. Двух! Это совершенно неправдоподобно. Порядочная женщина и трое мужчин – это нонсенс. Я знаю тебя лучше, чем ты сама.

Инга улыбнулась, глядя в глаза мужу. Он первый отвел глаза. Он давно великодушно простил шалунью. Ох, уж эти женские штучки...

В долгих беседах с Татьяной, которой новый любовник подарил восхитительный браслет (у Инги был такой же, даже лучше, уже на следующий день), они не переставали удивляться примитивности мужской психологии.

- Ты представляешь, ни один из них не понял, как мне тогда было плохо! Им казалось, что у меня все было хорошо, представляешь?

- Забудь!

Татьяна безнадежно махала рукой в сторону мужчин и ворковала о том, какой замечательный друг есть у ее любовника. Возможно, Татьяна и перед другом не устоит, кто знает. Она же не святая. Инга, ужасаясь себе самой, уточняла:

- Он и вправду похож на Романа?

- Как две капли воды. Думаю, у них все похоже. Понимаешь? Только обаяния у Романа поменьше. Ну, вот поменьше, и все тут.

Инга покачивала головой. С некоторых пор она стала побаиваться то ли мужчин, то ли самой себя. Она пока не решила. Кроме того, образ жизни порядочной женщины имел свои преимущества. Голубцы – не самая страшная вещь на свете.

С другой стороны, мужу – лучшему на свете мужу! – на следующей неделе предстояла длительная командировка. Супруги будут в разлуке. Вот когда она улыбнется Роману, а, возможно, и тому, кто похож на него. Почему бы и нет?

Все было сложно, неоднозначно, и это ощущение собственной сложности умиляло Ингу.

На губах ее блуждала загадочная улыбка.

07.08. 2004

АВАРИЯ

1

Авария не была случайной.

Конечно – дождь, мокрый асфальт, придурочная барышня, лихо тормознувшая перед ним безо всякой на то причины, плохое настроение, спешка...

Конечно, здесь присутствовало стечение обстоятельств.

И все же авария была не случайной.

Он воспринял ее как первый этап возможного крушения, как начало грядущей тотальной катастрофы в жизни, и даже обрадовался тому, что начало было таким впечатляющим и в то же время щадящим. Все могло быть гораздо хуже.

А что, собственно, происходит в жизни?

А происходит то, что он, Человек Второй Половины Жизни, совершает бесконечные серии энергичных действий, смысл которых – бессмыслица, а направлены они – в никуда. Зачем ему сложные, запутанные отношения с Жанной, которые завели отношения с собственной женой в тупик, а отношения Жанны с ее мужем загнали в яркую, даже пылающую, стадию, имя которой развод?

Жениться на Жанне?

Это сумасшествие. Она может быть хороша только как любовница, как милая, но взбалмошная подруга, готовая в любой момент к рискованным приключениям. Не женщина, а таблетка с адреналином. Она может быть только дополнительной краской в жизни, специей, но сама по себе превращается в яд. Неужели это непонятно?

Понятно до скуки. В отношениях с этой броской, эффектной женщиной нет и не может быть интриги. Но вот она разведется – и тогда интрига завяжется сама собой. Она станет свободной женщиной, которую так добивался этот несвободный мужчина. И этот сильный настойчивый поклонник добился своего. Он ее пленил, взял ее в плен. Теперь что делать с пленной? Это накладывает на него известные обязательства согласно всем международным конвенциям, писаным и неписаным. Это понятно?

Понятно.

Наши действия?

А никаких действий.

Отлично. Рассматриваем и этот вариант. И что же получается?

Получается, что никаких действий – тоже действие, и черт его ведает какое по своей эффективности. Практически ядерное оружие по своим испепеляющим последствиям.

Тут бы самое время упрекнуть себя в действии-бездействии, однако, если честно, именно здесь просыпалось любопытство – и к себе, и к жизни.

Как бы это объяснить... Он стал не то чтобы преклоняться перед течением жизни, он просто стал замечать его. Он открыл для себя новое явление: течение

жизни. Станным образом ощущение течения жизни стало заменять привычное ощущение смысла жизни. Смысл исчез, но его место не заняла бессмыслица.

Казалось бы, отношения с Жанной пагубно сказались на его отношениях с женой. Верно? Верно. Лично он не видел перспектив для развития отношений с супругой. Тупик. Казалось бы, самое время впасть в депрессию, затеять бесконечные изматывающие разборки и, эксплуатируя чувство собственной вины, попытаться сотворить какой-нибудь позитив. Все так делают. До первого инфаркта.

Увы, не хотелось ничего выяснять и ничего созидать. Вместо этого неожиданно накатывало тихое светлое настроение (оно чудесным образом рифмовалось с ощущением течения жизни, которое, в свою очередь, было неотделимо от понятия катастрофа), и просыпалось любопытство: а что за тупиком? Что если тупик – всего лишь плавная линия горизонта? Что если и дальше будет легко и весело?

Вот он, мэйнстрим: все плохо, хуже некуда – это и вселяет уверенность, что все идет правильно. Но что же впереди? Что-то же должно быть, однако. Не может же жизнь ограничиваться одним жалким тупичком. «Все вам бездну подавай», – одернул он себя, словно дешевого пижона.

Из чувства приличия хотелось считать это любопытство нездоровым, было трудно уважать себя за него. Но он улыбался, как последняя сволочь, и продолжал делать вид, что не случилось ничего особенного.

Было любопытно, хотя и не верилось, что вся эта катавасия кончится добром. Он не то чтобы ждал катастрофы, но он бы не удивился, если бы она произошла. Не ждал ее, не приветствовал, но был готов к ней.

И вот – авария.

- Зачем вы так резко затормозили? – спросил он растерянную девушку с русыми волосами, которая, к его изумлению, вовсе не собиралась «включать блондинку». Она даже не включила аварийную кнопку.

- Это сложно объяснить... Мне показалось, я должна была сделать это. Зачем – сама не понимаю. Теперь муж убьет меня.

- Не волнуйтесь. Вам показалось – а платить за все буду я. Примите мои поздравления. По писаным правилам виноват ведь я.

- Я понимаю вашу иронию. Но я чувствую себя виноватой.

- Перестаньте. Не устраивайте цирк. Я должен был затормозить, и у меня были для этого все возможности. Просто меня занесло или, если хотите, я не справился с управлением. Так что виноват я. И не надо быть такой благородной. Мне и без вас тошно.

Он говорил все это, честно выражая словами то, что испытывал на самом деле, но в глубине души он чувствовал еще и обдающее морской свежестью течение жизни. Эта новая логика жизни делала бессмысленную аварию исполненной какого-то тайного, едва ли не прелестного смысла.

- Будем вызывать милицию? – спросил он.

- Милицию?!

- Ну, да. В таких случаях вызывают милицию, инспектора ГАИ, и он подтверждает мою виновность, а с вас снимает все грехи. И мужу не за что будет вас убивать.

- А вы?

- А что я?

- Вас накажут?

- Конечно. Отберут права. Но вам-то какое до этого дело?

- А если не вызывать инспектора?

- Меня бы это, честно говоря, устроило больше. Я бы оплатил ремонт вашей машины. И своей заодно. Если уж хотите быть благородной, соглашайтесь на этот вариант. Хотя если вызовете инспектора – я не буду в претензии. Это ваше право.

В ее изумрудно-серых округленных глазах красиво растекалась растерянность, удивительно подходящая ее честному облику.

- Знаете что? Звоните мужу. Я с ним побеседую, - нервно проговорил он.

- Нет-нет, этого я делать не буду.

- Я объясню ему, что виноват я.

- Понимаете, он сказал, что если я сегодня возьму машину, то непременно попаду в аварию.

- Значит, он у вас пророк. Или – зануда. Неизвестно, что хуже. Зачем же вы взяли машину?

- Чтобы он не поехал к любовнице. А теперь кругом виновата я. Во всем виновата. И перед ним. И перед вами. И перед машиной, - добавила она без улыбки.

- Бросайте своего мужа, к чертовой матери. Пусть уходит к любовнице и забирает машину.

- Не могу.

- Почему?

- Я боюсь остаться одна.

- Понятно.

Девушка, которая только начала его интересоваться, вдруг оказалась самой обычной. Все эти до боли знакомые женские штучки: и хочется, и колется, и боюсь, и рыдаю от восторга... «Обрыдалась вся», - как говорит Жанна.

- Вот вам двести долларов. Боюсь, этого недостаточно. Но я возмещу вам все убытки. Так мужу и передайте. А вот вам мои координаты.

Он подал ей простую визитку, оформленную строго и скупой, в стиле минимализма, который он предпочитал во всем: в одежде, в оформлении книг, в интерьере, в макияже своих подруг (Жанна всегда чуточку перебарщивает). Во всем. Даже в судьбе (красивая судьба, словно гениальный рисунок, всегда без виньеток и загогулин: исключительно скупые выразительные линии или зигзаги, сделанные не отрывая руки – от начала до конца, от звонка до звонка). На визитке была только совершенно необходимая информация, расположенная крайне удобно для того, кто тобой интересуется. Доктор наук. Профессор. Антон Павлович. Телефоны (домашний, служебный, мобильный).

- А меня зовут Вита.

- Очень приятно, Вита.
- Можно я скажу мужу, что вы мой любовник?

Очевидно, на лице Антона Павловича отразилось нечто такое, что заставило ее тихо рассмеяться. А он вдруг почувствовал, что авария в жизни этой женщины тоже была не случайной.

- Да не бойтесь. Я пошутила. Спасибо. Вы честный и располагающий к себе человек. С вами хочется иметь дело. Я вам позвоню.
- Имейте в виду: у меня уже есть любовница. И жена, само собой.
- А вот у меня никогда еще не было любовника, - сказала Вика, не опуская серо-зеленых глаз.

Антон Павлович отчего-то смутился.

Во всем, что они говорили, не было никакого смысла. Но было то, что великолепно укладывалось в понятие течение жизни.

2

Она позвонила на следующее утро.

- Мой муж приревновал меня к вам! – радостно сообщила она.
- Понятно. И в какую же сумму обойдется мне починка вашего семейного авто с учетом этого нового пикантного обстоятельства?
- Да ни в какую. Муж сказал, чтобы вы не смели больше попадаться мне на глаза. Он не потерпит рядом со мной порядочного симпатичного мужчины.
- Как прикажете. На чем же он собирается ездить к любовнице? Верхом на палочке?
- Он сказал, что практически бросил ее, любовницу.
- Примите мои поздравления.
- Но меня это уже мало волнует. Я вчера поняла, что в жизни есть мужчины, которые меня могут заинтересовать. Вчера весь вечер я улыбалась, потому что почувствовала себя свободной женщиной. Я так рада, что вы разбили мне бампер. Вдребезги.
- А также искрошил фару и помял крыло. Машину – в лошкаты.
- Да, и фару с крылом зацепили.
- Мне кажется, ваш великодушный муж вскоре передумает. Материальная сторона жизни, знаете ли, волнует нас не меньше, чем любовь. И я не отказываюсь от своих слов: я возьму убытки...

- Спасибо. Он не передумает. Он дорожит мной, я об этом как-то просто забыла. Такую дуру ему больше нигде не найти. Верная, хозяйственная, чувствующая себя виноватой из-за того, что он мне изменяет. Вы вернули мне мужа, то есть вернули мне чувство уверенности в себе, я хотела сказать. И даже капельку достоинства.

На него накатило ощущение полноводного течения жизни, и он неожиданно для самого себя сказал:

- Вам, свободной и уверенной, еще нужен любовник или эта вакансия будет занята мужем?
- У вас же есть уже любовница. Вы ее тоже бросите?

- Бросить любовницу не так просто, как представляется вашему наивному мужу. Лично я на этот счет не питаю иллюзий.

- Значит, если я стану вашей любовницей, вам тоже будет непросто от меня отказаться?

- Думаю, да.

- Что ж... Я согласна. А зачем вам еще одна любовница?

- Это сложно объяснить. Течение жизни...

- Я понимаю: все течет, все меняется, а если не меняется, перестает течь. Этот калейдоскоп с водопадами и хочется считать жизнью. Верно? Движение есть жизнь. От одной любовницы – к другой, потом к жене и так далее по кругу. Верно?

- Отчасти. Только тут дело не в мельтешении и суете; тут дело в ощущении своеобразного закона. Эрос и Танатос: перепады между этими полюсами и двигают жизнь. Их отношения и составляют суть закона.

- Какого закона?

- Эрос – жизнь, Танатос – смысл, как-то связанный со смертью... Вы будете первая, кому я сообщу о законе, когда мне удастся его сформулировать, если я вообще сочту необходимым делать это опасное и бессмысленное дело.

- Вы уже сформулировали свой закон.

- Разве?

- Конечно. Течение жизни: по-моему, все очень понятно. И вовсе не страшно. И не надо никаких Танатосов. Мужчины никогда не замечают своих самых главных слов и дел. Когда мы встретимся?

Они встретились на следующий день. Антон Павлович сказал Жанне, что у него возникли проблемы, связанные с аварией. Она очень переживала из-за того, что придется заплатить кучу денег неизвестно кому. Да еще ремонт своей машины...

Обрыдалась вся.

Она переживала так, словно деньги были ее собственные.

3

Антон Павлович честно признался себе: в его жизнь незаметно пришла любовь. Вита, молодая прелестная женщина, меньше всего подходила на роль любовницы, хотя по сути ею и была. С ней хотелось получать удовольствие от чистоты отношений, от первозданной простоты жизни. Вся изматывающая сложность куда-то ушла, остался только радостный остаток с ароматом ромашки.

Течение жизни вынесло его на теплый сухой берег, где можно было нежиться на солнышке. Ласковый белый песочек, ленивые волны, груда фиников и рядом бунгало с тахтой посередине и с изображением Эроса в красном углу (нечто игривое и легкое в светлых окладах). И ни облачка тебе на горизонте. Штиль.

Спрашивается: за что?

Состояние покоя было настолько полным и глубоким, что хотелось считать его счастьем. Непонятно было только одно: почему же раньше этого не было в

жизни? Что произошло, в конце концов? Вита не была какой-то исключительной женщиной; напротив, она была даже где-то заурядной, более того – простоватой. Не было в ней тонкости и сложности, которые так пленяли его в собственной жене; однако было в Вите именно то, чего, оказывается, ему так не хватало. Тонкость и сложность в женщине рано или поздно оборачиваются депрессиями и тупиками.

Что тут рассуждать? Дают – бери. Был большой соблазн относиться ко всему так, как относится сама Вита. В результате достигалось недостижимое: покой и комфорт. Замена счастью? Боже мой, а почему не само счастье?

Почему бы ему не жениться на Вите?

Больше всего Антон Павлович боялся проблем с не очень тонкой и не очень сложной Жанной – не с женой, как ни странно, а именно с Жанной.

Он ошибся. Жанна встретила известие о том, что он собирается жениться на Вите, звонким снисходительным смехом, словно разбрасывала монеты вокруг себя. Сама же она сначала развелась, а потом повторно выскочила замуж так быстро и лихо (за человека со средствами, но без образования), что Антон Павлович невольно поморщился: грубые пируэты, все эти языческие танцы с саблями, его коробили, и больше ничего.

И слава богу: баба с возу, как говорится...

С женой все оказалось намного сложнее. Антону Павловичу казалось, что их брак фактически давно распался сам собой. Но жена рассуждала несколько иначе. Она считала, что Антон Павлович загубил ее жизнь.

- Тебе будет легче, если я останусь, дорогая?

- Да, легче, радость моя.

- Это каприз. Или садизм. Или садомазохизм.

- Нет, это жизнь. Впрочем, я тебя не виню. Я сама виновата. Подавай на развод.

Антон Павлович облегченно вздохнул, однако на развод подавать не побежал, испытывая нечто вроде приступа великодушия по отношению к жене.

Сложнее всего оказалось с мужем Виты, которого никто не принимал в расчет. Этот мужлан не давал развода. Он не хотел вникать в ситуацию и в принципе не собирался ничего понимать. Он тупо не давал развода, обещая ждать неверную супругу столько, сколько необходимо, демонстрируя какую-то дельфинью верность.

В конце концов, женатый Антон Павлович сошелся с замужней Витой, ушедшей от упрямого мужа.

Самое страшное, которое всегда из суеверия хочется назвать странным, произошло уже в начале медового месяца: он невольно стал думать о подруге Виты, Надежде, чем-то похожей на его «бывшую» жену. Надежда, стройная красавица со сбитым телом танцовщицы и гладко зачесанными темными волосами (была, была в ней какая-то надрывная «испанскость»: нос с горбинкой, блеск в глазах, порывистость в движениях), жила в гражданском браке с мужчиной, моложе ее на десять лет, и во всем умела разглядеть печальную сторону – светлую, но печальную. В этом было какое-то притягательное очарование, не замечать которое было проявлением неуважения

к собственной сложности. Диковатая простота Виты на этом тонком фоне, который еще вчера так выгодно подчеркивал достоинства и прелести неискушенной наивности, начинала раздражать.

Надежда сразу стала его завоевывать, ненавязчиво старалась попадаться на глаза, заводила разговоры о погоде и о сути всего земного, не отводила глаз, приходила в гости, приглашала в гости. Мужчина моложе ее на десять лет куда-то пропал, о чем Надежда сообщила с печальным смехом, исполненным грустной иронии. «Гарри исчез. Не сложилось...» В ее глазах появилось больше блеска, в движениях – еще больше сдержанной страсти.

Вита почувствовала этот его двусмысленный интерес – и стала не ревновать, а подталкивать к подруге. Возможно, так выражалась ее ревность. Судя по всему, она действительно испытывала чувство вины за то, что мужчинам рано или поздно хочется сбежать от нее.

И тут Антон Павлович ощутил первый укол смертельной скуки: все безнадежно возвращалось на круги своя, пугая глупой и нелепой предопределенностью.

Восхищение простотой Виты обернулась для него какой-то губительной неудовлетворенностью. Женщину не поменяешь, и мужчину не поменяешь. Женщина добывает мужчину, а мужчина добывает смысл. Вот и все, что было за дугой горизонта, обозначавшей начало петли.

Самым отвратительным было то, что Антон Павлович понял: он из последних сил держался за «течение жизни» как за соломинку. Он с удовольствием переложил ответственность за собственную судьбу на течение (зачем думать? кривая вывезет!), но оно оказалось иллюзией. Было ли оно? Просто проносились мимо часы, дни, годы. Он стоял на месте, словно заколдованный истукан, и течение не уносило его с собой. Все текло, но ничего не менялось.

Его потянуло к жене, которой не надо было ничего объяснять, с которой было просто плохо, отчаянно плохо, привычно плохо, но с которой интерес к жизни не пропадал, а переходил в иное – приключенческое? – русло. Может, и здесь все вернется на круги своя? Очень бы хотелось дважды войти в одно и то же ощущение течения.

Он не боялся сказать об этом Вите; чувствовал, и даже был уверен, что та втайне подумывает о возвращении к мужу (почему-то первое разочарование, как и первая любовь, очаровывает нас навсегда, а второе разочарование – унижает). Конечно, сначала она сделает большие глаза, как тогда, во время аварии. Минут через пятнадцать они уменьшатся, а еще через десять в них загорится любопытство. Надо будет лишь объяснить ей, что это нормально. Это будет несложно. Надо вернуть ей коварное чувство уверенности в себе, от которого до ощущения «течения жизни» рукой подать.

С легким сердцем он набрал телефон Надежды:

- Ты вчера сидела на диване напротив меня в своем дивном сарафане. Наверно, ты случайно раздвинула ноги. На тебе не было трусиков.

- Их действительно не было.

- Я тебя правильно понял?

- Боюсь, что да.

- Где и когда?

Со сложными женщинами, особенно с теми, которые уже успели оценить и вашу собственную искушенность, дающую вам право на мальчишескую ошибку, в кульминационные моменты следует разговаривать грубовато и решительно. Переть напролом. Сила соломой ломает: природная простота в какой-то момент всегда оказывается предпочтительнее культурной сложности. А сложные натуры тянутся к простоте. К силе. К течению жизни. Женщина спешит обнажиться, мужчина торопится брать. Она догадывается: в слабости ее сила; он понимает: в силе его слабость. Не проявишь силу – это будет расценено как слабость; проявишь – поддашься слабости.

Однако не успел он положить трубку, как ему расхотелось видиться с Надеждой. Но и перезванивать ей, уже имеющей право с печальной слезой в голосе потребовать объяснений, было выше его сил. Такая простая жизнь усложнилась до предела. И в этот темный миг почему-то стало казаться, что высшая простота, к которой вела вся эта высшая сложность, – это любовь. Может, он просто искал любви и не находил ее?

Может, это и есть закон жизни? Его нельзя выдумать, его надо выстрадать. Чтобы сформулировать закон, мало быть профессором, надо быть умным человеком, которому не очень-то везет в жизни.

Тут надо было пораскинуть мозгами. Думать – значит, цепляться за жизнь. Самому себе создавать течение. Грести. Плыть вместе с улетающими в вечность часами, днями, годами. Жить. Да, в этом что-то есть. Ему нужна не Надежда, а любовь. Это очень похоже на истину.

Но на новые мысли уже не было сил и энергии. Силы ушли на то, чтобы годами заставлять себя не думать. Отдаваться течению – значит, не думать. Вот она, роковая ошибка. Где-то что-то не сложилось.

Авария. Он сразу почувствовал, что она была не случайной. Это был противный звоночек – глухой удар гонга из-за горизонта – от Танатоса, обитающего в дельте реки Стикс. Алло! Тук, тук, вы еще не устали от жизни?

Служба смерти, завораживающая вас течением жизни, всегда к вашим услугам.

Декабрь 2006 – январь 2007

ДВА ДНЯ И ДВЕ НОЧИ

1

Почему-то они решили, что на эти два апрельских дня непременно уедут в другой город. Исчезнут из одного мира и материализуются в другом. Оба в одно мгновение почувствовали, представив каждый свое, что эти дни, оттененные ночами, могут стать золотым подарком сдержанной в отношении к ним Судьбы.

Эта идея пришла в голову ему. В ответ она улыбнулась, поблескивая глазами и ликуя лицом, и пожала ему ладонь своими длинными пальцами – тут же, впрочем, по привычке отстранившись. Забота о нем, о его репутации, желание бесконечно продолжать их запретный (по определению – кратковременный) роман диктовали необходимость этого болезненного трюка: время от времени демонстрировать отчуждение к человеку, которого она обожала. А он, не в состоянии привыкнуть к привычке все время быть начеку, как положено агенту, внедренному из серых будней в мифическую счастливую жизнь, реагировал, как всегда, нервно: по лицу его пробежала тень, потому что в сердце кольнул легкий холодок. Нет, никогда он не освоит в совершенстве эту подлую науку разумного лицемерия. Без которого, впрочем, их роман был бы невозможен (здесь последовал повторный холодящий укол).

Не успел он придти в себя, как эта молодая, редко одаренная природой женщина, созданная исключительно для него, уже чутко теребила его ладонь, неразумно задерживая ее в своей руке значительно дольше положенного приличиями, давая понять, что она чувствует его состояние. («Какими приличиями?» – тут же по привычке огрызался он внутренним монологом, протестуя неизвестно перед кем и неизвестно по какому поводу.) На них неизменно оглядывались, стар и млад, словно по команде, что раньше его раздражало («Чего, спрашивается, пялиться, скажите на милость? Никогда не видели писателя с сединой в бороде, влюбленного в прекрасную читательницу?»), а в последнее время вызывало только усталую улыбку.

Уехать. Непременно уехать из Минска. Пусть на два дня (среду и четверг, что гораздо предпочтительнее субботы и воскресенья: праздник в будни – дважды праздник, особая прелесть), пусть в соседний областной центр (город должен быть немаленьким: в небольших провинциальных городках прилежные прихожане, высыпавшие на площадь перед храмом, часто единственной достопримечательностью их местечек, расстреливали их набожными глазами в упор), расположенный в двух-трех часах езды, но подальше от этих столичных приличий, допускающих отчего-то неприличные продолжительные разглядывания.

Стоит только принять правильное решение, как сама Госпожа Судьба, не допускающая особого баловства, начинает тебе любезно (при этом как бы нехотя, словно через силу) потакать. Прогнозы погоды оказались на редкость благоприятными: солнце, переменная облачность, температура плюс двадцать выше нуля. На два дня обещали райский климат. Муж Миланы (манерное, в сущности, имя, живущее как-то отдельно от нее, однако при близком

знакомстве со стройной, неприступной женщиной оно начинало удивительно подходить ее мягкому, но принципиальному характеру) внезапно заторопился в командировку в Москву, будто его кто-то подталкивал туда. Да и сам писатель, Михаил Юрьевич, оказался на редкость не обремененным в эти дни разного рода обязанностями, которые опутывают всякого приличного человека на службе и в семье.

- В Могилев? – спросил он.

Она сжала его ладонь милыми пальцами, которые он так любил целовать (а она всегда стремилась перехватить его губы своими), и на мгновение озарилась внутренней подсветкой. Их желания, как всегда, совпали до мелочей, и по лицу его вновь пробежала тень, потому что в сердце кольнул легкий холодок.

Они поселились не в гостинице, а в двухкомнатной квартире его давнего приятеля, человека, не задающего лишних вопросов, который укатил на эти дни в Минск, судя по всему, к подруге.

Они быстро обжились в незнакомой квартире, и у них как-то само собой образовалось свое пространство, свой мир вещей, удивительно не пересекавшийся с хозяйским, чужим. Своя полка в холодильнике, свои простыня с полотенцем, свое мыло, свои тапочки, предусмотрительно захваченные из дому, свой диван, широкий и удобный.

Михаилу Юрьевичу казалось, что он двадцать четыре часа, а потом еще двадцать четыре, будет целовать Милану и ни за что не выпустит ее из объятий. Однако получилось совсем не так, как он себе представлял; получилось совсем по-другому, нельзя сказать, лучше или хуже. Просто совсем по-другому. По-домашнему, но с ощущением небывалого праздника.

Обычно два-три (а то и четыре-пять: как повезет) часа, которые им отпускала скуповатая Судьба в будние дни, они, оставаясь вместе, проводили в постели, и им всегда катастрофически не хватало времени. Оно не бежало и не летело; время просто исчезало, приводя их в печальное изумление своей способностью превращать часы в мгновения. Сколько бы они ни шептались и ни молчали вместе, вцепившись друг в друга, словно их кто-то разлучал, ощущение было неизменным: одно мгновение. Все. Пора разбежаться.

Она закрывала глаза и уже начинала улыбаться, а он нежно набрасывался на нее, обрушивая жадные ласки на любимое тело, никогда при этом не торопясь, и даже с некоторым матерым расчетом. Он получал удовольствие, любясь тем, как она получает удовольствие, тонко и звонко откликаясь на каждую его импровизацию.

Боже мой! Какая это была женщина! Он не мог – потому что не хотел – толком объяснить ей, в чем же заключен секрет ее женской уникальности и прелести, ибо тогда пришлось бы сравнивать ее со многими другими, обобщать и расшифровывать свой немалый мужской опыт. Но этого делать не хотелось. Ему становилось неловко, и даже стыдно – возможно оттого, что она могла принять его чрезмерную искушенность, питающуюся, конечно же, по большей части разочарованиями (это подтвердит каждый честный дамский угодник), за желание произвести на нее впечатление веданием интимных секретов в подробностях, что само по себе вызывает уважение у женщин, особенно у

неискушенных. Хочешь не хочешь, а опыт подталкивает к манипулированию женщиной. Он не хотел брать в союзники опыт; это было в каком-то смысле нечестно. У него был опыт и по этой части.

Сам себе он объяснял все просто: горько-сладкое знание помогло понять, чего же ему не хватало в отношениях с женщинами; и все, чего ему так мучительно не хватало, он обрел в отношениях с Миланой. Это сакральный опыт, которым весьма сложно делиться с женщинами; во всяком случае, делать это следует тактично. Вот честное кредо, за которое не стыдно перед любой женщиной, но которое можно приоткрыть только одной: мужчина, стремящийся обладать многими женщинами в поисках единственной, достоин счастья; мужчина, меняющий женщин ради процесса (которым всегда управляют его страхи и комплексы), достоин разочарования и одиночества. Единственная – это единственная, одна из очень и очень многих; надо потрудиться, поискать, износить железные башмаки и при этом не унизиться до дешевого суперменства.

Но одно дело объяснить себе это на словах, и совсем другое – внушить Милане губами, пальцами, телом и нежным шепотом, соскальзывающим с кончика языка в ее длинные русые волосы, пахнущие каким-то удивительным альпийским настоем. Наконец-то Михаил Юрьевич понял, какой аромат волос он искал всю жизнь (честно говоря, он даже не отдавал себе отчет в том, что он находился в поисках; а ведь искал, искал). Тонкий, с легкой карамельной горчинкой, возбуждающий именно отсутствием «тяжелых», «возбуждающих» запахов; никакого Востока, ничего жгучего – ажур, казалось бы, отвлекающий от страсти. На самом деле – вот он, аромат страсти, от которого кружится голова.

Как растолковать ей маленькие чудеса, которые рядом с ней никогда не прекращаются?

Вот ее правая коленка, слева от него, слегка согнутая на весу. Что тут такого? Ничего. Все совершенно естественно. Однако он всегда искал белую гладкую ногу боковым взглядом (хотя всегда блаженно отдалял этот момент) и бесконечно изумлялся, когда натыкался взором на трогательно отведенное бедро: более умильной картины он не мог себе представить.

А вот его благодарные усталые объятия: он обхватывает ее всю, лежащую к нему спиной – захватывает руками, коленями, животом, лицом. «Увеличиваешь площадь соприкосновения? Заграбастываешь все новую и новую территорию?» Именно за эти его слова, произнесенные ею таким тоном и за такой смех (лицо – вполоборота к нему) хочется обнять ее еще крепче, увеличивая площадь соприкосновения.

И именно в тот момент, когда он беззвучно шептал себе, скрывая слезы: «Моё, моё, моё...», она гибким движением развернулась к нему лицом (хватку рук и коленей пришлось слегка расслабить), крепко его обняла и твердым, совершенно не сентиментальным голосом выдохнула ему в губы: «Моё!»

Именно это, оказывается, должна была произнести его женщина. Жена произносила правильные слова, но другие, не те, которые нужны были именно ему. Он отреагировал на волшебное слово Миланы, как на пароль. Он узнал

посланную ему Судьбой женщину – посланную с горьким, если не роковым, опозданием.

2

От двух дней и двух ночей, проведенных с его женщиной, Михаил Юрьевич, оказывается, ожидал многого. Но он не ждал, что на него обрушится такое изобилие убийственных впечатлений.

В первую ночь в Могилеве нежности было больше, чем страсти. Он обнял ее, она прислонилась к нему спиной и быстро уснула. А он не спал всю ночь. Сначала он боялся ее разбудить, потом просто слушал ее ровное тихое дыхание, наслаждаясь тем, что она рядом; а потом забрезжил рассвет: ночь пролетела, как одно мгновение.

Он не думал и не вспоминал. Просто в сознании высвечивались отдельные фрагменты, находившиеся между собой в какой-то странной связи. Все это походило на медитацию.

Ни с того ни с сего он вспомнил, как она уезжала к своей маме в Витебск (вот почему они никогда не были вместе в этом городе; возможно, они не будут там никогда), где ее уже ждал муж Алексей, образцово-верный, просто помешанный на ней. Как тяготит верность хорошего, ласкового, достойного во всех отношениях, но нелюбимого, человека, – тогда, когда вдруг появляется любимый, – Михаил Юрьевич знал очень хорошо. Милана позвонила ему и, захлебываясь в слезах, стала горячо, надрывно-тихим голосом говорить о том, что они не увидятся целую неделю, даже больше. Вечность. Это катастрофа, катастрофа. Он тут же с ужасом понял, что это действительно катастрофа, как он мог раньше этого не понимать!..

Через пять минут он уже сидел в такси, плохо соображая, что собирается делать в следующую минуту. Он плохо соображал, но, оказывается, точно знал, что собирается делать. Схватив свою женщину в охапку вместе с вещами, он повез ее к себе домой (жена, прекрасная читательница, одного возраста с Миланой, ждала его у тещи вместе с их с маленьким ребенком, сыном; что ты натворила, Судьба?).

- Ты с ума сошел, ты с ума сошел, - шептала Милана.
- Наверно, - спокойно соглашался он.
- До поезда ровно час. Уже даже меньше. Пятьдесят девять минут.
- Мы успеем.
- Успеем что?

В ее оживших глазах уже прыгали безумные зайчики.

- Все.

Они пришли в себя только тогда, когда до отправления поезда оставалась ровно одна минута. Она набрала номер мамы и, не моргнув глазом, наплела что-то о срочных, буквально неотложных делах, которые заставили ее опоздать на поезд (он, слушая легенду об утюге и компьютере, целовал ее живот, спускаясь все ниже и ниже и наслаждаясь ее женским запахом, а она, вытаращив глаза, отбивалась от него). «Это так не похоже на тебя, дорогая», - доносился из трубки встревоженный голос мамы. Михаил Юрьевич подумал,

что легко бы нашел общий язык с мамой Миланы. Легко и просто. В сердце кольнул знакомый легкий холодок.

- Я возьму билет на следующий поезд и позвоню тебе. Алексею привет. Пока, мама. Извини. Ты что, я же чуть не закричала в трубку, я же щекотки боюсь!

От нежности до щекотки, как известно, неуловимое движение. Он не отрывался от ее живота, а она уже закрыла глаза и прерывисто дышала.

Разумеется, они опоздали и на следующий поезд.

Потом они выпили коньяку, потом чаю, опять коньяку – и она, глядя ему в глаза, сказала:

- Не хочу я никуда ехать. Хочешь, я останусь у тебя? Буду ходить за тобой, как верный песик.

Это мгновение, которое почему-то растянулось на долгие месяцы (да и сейчас еще продолжает длиться, разливаясь противно-сладким анестезическим холодком), он, судя по всему, не забудет никогда. Счастье и горе в одном букете, слитые настолько, что уже и счастья не хочется, и отказаться от него нет сил.

- Оставайся.

Он с ужасом думал о том, что если бы она решила остаться, он обреченно шагнул бы в эту грубо сколоченную западню Судьбы, принял бы этот ядовито-медовый пряник, и это бы погубило их обоих. Предать одну, чтобы любить другую...

Счастье, эта привилегия умных и порядочных людей, далеко не всегда зависит от желания, и даже воли, и даже самоотверженности мужчины. Устал быть ежеминутно умным и, следовательно, порядочным – прощай, счастье. С другой стороны, если Милана уедет, зачем ему самоуважение и умение ставить интересы других выше собственных, зачем ему перспектива донашивать брак (которая еще вчера казалась завидной перспективой наслаждаться жизнью вместе с молодой женой и сыном)?

- Не волнуйся. Что-то я заигралась. Извини. Проводи меня на вокзал.

И уже потом, после того, как она уехала (вошла в вагон, расположилась в купе – и ни разу больше не взглянула на него, а он, не отрываясь, гипнотизировал ее своим взглядом и шел, шел за отправившимся поездом), он вспоминал вкус ее губ, гранатовые бусинки твердеющих отзывчивых сосков на упругой груди и особенный запах всего ее тела, утомленного любовью.

С этими ощущениями, сладко отравляющими существование, он проводил старый год, встретил новый, пережил неделю, даже больше, каждый час восстанавливая, казалось бы, навсегда сгинувшие вместе с секундами, все новые и новые подробности их сумасшедшего свидания. Вновь мгновения разворачивались в нескончаемые часы, дни, недели. Если бы не чудные мгновения, жизнь была бы серой и скучной. Пустой. Есть только миг?

Прошлое незаметно перетекало в будущее – и он уже видел их вместе с Миланой в гостях у ее матери, обильно и с желанием угодить накрытый стол, даже ощущал вкус сочной отбивной, к которой он положил бы умеренно острый салат, верное средство осаждать охлажденную водочку.

И тут же он рисовал в своем воображении образ надежного, незатейливого, как сама жизнь, Алексея, и холодный укол в сердце становился одновременно жгучим. Новогоднюю медовую неделю молодые муж с женой должны были проводить нескучно. Именно из ревности он в какие-то неурочные часы уделял внимание своей жене, удивляя ее кратковременными приступами страсти.

Что ж, счастье было так возможно – если бы он не устал от бессмысленного ожидания. Он перестал верить в то, что счастье возможно. Прельстился покоем и волей. И, как водится, был одурачен суровой Судьбой, у которой в запасе – скучная вечность, и которая бессовестно наслаждается игрой в кошки-мышки с людьми, коверкая им и так жалко отмерянный век. И ведь предвидел же все это, предчувствовал. Знал, что рискует, не обманывал себя. И винить себя невозможно: естественная человеческая слабость к лицу нормальному мужчине.

И потом: Миланы ведь вполне могло не быть. Что тогда? Разрушительное одиночество?

Или она неотвратимо должна была появиться, а он не уловил этот закон бытия, неподвластный самой Судьбе? Может, с небес все же обронили невнятные намеки?

Тогда – виноват...

Рассвет. Птицы засвистали так, словно хотели донести до всех весть о конце света. Он неловко шевельнулся, и его подруга быстро повернулась к нему, широко распахнув глаза. Остатки сна, словно паутинку, он смахнул с ее лица своей ладонью. Ни слова не говоря, приник к ее теплоте и проник в него, испытывая горькую нежность. Ее дыхание тут же сбилось, а его участилось. Стон, вскрик – и задержка дыхания; раскинутые руки и ноги, согнутые в коленях; ее способность самозабвенно отдаваться страсти довела его до исступления, придавая лесную силу его мужественности. Он запустил пятерню в ее волосы – и опять стон и прерванный вдох. «Девочка моя»: стон, вскрик – и задержка дыхания. Еще и еще, пока они не оказались на седьмом небе и не полетели оттуда вниз в потоке золотого дождя (у обоих надолго захватило дух), цепляясь за облака и жмурясь от близкого оранжевого солнца. Перепуганные птицы перестали свистеть, весь мир словно затаил дыхание, а они еще долго кутались друг в друга, увеличивая площадь соприкосновения душ.

3

Завтрак был долгим и неторопливым. Они смеялись и болтали. О чем?

Это выяснится тогда, когда он будет вспоминать эти мгновения, надежно спрятанные памятью в замысловатые сейфы-сундуки – как самое дорогое в жизни, то, что дается лишь однажды. Что-то связанное с душевным здоровьем, следствием витального катаклизма, и чувством зависти к самому себе за то, что удалось пережить такое. А ведь память не получала от него таких продуманных установок.

В чем дело? Он уже знает, что будет дальше?

В тот момент ему запомнилось только одно.

- Счастье есть, - сказала Милана, намазывая вишневый джем на свежайший батон, дразнящий обоняние густым ванильным духом (за батоном и джемом он слетал в ближайший продуктовый магазин, пока она принимала душ).

- Ты так любишь варенье?

- Не в этом дело. Счастье, оказывается, есть. Я была убеждена, что это выдумка писателей, боящихся посмотреть правде в глаза и дурачащих всех остальных слабаков, обитателей подлунного мира, из благих намерений, а оно есть. Понимаешь?

- Еще как.

- А что такое счастье?

- Не знаю, - сказал Михаил Юрьевич и рассмеялся несомненно счастливым смехом. – Наверное, видеть, как ты уплетаешь джем и не торопишься уходить от меня.

- А если я уйду?

- Тогда счастье кончится.

- Ну, хорошо. Я необходима для счастья. Это мне нравится. Меня это устраивает. А что еще надо для счастья?

- Чувствовать и понимать, что я – умный человек, не способный на подлость, - медленно проговорил он.

- Зачем?

- Затем, что у дураков счастья не бывает.

- Этого я пока не понимаю.

- А тебе и не надо этого понимать. Твое дело – лопать джем и смотреть на меня влюбленными глазами.

- Это – пожалуйста. Я вот глупая – и счастливая. По-моему, глупость счастьем не помеха.

- Не помеха, если тебя любит умный человек.

Он перебрался к ней на диван и слизал остатки джема с ее губ.

- После этого ты считаешь себя умным человеком? Ужас ужасный.

Пока он целовал ее – уголки губ, потом брови, глазки, ушки, шейку, потом все сначала, – чай, умело и тщательно заваренный, остыл. Пришлось заваривать новый, Милана настояла: знала, что хороший, умеренно крепкий черный чай – его слабость.

После завтрака они решили прогуляться – по Большой Садовой, на которую выходили окна квартиры его приятеля. Улица, вымощенная камнем в «дореволюционном стиле», оказалась пешеходной зоной, маленьким историко-архитектурным заповедником, где сохранился прежний губернский дух. И так приятно было окунуться в атмосферу «старого времени», пройтись по «бульвару» вальяжными господами, любясь домами невысокой застройки, приспособленными под нужды современных горожан. Там, где хорошо и красиво, само время задерживает дыхание и никуда не торопится.

Одно только мешало: на них глазели так, словно они двигались в свете софитов по красной ковровой дорожке, словно на лбу у каждого из них было вытравлено что-то вызывающее. А они целовались и держались за руки, немножко назло всем.

Улица заканчивалась Площадью Звезд, в центре которой маячила фигура учтиво изогнувшегося Звездочета, однако же с дидактически торчащим указательным пальцем. Он был явно чем-то озабочен (что там стряслось, в небесах?) и энтузиастически порхал в своем нелепом магистерском балахоне вокруг массивного телескопа, напоминающего мортиру Мюнхгаузена. Неизвестно, почему он облюбовал себе смотровую площадку именно в Могилеве, однако Звездочет выглядел очень уместно на старинной улочке, упирающейся прямо в небо. Площадь окружали кафе и магазинчики с космическо-галактической тематикой, намекая на то, что посетители находятся едва ли не в центре вселенной.

Они сели на просторную решетчатую скамью и стали наблюдать за современным астрологом в расшитом цветным шелком татарском тюрбане, солидно обложившемся таблицами и схемами, очевидно, вполне заменявшими ему телескоп. За умеренную плату он предсказывал будущее (ближайшее и отдаленное, согласно прейскуранту) всем и каждому. Будущее интересовало, естественно, молодых и, как ни странно, пожилых.

- Хочешь узнать свое будущее? – спросила Милана.

- Нет.

- Почему?

- Потому что я его знаю. Всякий умный человек должен иметь представление о своем будущем, ибо он, конечно, позаботился о том, чтобы познать себя. Человеку не нужны телескопы, чтобы заглянуть в себя; ему нужен ум.

- А я вот пойду и поинтересуюсь. Вдруг мое будущее гораздо ярче и лучше, чем мне это представляется. Возраст и пол позволяют мне сделать это, не так ли, мистер Большой, просто Гигантский Ум? А ты пока можешь сделать вид, что не водишься со мной, такой глупой.

Она пошла к астрологу, а к нему подсел седовласый господин в рубашке, поражающей своей неоновой белизной (откуда он взялся?), и почему-то сказал, глядя на фигуру удалявшейся Миланы (какая женщина! что за походка! за что ему такое счастье? за что?):

- Жизнь пролетела, как одно мгновение. Да... День и ночь – сутки прочь. День и ночь, день и ночь. Да... Мгновение.

- Я начинаю догадываться об этом коварном свойстве времени. Мы тратим время, а оно нас между тем пожирает. Ну, и как вам ваше мгновение?

- Не жалуюсь. Мое мгновение было содержательным. С другой стороны, через пять или десять миллиардов лет Солнце погаснет, значит, Земля превратится в эскимо на палочке, и сама жизнь исчезнет. А что такое несколько жалких миллиардов лет? Мгновение.

- Вы хотите сказать, все зависит от содержания мгновения? Если было что-то важное, мгновение становится больше, чем мгновение. Вы это хотели сказать?

Михаил Юрьевич то ли произнес это вслух, то ли подумал об этом. Во всяком случае, ответа не последовало: странный собеседник исчез. Вместо него

рядом стояла Милана. Что-то стало твориться со временем и пространством: мир двигался плавными скачками в неизвестном направлении.

- Что сулит твое будущее? Надеюсь, оно лучше моего, - сказал обескураженный Михаил Юрьевич, стараясь быть вежливым и несуетливым.

- Я хочу молочный коктейль. Холодный. Мне рекомендовали жить одним днем. Тогда я проживу или долго, или счастливо. Я бы предпочла...

- Коктейль – это тоже рекомендация астролога?

- Нет, ты вовсе не такой умный, каким кажешься себе. Коктейль – это мой каприз. Я начинаю делать культ из того, что хочу здесь и сейчас.

- А чего хочу я?

- Не знаю.

- Знаешь.

- Не знаю.

- Знаешь...

- Кажется, догадываюсь. Я согласна. Но сначала коктейль, хорошо?

- Сначала поцелуй.

- Я согласна.

Они говорили негромко, дразня друг друга паузами, обволакивая друг друга глазами и едва заметно улыбаясь. Но все смотрели не на Звездочета и не на астролога в тюрбане, а на них.

Когда они стали целоваться, Площадь Звезд затаила дыхание.

4

Через час они были уже в постели, из которой выбрались только следующим утром. Странно: память не сохранила об этом светоносном времени (даже ночью было почему-то светло) ничего, кроме пронзительного печального чувства, заполонившего душу. Только по силе нежной грусти можно было догадываться о том, сколько тысяч секунд они не выпускали друг друга из объятий и как им было хорошо и беззаботно.

Дорога в Минск на маршрутке превратилась в пытку и нескончаемый кошмар, который продолжался, казалось, гораздо больше двух дней и ночей проведенных в Могилеве. Предчувствие расставания оказалось куда более болезненным, чем само расставание. Она смотрела не на него, а в сторону, и в глазах ее тлел светло-зеленый огонь, отблеск того пекла, которое пожирало ее изнутри. Она не могла говорить, а все его ласковые и чуткие слова казались ему блеклыми, пустыми и ненужными. Так они и сидели молча, сжав ладони друг друга.

В Минске ее должен был встречать Алексей. Но главная катастрофа уже случилась: и ей, и ему было ясно, что им нельзя расставаться. Они были обречены быть вместе, даже если не увидятся больше никогда.

Эти два дня окончательно похоронили иллюзию, будто что-то как-нибудь уладится само собой. Прежняя жизнь уже не могла продолжаться, а о новой даже думать не хотелось. Куда они ехали?

В Минск, куда же еще.

Но это был неправильный ответ. Все было гораздо проще и значительно хуже. Они ехали не туда, не в том направлении, маршрутка везла их в сторону, противоположную от их счастья. А пути к счастью, похоже, не существовало.

- Что это было? – спросила она о чем-то своем.

- Быстрый полет на Луну, - не задумываясь ответил Михаил Юрьевич.

Она кивнула головой и успокоилась, как будто он все разъяснил своими глупыми словами.

К Минску они подъезжали пасмурным, уже прохладным ранним вечером. Небо было затянуто плотной паутиной облаков, в которых светлым привидением трепетало запутавшееся в них солнце – бледно-золотой паук. Дул студеный ветер, как будто специально охлажденный в стылых подвалах Северных широт.

Вдруг с неба сыпанул сухой снег, словно рассерженный кто-то швырял колючими горстями ледяной крупы на людей, ждущих весны, на раскрывшиеся тюльпаны и нежные белые лепестки цветущих вишен.

Стало темнеть. Сливочного оттенка солнце каленым колом как по маслу закатилось в казематы Северных широт, и холодная тьма охватила город.

А потом и душу.

Михаилу Юрьевичу казалось, что сама жизнь его погрузилась во тьму. Он легко представил себе то светлое мгновение, которое окажется для него в жизни последним. Вот оно, наполненное хаотичными, отрывочными впечатлениями: это память испуганно цепляется за жизнь, состоявшую из бессвязных мгновений. Коленка, аромат волос, «моё, моё», указующий перст Звездочета и легкий холодок укола в сердце, мешающий расслышать ее милый голос:

- Что это было?

Май 2007

ТЫ ОКАЗАЛАСЬ ГРУСТНОЙ, ТАКАЯ РАДОСТНАЯ ЖИЗНЬ

Молоденькое жало месяца изумительно острыми отточенными краями распорол мех темных облаков и выскользнуло оттуда, увязнув желтым мазком в густой синеве. Игривый месяц напоминал растянутую до невидимых ушей улыбку дешевого паяца, которого за какую-нибудь дурацкую провинность приколотили к небесам; невидимое лицо усеивали слезинки звезд, а темные тучи, словно пышные локоны гигантского кучерявого парика, были криво нахлобучены на невидимую голову.

Поздним июльским вечером я двигался в направлении дома (вот она, многоярусная освещенная громада, которую, увы, хотелось сравнить с «Титаником»), идти куда у меня не было совсем никакого желания. Моя дочь, красавица Варенька, которой я поневоле гордился, которую безумно любил, с которой связывала меня целая гамма отцовских противоречивых, горько-сладких чувств, – дочь моя Варенька объявила мне, что она беременна.

Точнее, она не объявила; она тихо, без вызова, сообщила об этом, потупив глаза и теребя при этом – ее детский жест, когда она не столько чувствовала себя виноватой, сколько сожалела о том, что вынуждена причинить папе огорчения, – низ коротенькой кофточки, открывавшей пухленькую складку по-девичьи подобранного животика.

Меня возмутило все: этот ее по нелепой моде оголенный живот, ее тихая твердость, отсутствие даже малейшего намека на то, кто собирается быть отцом будущего ребенка, нежелание чувствовать себя виноватой, желание уберечь меня от травмы, словно недоумка, безнадежно отставшего от жизни. Мы будто поменялись местами: она была теперь взрослой, стоящей перед необходимостью разъяснить мне, увы, недоступную еще премудрость.

Это обстоятельство раздражало меня более всего.

От меня явно ждали не бессмысленного всплеска эмоций, а некой взвешенной, вызывающей уважение «взрослой» реакции.

Разумеется, я психанул. И наговорил черт знает чего; из меня блоками и залпами вылетали аккуратно, догматически упакованные в штампы слова, в которые я сам верил с трудом. Я самым безобразным образом раздвоился. Часть меня превратилась в условно положительный персонаж, и этот подопнок старательно озвучил свою позицию, а то, что от меня осталось, бесконечно изумлялось собственной невменяемости. Чем больше мне становилось стыдно за свои «правильные» слова, тем с большей яростью они из меня летели. Я, как перепуганный студент на экзамене, вспомнил даже то, чего не знал: и «позор на мою седую голову», и «нагуляла, в подоле принесла», и «как я буду смотреть людям в глаза» (в этом месте Варенька подняла глаза на меня, а я свои отвел в сторону, как бы не желая испепелять гневом свою заблудшую дочь), и «что сказала бы мать, если бы она была жива» (тут Варька глаза опустила, я, кстати, тоже), и «как ты собираешься его растить одна, как, скажи мне на милость». И еще кучу всякой ерунды, входящей в золотой запас народной мудрости – того

самого темного коллективного бессознательного, которое я, профессор, когда находился в трезвом уме, вполне осмысленно презирал.

А тут выяснилось, что я обыкновенный человек из народа, пошлый папаша, не способный отличить ревность от любви, любовь от страха за дочь, силу от слабости. Мой гнев и был позором на мою седую голову.

Стыдно – до боли в сердце.

Теперь я шел к дочери (если она, конечно, никуда не ушла из дому; а это вполне могло произойти: достоинство, вместе с прилагающимся к нему упрямым характером, – это наше, фамильное), и необходимость извиняться перед ней приводила меня в полуобморочное состояние: «битый небитого везет» было самое мягкое, что приходило мне в голову. Я чувствовал себя глубоко неправым и одновременно испытывал острую обиду на дочь, на ситуацию, на жизнь. Обида создавала иллюзию правоты. А тут еще этот занесенный над головой бритвенно заточенный месяц цвета детской неожиданности...

Вот он, домофон с тревожной красноватой подсветкой. Набираю номер своей квартиры: 117. Ответа нет. Убеждаюсь, что это не явилось для меня сюрпризом. В конце концов, она моя дочь, то есть она обязана быть похожей на строптивного отца. Достāju ключи. Вызываю лифт, поднимаюсь на седьмой этаж, открываю двери квартиры. В прихожей стоит моя Варенька, сложив руки на груди; но, опять же, не вызывающе и не ложно-смирненно, как подгулявший рождественский зайчик, а с достоинством. Опять ждет жеста от меня – от меня, человека из плоти, в которой обитает нечто бесплотное, разумно-душевное, а не от условно положительного персонажа. Великодушно дает мне шанс.

Я обнял ее. И разрыдался.

Она подождала, пока клопочущая нежной лавой родительская истерика пойдет на убыль, потом, всхлипнув, вцепилась в меня руками, прижалась и расплакалась сама, отворачивая лицо. Я почувствовал, как до последнего предела напряжены ее тело и душа. И я тоже, к сожалению, повел себя не как человек, на которого она может рассчитывать сразу и навсегда, а как дурацкий рупор обезличивающей морали, в строгом зеркале которой она отражена была до обидного карикатурно. «Нагуляла»...

Шут гороховый. Я повел себя так от боли и растерянности, и она это поняла; даже, кажется, предвидела такую реакцию.

Нет, не от боли, Варька. И не от растерянности. От дикой ревности, к приступу которой я оказался не готов. У меня, отца и мужчины, увели дочь. Меня можно понять и нужно простить. А ее?

Зачем нужен отец, если он наказывает тогда, когда необходимо прощать? Даже не прощать; просто не прятать свою любовь, не маскировать ее под «заботу о потомстве».

На душе остался гнусенький осадочек желтоватого цвета... Обидеть беременную дочь. Женщину и ребенка одновременно...

До меня вдруг дошло, что я напрочь забыл собственную главную заповедь: смотри на вещи с разных сторон. Для пессимиста стакан всегда наполовину пуст, а для оптимиста – наполовину полон. Это как посмотреть. Все на свете –

вопрос отношения; никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Все не так уж плохо и мрачно, если разобраться, и повод для радости (в это сразу сложно поверить) был едва ли не большим, чем для печали. Да, да.

Но и это мудрое бодрячество почему-то тоже слегка раздражало. Мне бы тихую семейную радость, светлую и стабильную перспективу, запас прочности, а тут – праздник со слезами на глазах. Ох, уж мне эти темные праздники...

Ни одной народной мудрости на этот счет не пришло мне в голову. Или про оптимиста с пессимистом и про «потеряешь – найдешь» – это все же народное?

Больше похоже на философское изречение. Народу я не доверяю.

- Кто же будет отцом ребенка?

Она теплой ладошкой мягко закрыла мне рот.

- Это мое решение. Не ищи здесь виноватых. И никаких разборок, даже не думай об этом. Папа!

В голосе уже твердость и решительность. И еще звонкая девичья бескомпромиссность. Она еще может позволить себе такую роскошь...

Понятно. У Варькиного ребенка не будет отца – это минус; однако у него будет любящий и заботливый дед – это громадный плюс. Я посмотрел на ситуацию с разных сторон; но мне по-прежнему хотелось только выругаться и по-человечески завывать на ломтик луны.

- Он женат?

Моя дочь смотрела в зашторенное окно; из-под густых ресниц возникла большая слеза и легко соскользнула на овал щеки. Варя даже не пошевелилась.

- Дело не в этом. Понимаешь, он испугался; я сказала ему про ребенка, про нашего ребенка – а он испугался. Вместо радости какая-то дурацкая жуть в глазах...

Значит, женат. И у него уже есть дети. Варька приняла его реакцию за предательство; не исключено, что он просто очень ответственный. Положительный. Парень просто раздвоился. А Варьке безумно обидно.

Понятно.

- Варя, я тоже испугался, когда твоя мама сказала мне, что она ждет ребенка.

- Испугался?

- Да, испугался.

- Надо было убежать на край света. Что же ты? Сейчас бы не было проблем с дурой дочерью. Сочувствую.

Минута молчания.

- Извини... - в мою сторону с глубоким прискорбием.

Я давно замечал: Варя влюблена. Тихий блеск в глазах, женская плавность в движениях, очаровательная сдержанность в поведках, скупость и выразительность в макияже, паузы и интонации в речи, выдающие ее необычайную сосредоточенность. Она словно наблюдала за собой со стороны и очень хотела кому-то понравиться.

Меня не проведешь. Мой острый отцовский инстинкт не давал мне покоя. Этот «кто-то» был явно достоин ее внимания, я это чувствовал (моя чуткая девочка просто не стала бы размениваться на пустяки: я представлял себе угрожающий уровень ее запросов), и во мне впервые проснулась отцовская

ревность. Она-то и усыпила бдительность. Варя стремительно взрослела. Она внезапно стала ценить слова, обычные слова (часто переспрашивала: то ли я имею в виду, правильно ли она меня поняла?), буквально взвешивала каждое слово, прислушиваясь к внутреннему голосу. Я уверен: она вела серьезный разговор с самой собой. Этот «кто-то» заставил мою девочку встрепетаться, в ней включились дотоле дремавшие, находившиеся в режиме ожидания женские программы.

Я, давно уже, лет десять живший без жены, кое-что знал об этом.

Я видел все, что происходило с Варюшей, но не хотел первым начинать неизбежный разговор: что-то подсказывало мне – это был не тот случай, когда милое каприччио гладенько катилось к счастливому финалу в ликующем темпе «Свадебного марша» Мендельсона; я терпеливо и, как мне казалось, тактично ждал, что она вот-вот познакомит меня со своим избранником. В том, что это будет ее избранник, что она изберет себе спутника жизни, сомнений не было никаких; в том, что он, избранный, будет любить ее безумно, я также был уверен; разве могло быть по-другому?

Не любить Варю, женщину на все времена, было невозможно. Если мужчина не идиот и не изверг, если он умный и, следовательно, порядочный, он обречен на счастье с такой девушкой, как Варя. А на дурака и подлеца Варька не обратит внимания, даже не взглянет в его сторону.

Но она не торопилась представить мне того, к кому она была явно не равнодушна; с теми же, кто дружил с ней, или даже ухаживал без надежды на взаимность, она знакомила меня запросто и без церемоний. «Привет, папа, это Петя, молодой человек с хорошими манерами и неплохим чувством юмора, надежный, как мой детский велосипед; прошу любить и жаловать». «Папа, это Серж. Фундамент и скала. Серж, это папа, Михаил Григорьевич; умнее папы людей нет, а лучше – только ты, Серж».

Почему она так тщательно скрывала своего друга?

Мне бы раньше задать себе этот вопрос. Неужели не ясно: он, этот «кто-то», был не свободен. Скорее всего, женат. Вероятно, имеет детей. Опытный, матерый, зрелый мужчина, возможно, сильная личность, который не может не произвести впечатления на богато одаренную женскую натуру, ко всему прочему, еще и столкнувшуюся с первым чувством. Подобное тянется к подобному; уж я-то кое-что смыслю в этом. Вот откуда все эти страсти-мордасти в нашей серой жизни. Мужчины, независимо от того, женаты они или нет, расцветают только в присутствии таких, исключительных, женщин; великолепные, глубоко чувствующие женщины могут окликаться только на чувства неординарных, выдающихся мужчин.

Любить – так королеву! Рожать – так от короля!

Те, кому многое дано, многим и рискуют.

Дело, конечно, житейское, однако уж очень деликатное и тяжелое. Врагу не пожелаешь.

Почему-то мне казалось, что Вареньку ожидает другая судьба.

Хотя...

Ее бескомпромиссность и впечатлительность в сочетании с умением таиться и установкой не размениваться на мелочи настораживали меня всегда. Гладенькая судьба бывает только у поверхностных натур: где не за что зацепиться, там не споткнешься; не люди, а – «долины ровные»; лично меня часто выручало это заклинание (после того, как я в очередной раз спотыкался, разумеется).

Может, я втайне надеялся, что дочь моя не такая блестящая и бесподобная, как мне казалось?

Да нет, меня не проведешь: она была рождена принцессой.

Однажды я сидел в комнате, залитой светом (зимой у нас сутки напролет во всех комнатах горят и переливаются люстры: так я протестую против отсутствия солнечного света), полистывая раздражавший меня своей обреченностью «Закат Европы». Перед этим я зачем-то досмотрел до конца убийственный по своей пошлости фильм, в котором герои любят, расходятся, сходятся, умирают. Европа, видите ли (сейчас я о Шпенглере), взяла и закатилась, словно завершился некий природный цикл. Словно солнце: сначала взошло, а потом закатилось. И никто ни в чем не виноват. Чушь.

Варя вышла из ванной и сказала, просунув голову в комнату: «Папа, извини, закрой глаза. Я забыла взять халат».

Такое случалось иногда, когда она примеряла новое платье или прихорашивалась, собираясь на вечеринку (благоухающие Серж или Петя, поздоровавшись со мной, «выразив свое почтение», по словам Вари, ждали ее в подъезде). Это ведь целый ритуал со множеством нюансов. В таких случаях она извинялась за причиняемые неудобства и просила меня закрыть глаза, порхая по комнате в нижнем белье. Что я всегда исполнял с замиранием сердца, оберегая ее целомудренность. Одевшись, она медленно входила в комнату («Готов? Закрой глаза ладонью! Не смотри и не подглядывай!»), становилась посередине, прямо под люстрой, и, выдержав паузу, просила меня открыть глаза (тихим голосом: «Можно...») – и я, всякий раз ослепленный ее великолепием, менялся в лице.

Этот момент она обожала. Платья были разные: короткие и длинные, открытые и закрытые, белые и черные, но ее вкус, осанка и чувство стиля – наряды, вроде бы, не экстремального фасона, но удивительно обворожительные, заставляющие обратить внимание на хозяйку туалета, – меня неизменно поражали. Она ждала от меня не слов, а именно вот этого произвольного движения лицом. Сердце у меня падало – и я слегка бледнел, мышцы на мгновение раскрепощались, и на лице появлялось слегка растерянное, глуповатое выражение.

Варька все понимала правильно: это было не выражение, а признание в любви.

Почему-то именно в такие моменты она спрашивала меня:

- Папа, почему ты не женишься вторично? Ты ведь был счастлив с мамой?

- Был. До ее роковой болезни нам было хорошо вместе.

- Мужчины, которые были счастливы в первом браке, легко женятся во второй раз. Разве не так?

- Наверное, так, если рассуждать вообще.

- Что же тебе мешает, папа?

Я опускал глаза.

- Извини, пап, я тороплюсь: кавалер заждался. Хотя я опаздываю всего на три минутки.

- Почему же Петя ждет тебя уже битый час?

- Во-первых, сегодня у нас отважный Славик, а не Петя. А во-вторых, если бы он опоздал на три минутки, ему бы никто уже не позволил ждать битый час.

- Славик у нас тоже фундамент и велосипед?

- Хуже того. Титаник.

Она уходила развлекаться, не забывая меня поцеловать.

Но в тот – единственный! – раз я вероломно нарушил неписаное правило. Я закрыл «Закат Европы», плотно сомкнул веки, и вдруг, неожиданно для себя, приоткрыл один глаз (левый), мгновенно запечатлев картинку, которая просто стоит у меня перед глазами, на самом видном месте, словно фотографии любимых на рабочем столе. Она проплыла мелкими шагами, покачивая бедрами, ее упругая грудь, украшенная капельками воды (Варька никогда не вытирается полотенцем после душа), подрагивала при ходьбе. Холеный, круглый и крепкий живот, потрясающий своей уместностью плотный клинышек русых волос, которые неизвестно почему сразу хотелось целовать. Никогда не забуду эту ликующую, нежную волну инцестуального восторга, всколыхнувшего меня. Варька знала себе цену. Какие стати!

Такое дуракам и не снилось. Славику, несомненно, было ради чего ждать. Он не зря терял время. Только вот... Ему бы имя сменить, что ли. Какой у вас взгляд, Серж, Петя! Плечики разверните, сожмите мою длань крепко, по-мужски, до хруста. Королеву играют слуги – и вы с готовностью изображаете величавых лакеев, сгибающихся под тяжестью собственного достоинства. Думаете, вы ей льстите? Ей нужен не слуга. Властелин (вот из кого получают отменные слуги, возлюбленные).

Ей нужен был человек, с которым она расцветет ярко и умопомрачительно. Матерый. Сильный. Королевских человеческих кровей. Не обязательно старше ее по возрасту, однако с большим потенциалом. Вячеслав как минимум. С твердым взглядом и крепким рукопожатием.

Это закон жизни.

Я знал, что встреча с таким человеком возможна – и об этом приятно мечталось; но знал также, что этого может и не случиться (а эти предчувствия я быстро разгонял и рассеивал, не позволяя им принимать очертания внятных мыслей, которые быстро облекаются в геометрию законов).

Ночью я почти не спал. Мне все грезился неукротимый закон жизни, играющий то грозными, штормовыми, то ласковыми, перламутровыми тонами. А мачта гнется и скрипит... Мне хотелось кому-нибудь пожаловаться на излишне суровый закон, но сделать это мешало странное чувство: я был бы неискренен, если бы стал жаловаться. Мне грех было обижаться на закон, этот хлеб науки. Мой хлеб.

Среди ночи в крошечной темноте сознания (в бескрайних просторах которого прячется время: сознание всегда чем-то напоминало мне вселенную) вдруг вспышкой кометы всплыла народная мудрость, больше похожая на насмешку над народной мудростью: как подумаешь, жить нельзя, а раздумаешься – и можно.

Под утро я уснул, нацепив улыбку, напоминавшую ломоть игривого месяца.

Меня разбудил резкий, похожий на предъявление незаслуженного обвинения телефонный звонок.

Звонила Юлька, моя бывшая студентка и моя нынешняя подруга, ровесница моей дочери – кстати сказать, до неприличия похожая на Варьку и внешне, и по характеру. Такая же грудь и такой же взгляд «с прозеленью омута». Наши отношения подоברались к такому этапу, за которым следует или все (то есть соединение судеб), или ничего (расставание).

Я не знал, на что решиться и тянул паузу, придавленный грузом ответственности, по большей части состоявшим из плотного вещества закона жизни.

Тем же тихим голосом и тем же тоном, что и у Варьки, Юлька сообщила мне ту же весть: она беременна.

Дежавю. Нет, двойня.

Она не сказала «у нас будет ребенок»; она сказала «я беременна». Есть разница. В первом случае мне не оставляют выбора, а во втором предоставляют его сколько угодно. На все четыре стороны, каждая из которых упирается в край света. Женское благородство – это расчет на мужское благородство.

Я растерялся настолько, что вместо того, чтобы быстро, без паузы произнести историческое для отношений двух любящих «как я рад!» или что-нибудь в этом духе (это будет вспоминаться потом всю жизнь, я же знаю), я с обессиляющим страхом подумал: «Как сообщить об этом моей дочери? Ведь она не поймет: она еще маленькая. Она и меня посчитает предателем. А ей надо беречься: ведь мы ждем ребенка, моего внука. Нам категорически не нужны стрессы».

Пока я думал об этом (время зависло, почти остановилось, зацепившись за какую-то тяжелую портьеру: потом я смогу запросто вернуться в «сию секунду» и пережить все заново), Юлька визжала по телефону жутко жизнеутверждающую серенаду: «Как я рада! Как я рада!»

- Чему ты рада, прелесть моя?

- Тому, что сказал: «как я рад».

- Разве я сказал именно так?

- Да, Михаил Григорьевич! Ты так сказал. Хриплым голосом, со слезой. Ты такая прелесть! Ты сделал меня счастливой!

Выходит, я опять раздвоился.

Значит, я все же произнес «как я рад».

Когда же я успел?

07 сент. – 17-18 ноября 2007

ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Жил Владислав Антонович Елисей со своей женой Мартой Тарасовной, урождённой Кологривко, в добротном доме (сталинский ампир, стены полутораметровой толщины, огромные окна) по улице Морской. Они жили вместе уже ровно двадцать лет.

Жизнь, до сей поры не трепавшая эту пару серьёзнейшими штормами, с целью испытать на прочность, и впредь не предвещала им волнующих перемен, хотя и большими неприятностями также не грозила. При желании спокойное существование можно было назвать тихим счастьем; кому-то, не исключено, такая жизнь могла показаться скучным штилем. Это как посмотреть.

Владислав Антонович, которого приятели вслед за Мартой звали Елисей, очевидно, принимая фамилию за имя, был то ли не состоявшийся музыкант, то ли не раскрывшийся журналист, пишущий на темы культуры. Возможно даже, в нём погибал писатель, которому мешал журналист-подёнщик.

Опять же, как посмотреть.

Елисей родился в этом доме под номером один, и сколько себя помнил, жил на Морской – рядом с площадью Победы, недалеко от Свислочи (тем, кто бывал в Минске, конечно, известно это замечательное место). Вначале он учился в музыкальной школе, потом закончил музыкальное училище по классу баян. Однако по желанию своего педагога, чудака и кудесника Савелия Соболевского, которого ученики за глаза уважительно величали исключительно по отчеству: Ерофеич, Елисей исполнял не столько народный репертуар, сколько баллады Шопена. И Елисей влюбился в музыку Шопена, что закончилось печально: баян он невзлюбил, а на фортепьяно играть прилично так и не выучился. А вот Ерофеич на любимом инструменте исполнял любимого классика так, что даже известные эстеты-пианисты давно перестали кривить губы.

Когда пришло время выбирать, где молодому человеку из хорошей семьи (почитавшей сугубо мирные профессии, как-то: врач-оториноларинголог, настройщик музыкальных инструментов etc.) получать высшее образование, Елисей отчего-то подался на журфак, хотя к тому времени уже испытывал отчётливые симпатии к художественной литературе (да и она, кажется, склонна была отвечать ему взаимностью). В журналистике он, естественно, разочаровался, а с литературой всё складывалось непросто: рассказы, подписанные Елисей В–в (что смотрелось изысканным псевдонимом), были даже напечатаны, а вот роман...

Он чувствовал в себе силы написать роман, даже название придумал вполне экзистенциальное, но тот отчего-то не писался. На вопрос близких знакомых «как дела?» он всё ещё бодро отвечал «да вот, пишу роман, и не надо круглых глаз, я вас умоляю»; однако к тому времени, когда с ним случились из ряда вон выходящие события, то есть, к тому времени, когда они прожили с Мартой вместе уже ровно двадцать лет, он стал стесняться своего честного ответа всё больше и больше.

На Марте Кологривко он женился по любви, как человек порядочный и способный на глубокое переживание, – однако это знаменательное событие (женитьба, сколько ни шути, шаг действительно нешуточный) произошло в тот самый момент, когда будущий муж стал втайне сомневаться даже не в глубине своего чувства, а в самом его наличии.

Тут бесцеремонно вмешалась судьба, заставившая Марту испытать чувство абсолютной уверенности в том, что она беременна; впоследствии это не подтвердилось, но чувство абсолютной уверенности, бывшее, как оказалось, родовой отметиной Марты, с того самого дня тихо раздражало Елисея.

Впоследствии подтвердилась другая печальная вещь: Марта не могла иметь детей. И это определило отношение Елисея к чадам: он опасался выяснить своё настоящее к ним отношение, чтобы не причинять себе боль. Что-то подсказывало ему, что не иметь наследников – не самая завидная доля. На нет и суда нет.

Неудачный роман с музыкой, сомнительный роман с Мартой, его женитьба, её бесплодность, неоконченный роман «Ленивая фортуна» – все эти железные факты заставили Елисея признать наличие в этом мире судьбы. Так получалось, что его мнением не особо интересовались; его просто ставили в предлагаемые обстоятельства и не очень-то баловали свободой выбора.

Что ж, судьба так судьба, Елисей плакаться не собирался. Да и кому?

Решения судьбы обжалованию не подлежат.

Этим, собственно, и ограничивался круг знаковых событий из жизни нашего героя, который мог бы характеризовать его как личность.

Немного – да, однако не так уж и мало по нынешним временам.

На лестничной площадке третьего этажа, прямо напротив Елисея с Кологривко (жена, внучка легендарного комиссара, наотрез отказалась брать фамилию мужа), жила-была Злата, деловая женщина, которая держала цветочный бизнес, который, судя по всему, приносил немалый доход, хочется сказать – процветал. Рыжеволосая с зелёными глазами бизнес-леди лихо разъезжала на джипе «Судзуки» – «брызги шампанского» с золотым отливом (хотя ещё год назад у неё был не менее новый джип «Тойота» цвета «пожухлой травы»). С мужем она была разведена, и с удовольствием воспитывала ненаглядную дочь Марусю, которая посещала ту же музыкальную школу, в которой когда-то учился Елисей. Девочка «брала уроки» игры на флейте, параллельно осваивала саксофон, обожала английский бильярд снукер (тут их интересы с Елисеем неожиданно пересекались: он мог часами по телевизору наблюдать за хитроумными комбинациями с шарами; Марта, к сожалению, любила невысокого класса бокс).

Злата тоже всю жизнь прожила в доме номер один. Она, конечно, знала Елисея и Елисей, разумеется, не мог не знать Златы; но она была на десять лет моложе него и принадлежала уже к другому поколению, у которого были иные взгляды на жизнь. Когда они случайно встречались во дворе или на лестничной площадке, то общались, словно древние приятели, иронично и снисходительно (этот язык устраивал оба поколения).

- Как дела, господин Елисей? Пишете короткие рассказы? Про любовь? Читала, читала...

- Краткость глупости не помеха, - как-то лихо и находчиво отвечал Елисей. – Более того, это оптимальная форма существования глупости. Я вот роман пишу, вырос из коротких штанишек...

- Скажите на милость... Я человек простой, современные романы не читаю. Тоже про любовь, полагаю?

Аромат её духов, которым она хранила трогательную верность, волновал Елисея, её стриженная шубка казалась ему верхом изящества и вкуса. Её зелёные глаза искрились, в них нелегкомысленно плескалась какая-то стихия, которая умопомрачительно притягивала Елисея и, скорее всего, была ему необходима, как витамин; в этих глазах он угадывал вещество, из которого должен был состоять его выдохшийся роман – нечто из боли и света. Но как человек порядочный, он не позволял себе лишнего даже в мыслях, даже в воображении (хотя тут он не был хозяином до такой степени, как в мыслях). «Эта тема» представлялась ему сладким омутом, губельно кружащим голову простым парням. Он интуитивно избегал боли и несчастий.

- Вам бы, русалкам, всё про любовь.

- Конечно. Иначе зачем жить на свете? Просвети меня.

- Не знаю. Вот допишу роман – скажу.

- Буду с нетерпением ждать.

- Придётся мне отложить все дела и ускориться... Неловко заставлять женщину ждать. Тем более – такую женщину, мечту прозаиков...

После милых, ни к чему не обязывающих диалогов (хотя и он, и она говорили искренне и серьёзно: он готов был поклясться в этом; как-то удавалось им совместить лёгкость и содержательность, и это была их маленькая тайна), он особенно отчётливо понимал, что никогда не напишет роман, ради которого, возможно, был рождён на свет. Не судьба.

Про себя он называл её не русалкой, а Золотой Рыбкой. Вряд ли по причине пристрастия её к ярким цветам. Скорее всего, из-за любви к свободе и независимости, которую он, возможно, ей приписывал.

Она открывала свою дверь, он – свою, они расходились с одной площадки в разные жизни, и у него в ту же секунду, словно по мановению волшебной палочки, гасли глаза и пропадал дар речи (это приходило как физическое ощущение). Навстречу, словно сонный сом из аквариума (комнатные кактусы и пальмы смотрелись буйными водорослями), выплывала блёклая Марта в заношенном халате («Купи новый, наконец!» – «А чем тебя этот не устраивает?»), мысли не хотели формулироваться, разбегались, чувства отказывались возгораться, и его светлые ум и душа выражались в скучных вопросах: что у нас на обед? что у нас на ужин?

- Ужин, ужин... Ужин нам не нужен, - говорил Елисей и ел, почему-то, больше, чем ему хотелось.

Он так и не научился образовывать от строгого «Марта» уменьшительно-ласкательные глупости. Просто говорил: «купи новый халат» или «что у нас на

обед». Когда злился, называл её Марфой-посадницей (хотя плохо представлял себе, что значит «посадница»).

Елисей был бы весьма удивлён, если бы ему сказали, что он живёт не свою жизнь или что он несчастен. Во-первых, от судьбы не уйдёшь, а во-вторых, счастье есть отсутствие несчастий.

Всё сходится. Жизнь – его. Что касается скуки...

Это как посмотреть. Да, он тосковал по запаху духов Золотой Рыбки, иногда специально под надуманным предлогом выходил на лестничную площадку, чтобы насладиться глотком воздуха, в котором уже было или вскоре будет растворено запретное горьковатое амбре, а то и просто посмотреть на её недавно поставленную особо прочную дверь; да, душа порой ноет и плачет – на то она, вероятно, и душа.

Но кто сказал, что Золотая Рыбка – для него?

Кто сказал, что ей, такой успешной, блестящей и свободолюбивой нужен человек с мутной судьбой?

Кто сказал, что она сможет полюбить его? Кто сказал, что он любит её?

Кто сказал, наконец, что позволительно бросить Марфу после двадцати лет совместной жизни?

Кто сказал?

Они пережили бездетность и смирились с нею – а эта беда особенно сближает; они породнились уже настолько, что живут одной кровеносной системой, хорошо ли, плохо ли, но живут одной жизнью.

И у него, конечно, хватит силы воли избежать соблазна. Никаких омутов, никаких русалок, никаких сказок. Зачем смущать себя несбыточными мечтами?

Наверное, у каждого на дне души запрято что-то глубоко личное, врождённопечальное, что выразить смог только Шопен; но жизнь мало похожа на праздник, на «брызги шампанского». Разрушить надёжный причал можно очень быстро; но кто даст гарантию, что скука тут же не будет вытеснена болью и несчастьем?

Судьба гарантий не даёт; она просто указывает тебе место.

Всё. Хватит. Точка.

Однажды сырым февральским днём (с привычно серого неба сыпал мокрый снежок, но утром – впервые за зиму! – тонко и вовсе не робко исходили пискom какие-то птицы, продолжительно и призывно: то был недвусмысленный глас весны) Елисей собрался на работу.

Он вышел на лестничную площадку, вдохнул в себя тёплый воздух (горько?) – и тут же насторожился. Внимание его привлёк не свежий запах духов, а звуки, доносившиеся из квартиры Золотой Рыбки. Оказывается, он всегда прислушивался и к звукам, но, кроме слабого стенанья саксофона, мучившего репертуар Битлов, ничего другого он никогда не слышал: толстые стены надёжно хранили тайны хозяев.

В этот раз было иначе. Тупой стук сопровождал энергичную возню, напоминавшую драку. Елисей замер. Ему почудился сдавленный стон. Вновь борьба. Какие-то удары. Опять придушенный вопль. Потом всё стихло.

Звуковой образ драки стоял в ушах. Елисей в нерешительности потоптался возле своей двери.

В этот момент внизу раздались шаги по лестнице (в доме старой конструкции лифт был не предусмотрен). Вскоре показалась шапочка с помпоном бодро марширующей Маруси. В её руках был футляр от флейты.

- Здравствуйте, дядя Владислав, - сказала она, беспричинно улыбаясь.

- Привет джазбэнду, - тихо ответил он.

Она уже приготовила ключи, чтобы отпереть дверь.

- Подожди, Руся, - он обратился к ней так, как это обычно делала мать.

Она удивлённо вскинула на него глаза. Он поманил её указательным пальцем. Она подошла.

- У вас дома кто-нибудь есть?

- Да вроде никого, мама на работе. А что случилось?

- Мне показалось... Глупость, конечно... Там что-то не так. Руся, ты открой дверь, но не закрывай её, а я постою рядом. Войдёшь, убедишься, что всё в порядке, потом вернёшься и закроешь за собой дверь.

Во взгляде Руси появилась недоверчивость. Елисей неожиданно проявил напористость:

- Руся, ты должна мне верить. Я ведь знаю тебя с пелёнок, ты была белобрысым мальком. Я только что слышал крики из вашей квартиры. Ну, хочешь, я Марту позову?

Она, ни слова не говоря, подошла к двери.

- Давай, я подержу твой инструмент.

Она молча передала футляр.

Бесшумно сработал замок, и она, не входя, открыла дверь настежь. На пороге стоял крепкий парень в наглухо застёгнутой на молнию куртке и перчатках. Продолговатую голову его венчала толстая вязаная шапочка, и застывший парень – гладкое лицо, узкие глазки – напоминал лакированного оловянного солдатика с жёлудем на плечах. Хрупкая Руся шагнула назад и прижалась к Елисею.

По тому, как окаменела его маленькая соседка, Владислав понял, что она не знакома с гостем. Парень молчал и, очевидно, не расположен был к общению.

- Здравствуйте, - сказал Елисей.

- Проходи, - бросил лакированный солдатик с гладким лицом не ему, а Русе.

- А кто вы, собственно, будете? – на этот раз Елисей не собирался сдаваться.

- А вы?

Парень заметно растерялся и выигрывал время, не зная, что предпринять.

- А мы – соседи, - сказал Елисей и с вызовом надавил на кнопку звонка в свою квартиру.

В этот момент солдатик, который действовал явно не по плану, а по обстоятельствам, бросился на него, и Елисей, едва ли не в первый раз в жизни, удивил сам себя. Ребристым футляром он расчётливо врезал нападавшему в лицо по линии нос-губы-подбородок. Тяжёленькая флейта выскользнула и со звоном покатилась по бетонному полу. Это словно придало сил Елисею: он быстро ткнул неловко сложенным кулаком в жёлудь под шапочку и костяшкой

попал точно в глаз. Парень опешил, и в этот момент Елисей, дивясь своей управляемой хладнокровной ярости, схватил его за плотно облегающую куртку и швырнул к лестнице. Уже в движении парень ухватился за дублёнку Елисея, и они кубарем покатались вниз, с хрустом пересчитывая все десять ступеней пролёта. Елисей вскочил, будто гуттаперчевый (он сгруппировался так удачно, что не получил ни ушиба, ни царапины: это был его день). Парень остался лежать. Его глаза были закрыты. Сверху на них, будто два ангела, смотрели Марта и Руся.

Скорая и милиция приехали одновременно. У солдатика с жёлудем пульс уже пропадал – с многочисленными переломами рёбер и черепно-мозговой травмой его срочно забрали в реанимацию.

Злате тоже досталось: жёлудь избил её – удары по печени, по почкам должны были деморализовать «объект» – и привязал к стулу, залепив рот скотчем; она страшно испугалась за Русю и не отходила от неё ни на шаг.

Едва ли не больше всех пострадала невинная Марта: последствия шока были печальны – у неё отнялись ноги.

На победителя Елисея завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде. Молодого следователя почему-то интересовал не столько бандит, который требовал у Златы кругленькую, не с потолка взятую сумму (узкоглазый жёлудь добросовестно «работал по объекту»: неделю выслеживал её, был в курсе всех нюансов её бизнеса – он хорошо представлял, чего следует добиваться в данном случае), сколько отвлечённый вопрос: превысил ли Елисей допустимые меры обороны или нет?

Предварительно получалось, что превысил: парень был в коме, а Елисей отделался лёгким испугом, в результате чего резко повысилась его собственная самооценка (хотя последнюю к делу не пришьёшь). Подследственный защищался – да, несомненно, это доказано; однако по факту жизнь нападавшего оказалась под угрозой. Один участник инцидента здоров, а второй – едва жив. Это твердо установлено. Как отделить человеческий фактор от юридического?

Очень вредил Елисею злополучный футляр от флейты, ставший вещдоком: получалось, что нападение на бандита было едва ли не спланированным, чуть ли не умышленным. Элемент неожиданности, спонтанности, который послужил бы очень и очень смягчающим вину обстоятельством, становился козырем жёлудя, который неожиданно из агрессора превратился в жертву.

Стоит ли говорить, что Елисею пришлось не сладко; но – странное дело! – он вовсе не падал духом, поражая и Злату, и себя обнаружившейся в нём внутренней силой. А ведь ему грозила тюрьма. Реальный срок.

- Да ты мужик, королевич Елисей, - сказала ему Злата. Он попросила его «по-соседски» зайти на чай.

- Ну, что ты... Я всего лишь автор коротких рассказов. Самую чуточку – акула пера. Да, и мастер единоборств на лестнице, как выяснилось. Новый вид, однако: флейтой по фэйсу.

- Вот что, автор, умирающий от скромности. У тебя будет лучший адвокат. Мы выиграем дело, чего бы это нам ни стоило. Ясно? А за Руську я тебе по гроб жизни буду благодарна.

- Флейту жалко.

- У неё уже новая флейта, не беспокойся. Лучше прежней. Что касается Марты Тарасовны... Нужные лекарства мы ей достали. Ей необходим хороший санаторий – через месяц она выедет на лечение. В Австрию. Через час ей привезут инвалидную коляску. Мне очень жаль. Я всегда рада буду помочь, мастер. Как продвигается роман?

- Думаю, всё не так безнадежно. Он пишется.

- Ты молодец, королевич.

- Спасибо за правду. Люблю объективность.

- Я тобой горжусь.

- А я... Очень вкусное печенье. Спасибо, Злата.

- Где ты был? – спросила Марта.

- У Златы.

- Ненавижу её, – сказала Марфа-посадница. – Она превратила мою жизнь в ад.

- Марта, потерпи, всё наладится. Сейчас тебе привезут инвалидную коляску. Она оплатит тебе санаторное лечение.

- Ненавижу! И чтобы ты к ней больше не ходил!

- Марта! Держи себя в руках.

- Я бы посмотрела, что бы ты запел на моём месте!

- Марта!

- Я бы посмотрела, что бы она запела на моём месте!

- Марта!

- Что ты раскаркался, как попугай! Попроси, пусть лучше она нам дверь входную установит, такую же, как у неё. Десять степеней защиты. Я теперь всего боюсь, каждого шороха.

- Мы сами в состоянии поставить себе дверь.

- Нет, пусть это сделает она. Кто у кого в долгу? Вот пусть и раскошеливается! Знаешь, сколько стоит такая дверь? Знаешь? Я специально узнавала...

- Марта! Марта!

- И чтобы к ней больше ни ногой!

- Как же я буду выпрашивать у неё дверь? А?

- Ни ногой!

Через месяц Марта улетела в Австрию, где ей предстояло обследоваться у лучших специалистов.

Только после того, как он остался один, Елисей понял, что Марта его жизнь превратила в ад. Очевидно, она принадлежала к тем людям, которым для полного счастья не хватает только тяжёлой, в идеале неизлечимой болезни: с её помощью терроризировать своих близких одно удовольствие. В этой ситуации она чувствовала себя, как рыба в воде. Быстро адаптировавшись, она превратилась в заправского деспота и стала повелевать Елисеем так, словно он, беглый каторжанин, был ей кругом должен, и теперь всю оставшуюся жизнь

ему надлежало находиться у неё в услужении. Он мог разве что сменить одну тюрьму на другую, если повезёт, конечно.

Возможно, именно поэтому предстоящий суд Елисея не страшил; возможно, была ещё причина. Хотя шансы его попасть в другую тюрьму, надо отдать должное Злате, ухудшались день ото дня. Адвокат работал не покладая рук.

Вечером Елисей, как и обещал, зашёл к Злате на чай (собственно, последнее время он делал это каждый вечер, «по-соседски»).

Они быстро, без лишних слов и эмоций, обсудили мелочи, которые могли возникнуть в процессе судебного разбирательства. Злата ориентировалась в деталях не хуже адвоката. Видно было, что она принимала близко к сердцу эту несправедливость судьбы: как же так, благородную жертву перепутали с палачом!

Вообще, она была очень внимательна к деталям: на столе стояло то же печенье, которое вскользь похвалил Елисей, чай был заварен именно так, как нравилось Елисею (он бегло отметил отменное искусство подавать чай в меру крепким и горячим – и вот теперь всё повторилось точь-в-точь, как в прошлый раз). А самое главное – на ней было то самое облегающее платье в блёстках, напоминавших чешую золотой рыбки, платье, которое так понравилось Елисею, хотя он ни словом не обмолвился об этом. И вдруг...

- Нравится платье? – спросила Злата.

- Да, - сказал он, не поднимая глаз. Он никогда не смотрел на то, что ему очень нравилось.

- Почему же ты не смотришь на меня?

И Елисей покраснел как маков цвет: так он полыхал единственный раз в своей жизни – тогда, когда Марта сообщила ему о своей беременности. Странно, но только сейчас он с грустной обречённостью понял, что Марта откровенно соврала: она элементарно поймала карасика Елисея на голый крючок. Расчетливо и цинично. Раньше он боялся называть вещи своими именами так откровенно и грубо (нельзя, нельзя плохо думать о человеке, с которым бок о бок проживаешь свою жизнь: прежде всего, это неуважение к себе). Он приучил себя к мысли, что, скорее всего, не до конца постигает странные (кто поймёт женщин!) мотивы её поведения.

И вот сейчас, рядом со Златой, он почувствовал, что на свете есть *другие женщины*, по крайней мере, есть одна другая, которая не будет ему умышленно лгать, не станет своей болезнью корить направо и налево, заставлять при каждом удобном случае испытывать чувство вины. (Плохо так думать, но мысль отогнать было уже невозможно: у Марты действительно парализовало ноги или она симулирует болезнь?)

- Она превратила твою жизнь в ад? – спросила Злата, и Елисей вовсе не удивился её вопросу: он уже был уверен – она и есть *другая*, то есть нужная ему, его женщина, которая понимает своего мужчину без слов.

Поэтому он сказал не то, что должен был сказать приличный и воспитанный человек, не то, что должен произнести мужчина в его положении, не то, что ей приятно было бы слышать – словом, не то, что сохраняло бы дистанцию между ними.

Напротив, с его губ сорвалось:

- Я тебя люблю, Золотая Рыбка.

И в ответ услышал то, что запрещал себе слышать даже в самых отважных фантазиях:

- Сними с меня платье. Смелее, королевич.

Её тело оказалось тёплым и желанным, а его руки – уверенными и нежными.

Три дня и три ночи, длившиеся дольше, нежели вся предыдущая жизнь, пролетели как одно мгновение.

- Завтра суд, - сказала Злата. – Рассказать тебе анекдот?

- Расскажи.

- Дело было в аквариуме. Одна золотая рыбка спрашивает у второй: «Как ты думаешь, есть Бог или нет?»

Та отвечает: «Не знаю. Но кто-то же меняет нам воду в аквариуме...»

- Забавно, - отозвался Елисей. - Только это не анекдот, а притча.

- Может, и притча. В жизни всё так перепутано...

И был суд, и суд был справедливым, и Елисей оказался на свободе со своим счастьем. Произошло это в десять часов утра первого апреля.

Судьба, кажется, иначе стала относиться к Елисею (или Елисей – к судьбе?).

В этом предстояло разобраться. Судьба и здесь не стала ничего откладывать: к вечеру первого апреля вернулась посвежевшая Марфа. Достаточно было посмотреть на неё, чтобы убедиться: ей стало значительно лучше, но она пока не вставала с коляски (что выглядело даже несколько противоестественно). Правда, Елисею в какой-то момент показалось, что в приоткрытую дверь ванной он увидел *пустую* коляску.

С этой секунды ему стоило больших трудов побороть соблазнительный зуд подсматривать за ней. Он начинал злиться то ли на себя, то ли на Марфу, то ли на весь белый свет. Марфа была дома только час, а казалось, что целых бесконечных шестьдесят минут.

- Может, стоило бы позвать Злату? Мы бы отметили твоё выздоровление. В конце концов, надо поблагодарить её.

- Моё выздоровление? Кто сказал тебе, что я здорова? Речь идёт об улучшении состояния, не более того.

- Воля твоя, но я бы позвал Злату. Иначе нехорошо получается.

- Я не желаю видеть эту выдру, из-за которой потеряла своё драгоценное здоровье.

Елисей испытал прилив такой испепеляющей, лютой злобы, что даже обрадовался: с такими чувствами вряд ли он сможет жить с Марфой дальше. Не судьба?

- Как можно винить человека в том, что со всеми нами произошёл несчастный случай? В чём её вина? Она помогла тебе – от чистого сердца, заметь, по доброй воле; она меня из тюрьмы вытащила...

- По-твоему, теперь мы должны этой миллионерше всю жизнь в ножки кланяться? Жили себе, горя не знали, и тут – воровку грабят... Может,

благотельница сама всё это и подстроила. А ты, как лопух, всё за чистую монету принимаешь.

Елисей в полной мере чувствовал себя обитателем ада. Душившая его ненависть не могла скопиться за час; очевидно, она подспудно тучнела в нём двадцать лет, и вдруг взяла за глотку. Приступ хладнокровной ярости, частично истраченный в схватке с желудёвым парнем, просто сотряс Елисея.

Но Марфа хорошо знала своего мужа, – гораздо лучше, чем он сам.

- Ты хочешь её видеть? Зови, - смиренно заявила она.

Он развернулся и вышел из комнаты. Остановился перед зеркалом. Глядящие на него в упор глаза спросили: «Что теперь будем делать с аквариумом?»

На следующий день, вернувшись работы, он застал Злату и Марту, мирно беседующих за чаем на кухне у Елисея.

- Вы поставите нам такую же входную дверь, как у вас? – простодушно привередничала Марта, приглашая Елисея к разговору. – Мой муж сказал мне, что просил вас об этом, и вы обещали заменить нам дверь. Это так мило с вашей стороны. После всего того, что я перенесла, и после того, что сказали мне врачи, имею ли я право попросить вас ещё об одной услуге... Это будет единственная моя просьба...

- Конечно, конечно, я сделаю всё, что в моих силах, Марта Тарасовна.

- Вряд ли я когда-нибудь встану с инвалидной коляски, вы меня понимаете? А если всё же встану, то при определённых условиях. Мне надо забыть пережитый кошмар: желательно сделать ремонт, поменять обои, мебель, даже одежду. Так сказать, сменить среду обитания. Так рекомендуют лучшие врачи. Мы люди небогатые, боюсь, мы не осилим перемены в таком объёме. Вы меня понимаете?

Марфа говорила, Золотая Рыбка сдержанно кивала.

Потом Злата поблагодарила за гостеприимство и ушла, не глядя на Елисея.

Под тяжёлым взором Марты Елисей так и не поднял своих глаз.

Через неделю Елисей увидел возле двери Златы ухоженного мужчину, распространяющего вокруг стойкий запах дорогого парфюма, – по иронии судьбы, гладковыбритого и узкоглазого, только не молодого, а уже в годах. Он с удовольствием блокировал и разблокировал замок, наслаждаясь работой затейливого механизма. Заметив внимательный взгляд Елисея, он миролюбиво пояснил:

- Я ваш новый сосед, человек смирный и одинокий. Прошу любить и жаловать. У вас, я вижу, такая же дверь. Замок надёжный?

- А где же Злата?

- Бывшая хозяйка? Она в срочном порядке продала мне эту квартиру. Очевидно, поменяла место жительства. Это всё, что мне известно. Очень милая женщина, не правда ли?

- У неё был скверный характер, - на пороге их квартиры стояла Марта Кологривко в новом лиловом халате. – А замок надёжный. Нам нравится.

В её голосе звучали нотки абсолютной уверенности.

Владислав Антонович Елисей рассмеялся от души. Его супруга, словно расслышав нотки фальши, изумлённо повела бровями.

- Знаешь ли ты, Марта Кологривко, кто меняет воду в аквариуме?

Брови поднялись ещё выше.

Новый сосед ничему не удивлялся.

20-27 февраля 2010

МЕДВЕДЬ

- Я целый день ждала этого часа! Чем ты занимался?
- Не знаю... Мне был сон...

1

Меня разбудили трели мобильного телефона. Мелодия «колокольчики ponad лугом» – легчайшие россыпи звоночков, – обычно умиротворяющая и ниспосылающая спокойствие, на сей раз врезалась в мой сон назойливым диссонансом.

Звонил мой друг Жан Неприятных, чтобы поздравить меня с днем рождения.

- Желаю тебе душевной гармонии, слышишь? Все остальное у тебя есть, Мишель. А вот душевной гармонии нет. И я тебе желаю обрести, наконец, душевную гармонию. Тогда весь свет заиграет новыми красками, вот увидишь...

- Спасибо, спасибо, Жан Петрович, милейший... Обрету. Который час?

- Уже утро в разгаре, прекрасное начало дня. Проснись и пой. В 51 жизнь только начинается.

Я глянул в окно. Небо было затянуто светло-серым слоем облаков. Никаких новых красок я пока не увидел. И с чего этот идиот Жан решил, что у меня проблемы с гармонией? Я спокоен, мне на все наплевать. Разве это не гармония? Стоило будить человека, чтобы пожелать ему черт знает что.

На часах восемь. Восемь ноль-ноль. Не идиот? Я о Жане, естественно. В отношениях с самим собой, повторяю, у меня полный порядок. Не вижу причин называть себя идиотом.

Я лег на спину, сложил руки на животе, закрыл глаза и попытался вспомнить свой сон. По опыту знал, что это безнадежно, но сон имел удивительно прямое отношение то ли к моему дню рождения, то ли к гармонии. Так хотелось ухватиться хоть за обрывки сна...

Конечно, сон я не восстановил. Мне уже начинал было сниться сон по поводу утраченности сна, как вдруг легко и просто продолжилось то, что было бесцеремонно прервано Жаном. Это был именно тот самый сон, несомненно; при этом вызывало удивление два обстоятельства: 1) как я мог его забыть и 2) сочетание простоты и тайной многозначности сна.

В общем и целом сонные грезы растревожили меня.

Я иду по лесу и собираю грибы. Поют птицы. Зачем мне грибы?

Дело в том, что с недавнего времени в отношении грибов, как и в отношении многого другого, у меня наметился крутой поворот. Я бы сказал, изменились принципы. Я всегда считал, что люблю грибы – и, соответственно, обожаю эту самую тихую охоту и эту тяжелую пищу. Ну, вот как можно не любить грибы? Их любят все. Как цветы. Как деньги. Как муж – жену.

Оказалось, что я не люблю их не только есть, но и собирать.

А это плохой род чудачества. Неуважение к собирательству и грибопоеданию отдает вызовом. Это скрытое покушение на традиции, на уклад

жизни предков, свичаи и обычаи; это коварный удар по корневищам, по вековой грибнице, которая воспроизводила сюрпризы предсказуемо и обильно.

За малым – едва ли не преступление против человечности.

И вот я собираю грибы и чувствую, что делаю это через силу. Я шучу, смотрю по сторонам – и понимаю, что притворяюсь не только перед всеми, но и перед самим собой. Я делаю вовсе не то, что мне хочется. Мне это ясно безо всяких доказательств.

Признание этого маленького фактика становится настоящим потрясением в масштабах моей личности. Оказывается, можно жить по-другому; можно делать то, что тебе нравится, и получать от этого удовольствие.

Я (пока еще в мыслях) отважился на рискованный, но такой необходимый мне шаг. И на душе становится вдруг весело и жутковато. Я знаю, что брошу сейчас лукошко (не ведро пластмассовое, недорогое и любимое снаряжение грибников, а именно плетеное лукошко, прямо из сказки, которое я видел однажды... не припомню, где, я его несомненно видел, и оно перевернется и застрянет в траве, затеряется в подсохших листьях) и пойду куда глаза глядят.

Странное дело я задумал, но на меня нисходит ощущение гармонии.

К тому же меня приободрили птицы, они запели все громче и громче – и...

...И в этот момент вновь залепетали беззаботные колокольчики. Но голос, которые они накликали, оказался хриплым и самоуверенным.

- Да, не слабо ты нагрешил в жизни. Посмотри, какая непогодь: мерзость конкретная. Лучше не придумашь, а хуже не бывает. Ладно, перехожу к существу дела. Желаю тебе воли, все остальное у тебя есть. Вот увидишь, свет заиграет новыми красками...

Действительно, к полудню облака потучнели, сыпанул холодный дождь, смешанный с крупичками льда. Откуда-то налетел пронизывающий насквозь ветрище (знаю я этот апрельский деликатес, сочетание прелести с беспросветностью).

Звонил некто Петров-Заторов, так себе поэт, но гигантский спец в области смысловых оттенков. Просто редкостный дар составлять нечто двусмысленное из полутонов. Последний его сборник стихов называется «Bestсовестная правда». Вот ведь гад мелкопакостный. Знает, что я внимательно отношусь к словам, поэтому стану вникать и маяться. И выбрал же не свободу, не счастье, не благополучие, не личную жизнь – да мало ли какие еще чудные слова можно подобрать ко дню рождения приятеля. Волю нам подавай. Наверняка ведь все продумал. Зачем мне воля, спрашивается?

Воля, на мой вкус, категория сомнительная. Не отрицательная, не положительная, не какая-либо еще однозначная – именно сомнительная, ускользающая от определений, хотя каждому понятная. Еще Пушкин наворочил: «на свете счастья нет, но есть покой и воля». А потом взял и с тонким умыслом продолжил: «я думал вольность и покой замена счастьем... Боже мой! Как я ошибся, как наказан!»

Вот что это за наследство? Как это все прикажете понимать?

Если счастья нет, тогда воля бесценна, ибо это единственное, что остается неприкаянному путнику, собирателю грибов. Но если счастье есть, воля в мгновение ока превращается в эрзац. Воля – это счастье второго сорта.

Зачем мне воля, Петров-Заторов? Ты хотел сказать, что я чем-то закрепощен, и эта самая неволя невольно сказывается в моем свободном творчестве? На самом замысле моих романов?

А может, он имел в виду силу воли? Намекнул, что я слабак?

У меня ее хоть отбавляй, всякой воли, я не испытываю дефицита воли. Уж чего-чего, а воли... Наплевать мне на волю.

В каждом пожелании, как в табакерке, таится какой-то неучтенный чертик. Все как сговорились: я не могу отделаться от ощущения, что их громко озвученные пожелания в мой адрес – это тихие послания самим себе. Их чистые и искренние пожелания я рассматриваю как способ самоутвердиться, а мой день рождения – как лучший в мире повод насолить мне своими сладчайшими словами.

Но почему ваши проблемы решаются именно за мой счет, господа?

Далеко не к каждому новорожденному хочется обратиться, душевно пожелать добра, вот так сокровенно вложиться в пожелание и раскрыться в этом душевном жесте до исподнего. Когда вы последний раз поздравляли с днем рождения своих ближних? Не удивлюсь, если это ваше первое в текущем году поздравление.

Почему вы избрали мишенью меня?

Скажи мне, чего ты мне желаешь, и я скажу, почему ты пожелал мне именно это... Нет?

По этому поводу что-то было в моем вешем сне. Да, было. Как-то подозрительно вяжется сон с явью. Не к добру. Почему сразу не к добру?

Нет, первое слово дороже второго. Не к добру. Обманывать себя бесполезно.

Навстречу мне выходит медведь и подозрительно косится на брошенное лукошко. Неодобрительно крутит большой башкой. От полутонной глыбы – запах, панически пугающий густой запах зверя. Этот запах по древности своей сопоставим с запахом грибов, в нем столько же первородной информации для инстинктов. Только грибы пахнут жильем, защитой, даже уютом, а от медведя тянет жизнью и смертью одновременно. Запах грибов действует «по шерсти», а свежая медвежья вонь – «против шерсти».

- Ты заблудился? – спрашивает медведь.

Меня не столько удивляет, что он может говорить, этот персонаж, которого сознание мое иронически воспринимает на фоне баек про Машу и медведя, сколько возмущает его версия относительно моего «блуждания».

- Почему сразу заблудился в трех соснах? – возражаю я, и чувствую, что ирония моя никак не относится к запаху. Ядреный запах – это не смешно. Он изгоняет меня с чужой территории, на которую я заступил неумышленно.

Медведь вновь крутит головой, забавно, как в цирке, и тяжело дышит. Не сомневаюсь, что дыхание его гнилостно и смрадно.

- Ну, что ж, коли ты не отбился от людей, коли ты знаешь, куда путь держишь – иди, я тебе не указ. Перечить не стану. Только позволь пожелать тебе, странник...

Птицы вновь залились самозабвенно – я поднял голову вверх и...

Очнулся от очередного звонка.

- ...желаю тебе удачи, которая, словно солнышко, выглянет и приятно удивит. Ты вдруг увидишь все в новом свете. Удачи. Все остальное у тебя есть, - мило закруглила Лариса Борисовна свой краткий подготовленный экспромт. Она строит мне глазки и ненавязчиво попадает на глаза по сто раз на день.

Они что, сговорились? Теперь я еще и неудачник?

Я подошел к окну. Надо мной зияла беззащитная бледно-голубая рана с рваными пушисто-белыми краями. Солнце, ломанувшись в брешь, пригревало жарко, чуть заметный ветерок приятно охлаждал лицо.

Что же пожелал мне медведь?

Мой день рождения, кажется, был вчистую испорчен глухим бурчанием этого бурого увальня. «Только позволь пожелать тебе...» Я ведь застыл, буквально окоченел после этих слов, от которых словно исходил запах дикого зверя – запах смертельной опасности. Предчувствуя лесную дремучую правду, я раздул ноздри и задрал голову вверх, якобы, выражая недовольство птичьим гомоном, таким громким, что он походил на лай; ведь он помешал мне слышать главное...

Потом я опустил голову и уставился на еловые иголки. Что потом?

Правильно: медведя уже не было. Он исчез. Причем, исчез не вызывая, не как заяц в котелке фокусника, а как-то незаметно и убедительно: именно так бесшумно должна была раствориться в метре от тебя полутонная машина. Чтобы затаиться. Он исчез, чтобы быть. В этом я ощутил лесную правду. Потом...

Потом я улыбнулся: весь этот спектакль во сне был затеян ради одной фразы, содержание которой я старательно прятал от самого себя.

Медведь – это что же, темная сторона меня самого?

Чушь какая-то несусветная.

Хорошо. Не станем отвлекаться. «Только позволь пожелать тебе...»

Позволь пожелать... позволь пожелать...

Всем существом я ждал телефонного звонка. Но меня плотным кольцом окружало назойливое безмолвие.

Тут я вспомнил о целом ряде совершенно неотложных дел. Как я вообще мог про них забыть! Мне позарез надо было:

забежать на работу,

одолжить денег другу,

пересечься с сыном,

позвонить отцу,

заскочить в магазин,

сделать уборку,

приготовить ужин.

Что еще?

А ведь что-то еще. Ради чего такая спешка?
Не дав себе времени на раздумья, я закрутился в водовороте дел.

2

К вечеру потеплело, тучи рассеялись. День выдался всепогодным, передо мной времена года предстали во всей красе почти одновременно. Погода оказалась неустойчивой, как сама жизнь.

Я последовательно выполнил все намеченные дела. Сбой произошел только в двух случаях: 1) отец сам позвонил мне и не забыл поздравить с днем рождения (что я расценил как сюрприз, практически удачу) и 2) сын мой, Димка, не встретился со мной.

В остальном я мог быть вполне доволен собой. Особенно мне удался пункт второй: я дал в долг денег гораздо больше, чем ожидал от самого себя.

Теперь я возвращался домой из магазина: это был повторный поход (выяснилось, что в доме нет перца). Можно было, конечно, не ходить, обойтись без перца. Перец – это мелочь. Но мне показалось это важной мелочью. «В конце концов, все состоит из мелочей», - убеждал в чем-то я сам себя.

Возможно, мне просто не сиделось дома. Вот я и вспомнил о перце, который тут же превратился в самое неотложное в мире дело.

Возможно, поэтому я брел домой и время от времени юрко оглядывался, как человек, которого терзает какое-то сомнительное намерение. Который бежит от запаха медведя. И при этом не торопится.

Полная луна нависла неммым вопросом. Она вопрошала недвусмысленно и веско.

Только вот о чем?

Дома меня приятно удивил готовый к приему гостей стол. Я сервировал все так быстро, что только теперь оценил аккуратность и продуманность сервировки. Оказалось, что стол накрыт на три персоны. В центре стола – большой букет желтоватых роз. Почему на три?

Стоило мне внятно задать этот вопрос самому себе, как я начинал нервничать. Оказалось, что накрыть стол на три персоны гораздо проще, нежели объяснить себе, зачем ты это сделал.

В этот момент раздался звонок в дверь.

Я, опять же, не раздумывая (что я отменно научился делать в последнее время, так это не давать себе времени на раздумья), двинулся к двери, дважды обойдя стол, чтобы удлинить время – чтобы гости не подумали, что я очень кого-то жду.

Открыв дверь, я обрадовался и огорчился до умопомрачения. Это был не сын; это была Маша (от ее имени веяло теплотой и уютом; стоило произнести «Маша!» – и сразу становилось теплее, я проверял).

Вот уверен: если бы это был сын, я бы точно так же обрадовался и огорчился до умопомрачения.

Она вручила мне букет по осеннему бодрых хризантем, которые так нравились мне, и, оценив мою кисло-сладкую мину, пытавшуюся выглядеть свежей сдобой, спросила, оглядывая стол:

- Ты ожидаешь, что Дима забежит? Значит, он так и не позвонил тебе?

Все мы думаем, что нас не раскусить, тогда как на самом деле представляем собой открытую книгу. Особенно во дни ужасных потрясений. Человек, который терпит в жизни катастрофу, уподобляется затрепанной открытой книге. Счастливого человека разгадать куда сложнее: ему легче прикинуться несчастным, чем несчастному – счастливым.

- Пожелай мне что-нибудь, - попросил я.

- Я желаю тебе любви, - сказала Маша уверенно.

В ее положении это было непросто: ее слова относились не ко мне, а к нам. По крайней мере, у меня были основания так думать. Но она справилась легко.

Эти слова принесли мне запах дикого зверя, который смешался с терпким ароматом хризантем. Вот она, лесная сила и тайна.

- И тогда весь свет заиграет новыми красками? – уточнил я.

- Тогда ты обретишь счастье и гармонию.

- Ключевое слово для этих райских врат – любовь?

- Без нее все слова становятся пустыми.

- Вина хочешь? – спросил я без всякого перехода. Наверное, для того, чтобы лишиться себя секунд на размышление. – Твое любимое: грузинское полусладкое.

- Хочу. Давай поговорим. Я целый день ждала этого часа! Чем ты занимался?

- Не знаю... Мне был сон...

Я неловко замялся, представляя, какие долгие разъяснения понадобятся, если она, как всякий нормальный человек, удивится и спросит про сон. А врать не хотелось, не хотелось говорить, что не было никакого сна.

Но она сказала, внимательно посмотрев на меня (при этом не поедая меня расширенными темными зрачками, проявляя грубое любопытство, а поглаживала светло-серыми глазами, успокаивая):

- Сон – это серьезно. У меня тоже так бывает. А что мы будем есть?

- Салат. Холодный цыпленок. Шпроты. Еще есть фрукты и орехи. Чай с пирожными.

- Это не ужин; это пир горой. Понимаю, что я напросилась, но я нисколько об этом не жалею. Как говорится, и я там была... Кто подарил тебе такие розы?

Именно такие цветы обожала Маша. Бутоны свежие, не крупные, с чуть заметной зеленцой по краям лепестков. В них есть что-то от Машиной сути: беззащитные, но с бронебойными шипами.

- Это мой подарок тебе. В честь моего дня рождения.

- Спасибо. Ты очень внимателен. Тебе звонил Жан Петрович?

- ЖЭПэ? Звонил. Представляешь, пожелал мне душевной гармонии. Ну, не змей? Дескать, нет у тебя душевной гармонии, нет, и этого не скроешь.

- Почему сразу ЖЭПэ? Ты не прав. Он позвонил тебе, вот что главное; мог бы не позвонить – но ведь он же позвонил! И он не обижал тебя, а пожелал добра. Сделал тебе приятное. А то, что на мозольку тебе наступил... Так ведь ты сейчас весь в мозолях. И не ищи в моих словах подвоха. И не в чьих словах не ищи другого дна.

Я недавно развелся. Сын отвернулся от меня. Отец надулся. Жена объявила меня вырождением, исчадием ада и бессовестным лгуном.

Только сейчас, вечером в день моего рождения, я понял, наконец, почему я развелся. Я не люблю собирать грибы. Я не люблю врать. Я не ценю покой и волю. Мне скучно и неинтересно жить без любви.

И, наконец, понял самое главное: 1) любовь есть и 2) я давно уже люблю Машу. Как я ошибся, как я счастлив, да, да. Я ценю покой и волю, если они не заменяют, а дополняют любовь.

Вот почему я развелся. Чтобы обрести гармонию.

- Дай-ка мне телефончик, пожалуйста, - попросил я Машу.

Она молча передала мне трубку.

Я молча набрал номер телефона.

- Господин Неприятных? Спешу сообщить тебе преприятное известие. Я не ерничаю. Говорю же тебе, приятное известие.

Маша корчилась на диване от смеха.

- Я уже обрел душевную гармонию. Не далее, как сегодня вечером. Почему «так быстро»? Пятьдесят один год, по-твоему, это не срок? Да плюс еще предки мои прожили ради меня сотни тысяч лет. И вот результат: счастливый человек звонит другу. Ты, Жан, просто шаман. В смысле, шайтан. Как ты угадал, что гармония – самое уязвимое мое место? Я очень тебе благодарен, Неприятных.

- Не называй меня по фамилии, - сказал Жан (так и вижу, как он поджигает свои вишневые губы бонвивана, поигрывая бровями). – Мне становится не по себе. Ты же знаешь, это моя ахиллесова пята.

- Желаю тебе сменить фамилию, - сказал я.

- Спасибо, - ответил Жан. – Не дождетесь. Моя фамилия – это единственное, что отпугивает от меня женщин. Кстати, за деньги еще раз спасибо. Кажется, ты спас мое реноме богатого холостяка. Моя душевная гармония и пошлый брак – несовместимы.

- Ты меня пугаешь. Ты отказываешься верить в любовь, Жан?

- Увы, - ответил Жан. – Я пожил на свете не меньше твоего. У меня тоже, если ты заметил, есть глаза, уши и голова. И я, в отличие от некоторых, делаю правильные выводы из того, что вижу и слышу.

- Тогда я желаю тебе любви. От души.

- Ты намекаешь на то, что у меня проблемы с любовью? Более подлого пожелания не получал в своей жизни.

Было похоже на то, что мы шутили. Пошутили и пожелали друг другу спокойной ночи и приятных сновидений.

- Особенно повару удались шпроты, - сказала Маша. У нее тоже с чувством юмора было все в порядке.

- Пустяки, - сказал я. – Главное, когда коптишь, не пересолить. А то весь улов придется скормить морским котикам.

Правда была в том, что ей больше всего на свете нравились шпроты.

И грибы. Я приготовил их собственноручно и намеревался предложить их завтра. Такой вот сюрприз.

- У Жана серьезно заболела мать, - сказал я. – Предстоит операция. Я одолжил ему денег.

Мы помолчали.

- Я пришла к тебе без подарка...

- Мне это понравилось больше всего: я так понял, что ты не собираешься мне навязываться.

- Тут ты угадал. Но это вовсе не означает, что я не собираюсь оставаться у тебя на ночь... Если мне предложат, конечно.

Мне снился летний лес. Живая тишина. Вдруг встревоженно загалдели птицы, и когда в шаге от меня бесшумно возникает медведь, я к этому готов. Я иду, почти не оглядываясь, бесстрашно подставляя спину, и он идет за мной. Идет и молчит. Оскал на его кувшинном рыле завершается ехидно-хищной линией – подобием ухмылки. Нос мокрый. Глаза черные. Для меня главное, чтобы он не догадался, что я иду к Маше. Дышит, дышит, потом что-то тихо гудит низким голосом, шипя и присвистывая...

- Ты сказал «это святое»?

Я резко обернулся: он уже исчез.

- Что святое? Семья? Маша? Миша? Что ты сказал? – кричу я соснам.

Шумит лес, заглушая дыхание зверя. Медведь знает, что я уверен: он где-то рядом.

Затаился.

Птицы продолжают галдеть: они явно на моей стороне.

Я открываю глаза. Утро в разгаре: вот почему так орут птицы.

Маша их не слышит. Она спит.

Интересно, что снится ей?

10 мая, 31 октября - 01 ноября 2010 г.

ЭФФЕКТ ЛОТОСА

1

- А этот волк хороший или плохой? – спросила Дашка, не отрываясь от экрана телевизора, где показывали мультик про добро и зло.

- Волк? Плохой, - неуверенно ответил Юлий, ее отец.

- А зайчик хороший? – продолжала переживать Дашка.

- Зайчик? Кто его знает. Скорее всего, хороший, - сказал Юлий, отзываясь более на свои мысли, нежели на слова дочери.

- Почему? – не унималась дочурка.

- Потому что он белый и пушистый, - сказал Юлий только для того, чтобы что-нибудь сказать.

Она облегченно вздохнула, нащупала плюшевого зайца (почему-то серого, в яблоках, словно лошадь), не отрывая взгляда от экрана, и прижала его к себе.

Юлий внимательно посмотрел на дочь.

- А ты хорошая? – спросил он без улыбки.

Дашка не задумываясь отрицательно покачала головой.

- Нет? – удивился Юлий.

- Нет.

- Почему?

- Я маму люблю.

- Так-так.

Он опустил перед дочерью на корточки, как зек. Скорее, инстинктом отца и неглупого мужчины, чем воспитателя, Юлий почуял, что этот ответ нельзя оставлять без внимания. За эту ниточку следует потянуть. Именно сейчас, когда она всецело захвачена волчье-заячьей интригой и разговаривает с ним словно во сне, под гипнозом; потом, когда она вернется в реальность и сосредоточится на своих детских переживаниях, она уйдет в себя, как ее мать, и разговорить ее будет гораздо сложнее, если вообще возможно.

- А мама хорошая? – спросил он вкрадчиво, чтобы не спугнуть первобытную искренность дочери.

- Не-а. Плохая.

- Почему, Дашун?

- Она же ушла из семьи и нас бросила. Ты сам так говорил. Папа, а заяц боится волка или притворяется?

- Притворяется, конечно.

Дашка перевела на него свои круглые глаза, чистота которых всегда переворачивала ему душу, и сказала, по-взрослому вкладываясь в каждое слово:

- Папа, он его боится.

- Заяц?

- Да, папа.

- Не исключено.

- Уф! – воскликнула Дашка, откидываясь на спинку дивана. – Все, конец! Ну, волчара, дурак такой! Чуть не съел зайца!

Она отбросила затрепанного зайца в угол дивана (он завалился набок и рухнул на пол – Дашка ухом не повела) и забралась на колени к отцу.

- Пап, а знаешь, что?
- Ты хочешь о маме поговорить, мое золото?
- Нет. Знаешь, что, – а купи мне волка.
- Зачем?
- Он прикольный.
- Ты хочешь сказать – плохой?
- Нет, пап – он прикольный.
- Понятно, - сказал Юлий, как всегда говорил он в тех случаях, когда ему было ничего неясно или когда он был не согласен с собеседником.
- Купишь, пап?
- Куплю, конечно, раз он прикольный. А он не съест твоего зайца?
- Пап, ну, что ты, как маленький? Он же будет плюшевый. Как он его может съесть? Ну, как?
- Никак, пожалуй.
- Смотри. Не давай слова, держись, а давай слово, крепись. Обещания нужно выполнять. Да, пап?

Юлий по опыту знал: Дашка не отстанет.

Она была копия своей матери: такая же тихая, но себе на уме; иногда же редкостно, феноменально настырная. У Юлия возникало впечатление, что жена его копит, копит свое упрямство, понапрасну его не расходует, и когда посчитает необходимым, пускает в дело весь запас.

Тогда, если не хочешь больших неприятностей, надо отойти в сторону, отступить.

Но только не в этот раз.

В этот раз, дорогая Юлия, ты нарвалась на скалу.

- Даша, только надо говорить так: не давай слова, крепись, а давай слово, держись.

- Папа, ты же знаешь: я всегда путаю. Так ты купишь волка?
- Сама ты волк, - сказал Юлий. – Подними зайца.
- Так купишь, пап?
- Будет тебе прикольный волк, - вкладываясь в каждое слово, произнес Юлий.

«Если разобраться, то в дочери и от отца не меньше», - подумал Юлий, прижимая к себе Дашку.

2

Жили-были Юлий и Юлия, и все у них было хорошо, как у всех: безмятежное детство, мятежная юность, пафосная молодость, остывающие с возрастом души. Однажды они случайно встретились, приглянулись друг другу, потом, судя по всему, влюбились (взаимно) и, в конце концов, поженились. Возник союз. Все как у людей.

Они были обычной, если не сказать типичной, парой. Родилась у них дочь Дашка, и они в ней души не чаяли. Жар сердец отдавали они теперь семейному

очагу: они уже любили не столько друг друга, сколько свою семью, центром которой стала Дашка. Все как положено.

Но вот в Юлии нечаянно-негаданно (этому ведь никто не учил, об этом никто не предупреждал) проснулось глубоко женское – в ней очнулась спящая красавица, Джульетта. Она решила, что безумно любит своего новоявленного Ромео, ибо родилась она для страсти и любви, которыми в жизни была обделена. Отринув меркантильные расчеты и унижающий все высокое в человеке прагматизм, гм-гм, Юлия как человек глубоко порядочный и, следовательно, рассчитывающий на порядочность другого, тут же поставила в известность до той поры если не глубоко обожаемого, то вполне уважаемого супруга своего Юлия.

Юлий также удивил себя, всех и, прежде всего, Юлию. В нем проснулось нечто глубоко мужское, brutальное, корнями уходящее в дионисические хляби; в нем проснулся Цезарь в латах, деспот и тиран. Дремавшие в Юлике властность и сила оказались куда крепче, прочнее и первобытнее порядочности, которую Юльке угодно было толковать как «сделай все возможное и невозможное, чтобы жена твоя любимая ушла к Ромео и была с ним счастлива».

Юлий удивил Юлию, а именно: он выбросил ее чемодан с вещичками со словами «убирайся к чертовой бабушке, змея подколотная, и передай своему поручику, чтобы не попадался мне на глаза, пес паршивый, а если подойдешь к Дашке, порву тебя, как Барсик перчатку».

Скорее всего, это было непорядочно, как-то дико, и Юля как человек порядочный имела полное моральное право обидеться, однако бедная женщина испытывала совсем иные чувства. Она втайне любовалась вулканическим началом, звоном металла – так сказать, Цезарем в Юлии, бывшем суженом, а поникшего Ромео, Василия по паспорту, все более и более переставала уважать, несмотря на то, что ради нее он как истинный джентльмен бросил свою семью.

Все так запуталось, все стало таким непредсказуемым.

Юлия, втайне считавшая себя сильной женщиной, обнаружила в себе слабую, беззащитную девочку. Своего мужа (бывшего?! о, нет! или, все же, – да?), обычного мужчину, она перестала понимать и предсказывать, даже не пыталась угадать логику его поступков. Он стал казаться ей страшным, непонятным и, чего греха таить, величественным. А тот, кто вчера еще казался роскошным и всепобеждающим, ослепительный Василий, не кто иной, сегодня выглядел как задавленный проблемами среднестатистический мужчинка. Ничего от бывшего великолепия и исключительности. Вот как-то не хватило ему духу и уверенности. Хотя все, казалось бы, делал правильно. Претензий нет, но и увлеченность враз пропала.

Она запуталась. Ослепла. Испила яду искушений. Погибла.

Что же теперь будет?

Постепенно в душе обрисовывался и обрастал внятными контурами будущий центр возрождения, непотопляемый остров: Дашка. Точка, точка, запятая. Минус. Рожица кривая. Палка, палка. Огуречик. Вот и вышел человечек. К Дашке ее тянуло неодолимо, и за нее она готова была драться

насмерть. При имени «Дашка-а!», отзывавшемся в душе болью и радостью, пропадал страх, наплевать становилось на любовь и счастье, на порядочность и страсть. В Юльке просыпалась уже не Джульетта, и не Афродита даже; может быть, сама Деметра. В недрах женского существа оттаивала какая-то мать-сыра-земля, ответственная за циклы жизни, а не за перспективы одинокой заблудившейся барышни.

Джульетта нарвалась на Цезаря и гибельно превратилась в лужицу слез, испарившись нежной Снегурочкой; теперь Цезарю придется иметь дело с богиней, поставившей на колени самого Зевса.

- Дашка!

- Что, папа?

- Вот твой волк прикольный. Держи зверя.

- Ой, спасибо! Какой хорошенький! Большой!

- Он злой и страшный, имей в виду.

- Нет, папа! Он милый. Такой серенький. И грустный.

- Грустный! Да ты на его пасть посмотри! Кошмар Красной Шапочки. Как ты его назовешь, интересно?

- Барсик!

- Вот это новость! Ведь это собачье имя. Дворянжье. А он лесной разбойник.

- Папа! Я же девочка. Меня должны окружать добрые люди и звери, а не чудовища. Мама так говорила.

- Люди, звери. И мама.

- Да, и мама. Папа, ты простишь ее?

- Не знаю.

- Нельзя же быть таким злым. Я тогда не буду тебя любить.

Юлий присел на корточки перед дочерью.

- Ты считаешь, что если я ее не прощу, то плохим буду я?

- Конечно. Теперь она будет хорошая, а ты плохой. Как волк.

- А почему она хорошая?

- Потому что она мне нужна. Она называла меня «мой Цветочек».

- Понятно.

Юлий подошел к висевшему на стене портрету своего деда, известного полководца Великой Отечественной, позднее впавшего в немилость у сердобольного народа. Долго смотрел на его ордена и медали, потом скрестил с ним взгляды. Дед был в резкой форме в чем-то не согласен с внуком.

- А если я уйду из дома, Дашка? Я буду плохим?

- Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим. Как папа Светки, с которой я дружу. Он забирает ее в воскресенье и кормит мороженым, а потом у нее болит горло. А вообще-то прикольно. Я люблю мороженое.

- Завтра придет твоя мама.

- Ура! Ты ее простишь?

- Смотря как она себя поведет. Смотря как я себя поведу. Знаешь, что такое открытый финал?

- Знаю! Это когда добро победит зло.

- Не совсем...
- Значит, простишь. Смотри: не дав слова, держись...
- Крепись.
- Крепись. А дав слово, держись. Так говорил твой дед Павел? Вон тот? На стене который?
- Да, он говорил именно так. Он был героем. У тебя есть предок, которым можно гордиться. Это хоть какой-то якорь в жизни, поверь.
- А почему мама называет его Людоедом? Он был волк, что ли?
- Нет, он не был волком. Просто мама твоя дура.
- Папа! Разве можно так говорить о женщинах?
- Нельзя. О женщинах надо отзываться уважительно.
- Почему же ты сказал?
- Потому что я плохой.
- Нет, папа, ты не плохой; ты просто плохо поступил. Нельзя говорить человеку, что он плохой, а то он захрюкает. Так меня мама учила. Она ведь не дура? Нет, ты скажи, ты не молчи.
- Нет. Она не дура. Я надеюсь.
- Ну, вот, видишь! Сам сказал! Значит, ее надо простить.

3

На следующий день Юлия пришла к мужу и дочери не одна. С цветами.

Наличие в опущенной руке красноречиво молчащего букетика, очевидно, следовало расценивать как знак извинения, в идеале плавно переходящего в примирение. Букет был сдержанным и скромненьким. Символическим. Ромашки, доверчиво распахнутые миру, как глаза Дашки, прикрывались декоративной травкой. Выжидательный букетик.

- Где Даша?
- Она у бабушки, дочери Людоеда. Которому тиран, время от времени выступавший в роли вождя и учителя, присвоил звание Маршала Советского Союза.
- Юлий! Давай сейчас не будем об этом! К нашей ситуации это не имеет никакого отношения. Я знаю: я поступила плохо. Я приношу свои извинения. Я стала другой. Сильный человек должен уметь прощать. Я надеюсь, ты сильный. Помнишь, как ты говорил? Тот, кто держит в руках цветы, не способен сделать ничего плохого. Вот я стою перед тобой с цветами в руках, с открытым сердцем...
- Ты уже сделала плохое: ты сорвала цветок. Убила жизнь.
- То есть, как – убила? Я никого и ничего не убивала. Не надо быть фарисеем. Это всего лишь цветы. Ты мне тоже дарил цветы – значит, ты тоже поступал плохо?
- Нет. Я тебя любил.
- Тебе можно дарить девушке цветы, а мне своему мужу – нельзя?
- Когда любишь, можно все. Тогда цветы радуют. А если ты предала, зачем рвать цветы?

- Ты не можешь забрать у меня Дашку! Не можешь! Я тебе ее не отдам! И не надейся!

И в доказательство своей решимости она швырнула свежий букет на пол. Теперь рассыпавшиеся веточки и стебельки смотрелись поникшим, но все еще живым укором, символом растоптано-втоптанного чего-то нежного и ранимого. Ромашки страдальчески уткнулись светло-желтыми личиками в линолеум.

Красивые цветы, валяющиеся на полу, – всегда тревожный и плохой предвестник. Жест жены можно было понять так: «сентименты в сторону».

Вряд ли это было домашней заготовкой; скорее всего, чистой воды импровизация. Юлий никогда еще не видел свою жену столь воинственно настроенной. В ней клокотала не упрямость, а твердость. Черта натуры нашла точку приложения в жизни и становилась силой характера. Это невольно внушало уважение.

Однако Юлий не намерен был капитулировать так легко. Он вообще не намерен был капитулировать. В его жизни также начиналась новая полоса.

Он весело смотрел на ее гнев и отчаяние, понимая, что легкомысленная насмешливость пугает ее и деморализует. Но у него и в мыслях не было проучить ее, отомстить или задать примерную трепку. Вовсе нет.

Боль и унижение обострили способности ума, и теперь он начинал осознавать природу своей силы. Он понял: чтобы жить с женщиной, необходимо соблюсти два условия (по крайней мере, в его случае).

Первое: надо открыться самому себе до конца, железом каленым выжечь всякие сопливые иллюзии, заглянуть к себе в душу и увидеть то, что там есть, без прикрас: золото – значит, золото; плесень – значит, плесень. Зачем? Затем, чтобы стремление к силе и власти, свойственные всякому, даже самому завалющему мужичонке, обернуть на нужды самопознания. Сила и власть как цель и смысл – это врожденное, своеобразная родовая отметина или генетический признак. Самопознание – благоприобретенное, завоеванное с помощью силы качество.

Ergo: стать мужчиной – значит, научиться контролировать природное стремление к силе и власти.

Второе: надо, чтобы она, женщина, почувствовала (понять-то ведь ей не дано; или все же дано? ладно, это пока неясно) масштабность твоей мужской натуры.

Если почувствует, если ей дано почувствовать, если в душе у нее присутствуют врожденные рецепторы, то она будет твоей. Если нет, то это не твой человек. Это мелкий, плохой человек.

А зачем это все?

А затем, что он, мужчина, должен вырастить из дочери своей настоящую женщину. Правильную. Хорошую. А что значит вырастить дочь?

Это значит – разобраться в себе.

Задача стояла вовсе не так: простить – или не простить; быть великодушным – или не быть. «Сильный человек должен уметь прощать»... Это пустые слова, религия плохого человека.

Проблема была в другом: что есть жизнь? Что есть человек? Мужчина? Женщина? Истина?

Стремление разобраться в себе Юлий стал осознавать как первый долг мужчины. Долг перед собой. Дочерью. Жизнью. Истиной.

Ergo: дочь и истина стояли в одном ряду. Тесно прижавшись друг к другу. Почти как добро и зло.

И Юлия кожей и сердцем почувствовала всю мощь его новых мыслей.

Перед ней стоял человек, который улыбался не тому, что у него появилась возможность унижить ее, наказать, покуражиться, поставить на место, а тому приятному для него обстоятельству, что рядом с ним, с такими, как он, и только с ними, женщина может раскрыть всю свою красоту и силу. Он улыбался улыбкой сильного, открытого и хорошего человека.

Теперь он выбирал нужную ему женщину, давая при этом возможность ей выбирать мужчину: такого, как он, или в принципе на него не похожего. Честно и откровенно.

И это было уже не как у всех, Юлий предлагал что-то новое в жизни. В его облике и поведении появилось что-то от Зевса, и Юлия сразу же почувствовала, что следует считаться с его правилами игры. Она доверилась тому, чему не может не довериться нормальная женщина.

В этот момент Василий показался ей вызывающим жалость мужественным идеалом, безупречным героем, достоинства которого делали его маленьким, мультяшным, и ей стало неловко за свою вчерашнюю наивность. Стало стыдно не перед Юлием – перед собой. Боже мой, как это было глупо! И потому – пошло. Захотелось по примеру ромашек укрыться от света.

Но Юлий не торопил событий; он стоял и ждал.

Вот это было в нем новое: умение держать паузу. Сразу верилось: этот никогда больше не будет суетиться. И сделает то, что надо.

- Ты позволишь мне быть матерью для моей дочери Даши?

- Как же я могу забрать у тебя это право? Об этом не надо просить. Хочешь быть матерью – будь ею.

- Хорошо. Тогда скажи, чего хочешь ты.

- Многого. Я и сам не знаю, чем закончится наш разговор, но я намерен прояснить наши отношения. До конца. До первоосновы. До тины болотной. Извини за откровенность. По-другому сегодня со взрослыми и близкими мне людьми я не умею, не хочу и не буду.

- Нам надо поговорить, согласна. Я внимательно слушаю тебя.

- Для начала я хочу знать, кого ты считаешь хорошим человеком?

- Что за вопрос? Каждый по-своему хорош. И по-своему плох. Не бывает же однозначно плохих или хороших. Это только в сказках для Дашки есть славные герои и черные злодеи. А в жизни все по-другому. Неизвестно, как все обернется.

- Не скажи. В жизни все именно так, как в сказке. Или как на войне. Люди делятся на хороших и плохих. И в этом вся загадка жизни. Тут не надо вилять хвостом. Тут надо принять чью-то сторону.

- Не могу понять, к чему ты клонишь. Ты хочешь объяснить мне, почему я плохой человек? Давай, валяй. Аргументов в твоём распоряжении в избытке. Если собьёшься, я помогу. Память у меня хорошая.

- Сколько иронии! Тут до праведного гнева рукой подать. В сказку не веришь, но предлагаешь, чтобы битый небитого на собственном хребте подвез до ближайших райских кущ.

- Чего ты хочешь? Не мучай меня!

- Я хочу, чтобы ты объяснила мне, почему ты считаешь моего деда Людоедом?

- Юлий, я прошу тебя: при чем здесь это? Это древняя тема, седая история. Это не про нас.

- Нет, это про нас. Здесь есть связь. Ответь, пожалуйста.

- Зачем так издалека? Прямо как робкий мальчишка или занудный старик. Хочешь спросить про полковника Василия...

- Мне наплевать на твоего Василия. Он чином не вышел. Мелкота. Куда более меня интересует мой дед.

- Хорошо, я отвечу. Твой дед получил звание заслуженного Людоеда потому, что загубил тысячи, десятки тысяч душ ради этой чертовой победы.

- Этому тебя праведница-мама научила?

- Да, мама. Именно в ее романе выведен образ Людоеда. И не мама виновата в том, что по кровавым повадкам узнали твоего деда. Видимо, похож. Отец мамы, как тебе хорошо известно, десять лет протрубил в лагерях за мифическую измену родине. А потом был расстрелян. У нас дома висит только портрет твоего деда; а где же мой дед? Чем он хуже? Ах, он трусил, попал в окружение в Брянских лесах и болотах? Так он попал в окружение и испытал все прелести ада по милости Людоеда, Великого и Ужасного Маршала. Твоего деда. Где доказательства, что мой дед переметнулся на сторону врага? Показания свидетелей, впоследствии также расстрелянных? Не смешите меня. И не судите других, если не призваны. Ты хочешь услышать от меня спасибо Маршалу, спасшему страну от коричневой чумы? Но Людоедов не благодарят.

- Да, мне хорошо известна эта темная история с твоим толерантным дедушкой. Любите вы наводить тень на плетень: то ли он предал свою страну, то ли начальство его предало... Скажи, а ты считаешь свою маму талантливой писательницей?

- Нет, талантом она обделена.

- Рад это слышать. Таланта у нее нет, но книжка про Людоеда хорошая. Я правильно понял?

- Она обделена талантом, но не душой! Она хороший человек! Она всем помогает и никому не сделала зла. Тебе это тоже отлично известно. И пишет она только о хорошем, добром и вечном.

- Бездарный писатель – это гораздо хуже, чем хороший полководец. Быть бездарным писателем – значит врать на каждом шагу, себе и другим. Называть черное – белым, мелкое – великим, высокое – низким. Быть бездарным писателем – это преступление против человечества, преступление, на которое не распространяется срок давности. Бремя власти и ответственности согнуло

моего деда и свело его в могилу. А вот твоя бодрая маман все прыгает и стрекочет, как сорока, она не понимает, что писатель – это ответственность, великий писатель – великая ответственность. Бездарный писатель – это плохой человек, а плохой человек не может писать о хорошем. Он это хорошее просто в упор не замечает. Не понимаю, от кого она отрешивается своими иконами? У меня такое впечатление, что от себя самой. Полагаю, в этом месте тебе следовало бы обидеться за маму.

- Я не позволю плохо говорить о своей матери! Твоя ирония также неуместна!

- Это правильно. Совершенно справедливо. Я не уважаю твою мать, что и было гарантией стабильности наших семейных отношений; но если бы ты отказалась от нее, я перестал бы уважать тебя. Я вовсе не питаю иллюзий по поводу своего деда, он был невыносим своей категоричностью; но я перестану уважать себя, если позволю в него плевать.

- Вот и оставим мою мать в покое.

- Нет, не оставим. Почему ты боишься быть справедливой к своей матери?

- А почему ты боишься быть справедливым к своему деду?

- Неправда. Я к нему справедлив. До несправедливости справедлив. Ты хочешь сказать, что Павел Илларионович был бесчувственным карьеристом? Если бы это было так, то ты права. В этом случае он Людоед и плохой человек, который прятался за спины других. А если у него просто не было иного выхода? Тогда жертвы, к сожалению, входят в понятие цена победы. Он сознательно брал грех на душу. Был патриотом. Хотел, как лучше. В таком случае он был не таким уж плохим человеком. По крайней мере, не Людоедом. Поедом он ел только себя. И его можно понять. И простить, даже если он был виноват. Даже если без вины виноват. А вот почему ты боишься быть справедливой к своей матери? Уж не себя ли ты боишься?

- Хорошо. Он не Людоед. Я погорячилась. Ты этого от меня хочешь? Пожалуйста. И это все, что мешает нам понять друг друга?

- Нет, не все. И хочу я от тебя не этого. Я хочу, чтобы твой дед, если он понимает, о чем я говорю, пожал руку моему деду.

- Ты с ума сошел! Да они давно покойники. И мир их праху. Зачем тревожить тени предков?

- Но ты ведь жива. И я жив. И Дашка. Поэтому наберись мужества – пойди и повесь портрет своего деда. Если он этого достоин. Рядом с Маршалом. Или напротив. Как посчитаешь нужным. В противном случае тебе придется сказать Дашке всю правду. Рано или поздно. Или об этом позабочусь я.

- Я не знаю. Я не знаю, чего достоин мой дед. И не тебе судить, хороший он был человек или плохой. Я только знаю, что моя мама любила и продолжает любить его. И я знаю, что любовь – это чувство священное.

- Любовь к папе дает основание твоей маме называть честного Маршала Советского Союза Людоедом?

- Я не знаю! Что ты все выворачиваешь корнями к небу! Я не вправе судить родителей и вообще своих предков. Они жили, как могли. Как получалось. Не судите, да не судимы будете.

- Очень удобная позиция. Я не сужу, и вы меня, будьте так любезны, не судите. Рука руку моет. Это всемирный заговор плутов и слабаков. Библейского масштаба покрывательство.

Юлий Илларионович вышагивал по комнате, словно готовясь не к завершению разговора, а к решающему штурму. Юлия испытала острый приступ ненависти, глядя на его слегка сутуловатую спину, уверенную поступь. Действительно, в повадке было что-то волчье. Наводящее страх. Она ни секунды не сомневалась: Людоед в португальской вот так же, от стены к стене, мерил шагами свой теплый прокуренный кабинет, уже хладнокровно приняв решение бросить беззащитных бойцов в Брянских топях.

В этот момент Василий показался Юле непонятым, безвинно пострадавшим героем, достоинства которого не в состоянии были оценить узко мыслящие, и ей стало неловко за свое минутное умопомрачение, которое показалось ей прозрением.

Ей стало неловко за то, что она так легко предала Василия.

4

Юлий тем временем настойчиво что-то предлагал:

- А теперь ответь мне: что отличает хорошего человека от плохого?

- На этот вопрос невозможно ответить. Ты прекрасно знаешь это, поэтому задаешь этот дурацкий вопрос.

- Напротив, на этот вопрос ответить очень легко. Только вот жить с ответом тяжело.

- Вот ты и ответь, раз такой умный.

- Изволь. Хорошего человека от плохого отличает наличие ума.

- И все?

- И все. Хороший человек и глупость – две вещи несовместные.

- Юлик, я считала тебя умнее! При чем здесь ум? Хороший – умный, плохой – дурак? Ни в жизнь не соглашусь. В последнюю очередь ум делает нас лучше или хуже.

- А в первую очередь?

- Душа. Воспитание, благие намерения! Вера, наконец. Надежда. Не ум! При чем здесь какой-то ум? Разве мало на свете умных негодяев?

- Это ты из глупых романов своей матушки набралась? Чувства мы испытываем приблизительно одни и те же; и верим, и надеемся, как по команде; под венцом пускаем светлую слезу, над гробом – черную; мы даже поступки совершаем похожие. Но одни из нас достойны называться хорошими людьми, а другие – нет. Способность понимать – вот критерий. А умный негодяй – это все равно, что живой труп. Оксюморон. Такого в природе не бывает. Увидишь – покажи мне. Это позэкзотичнее йети будет. Станешь автором антропологической сенсации в науке.

- Мы ничего не знаем о людях. Ничего! Мы – тайна, даже для самих себя! Почему вдруг любовь уходит? А потом ты жалеешь об этом. А потом не знаешь, стоит ли жалеть? Почему? Что такое предательство? Неизвестно. Мы не знаем, почему бывает так, что кто-то становится маньяком, а кто-то –

героем. А маньяки и герои могут быть из одной семьи, рожденными от одних и тех же родителей. Их одинаково воспитывают. Как все это объяснить? Нет, мир и человек необъяснимы. Я не верю, что они объяснимы.

- Про героев и маньяков из одной семьи – это ты о себе и своем брате?

- Перестать сыпать соль на рану. Или ты считаешь глумление над семейной трагедией привилегией умного человека? По-моему, это непорядочно.

- Если ты не веришь сама себе, если ты боишься человека, если ты не понимаешь, как надо воспитывать, не веришь в воспитание, зачем ты рожала Дашку? Зачем ты швырнула ее в этот мрак и ужас под названием мир божий? Как ты собираешься ее воспитывать? Как бог на душу положит? Вооружившись верой в лучшее? Надеясь на чудо?

- Я собираюсь ее любить!

- А разве твоя мать не любила сыночка-подонка?

- Перестать! По-твоему, только умные имеют право рожать и воспитывать детей?

- По-моему – да. Хорошие. Иначе постоянно будете воспроизводить маньяков, трусов, предателей и бездарей. От большой, но чистой любви! Как же вы меня, сердобольные, достали! Все у вас во имя любви, все преступления во имя веры! Никак не можете усвоить, что именно слепая, глупая любовь делает отцов и детей чужими. Любовь идиотов – мать ненависти.

- Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты не прав...

- Вот-вот, умеете только цитировать, прикрываться фразами, не вникая в их смысл. Память хорошая, а ума нет. Для вас история культуры – пустой цитатник. Нет, не дождетесь, судьбоносных решений во гневе не принимаем. Но ненавидим с чувством, с толком, с расстановкой.

- Цитата не точная.

- Зато в ней есть смысл. Попробуй вдуматься.

- Ты хочешь сказать, что ты не отдашь мне Дашку?! Так и скажи. А то все ходишь вокруг да около. Правдолюбец. Гуманист!

Юлий вновь взял паузу. Он долго ходил по комнате, держа руки за спиной, и думал о чем-то своем. Он выпрямился и подтянулся, в осанке появилось больше стойкости и несгибаемости, но, как ни странно, теперь он больше напоминал заключенного, нежели лютого Маршала.

И Юлия вдруг чуткими фибрами сделала вывод: чем умнее и сильнее мужчина, тем более уязвимыми у него становятся слабые места. А уж ахиллесова зона мужа ей была известна давно: ум и порядочность – то, что делает его сильным.

И Юлия успокоилась. Пауза продолжалась, но теперь ее контролировала неверная жена. Она же и решила, когда продолжать прерванный разговор.

- Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

- Скорее всего, ты лучше это помнишь. Скажи мне честно: ты меня любишь?

- Не знаю...

- Ответ убедительный. Браво.

- А ты меня любишь?
- Честно?
- Не знаю...
- Ты боишься не только честных вопросов, но и честных ответов.
- Я боюсь жизни без веры. И без любви. Не разрушай мою жизнь.
- Ты боишься посмотреть правде в глаза. И прикрываешься пустыми словами. Цитируешь маму.

- Юлик, не забывай: я все еще живая. И мне больно.
- Ладно. Из уважения к тебе, к нашему прошлому и моему будущему, отвечу честно. Я не люблю тебя, нет; но я все еще не утратил желания тебя любить, хотя ты меньше всего на свете достойна любви. И я не прощу тебе предательства. Вряд ли ты поймешь, но я считаю так: если я прощу предательство, то ты должна быть первая, кто перестанет меня уважать. Простить предательство – это в стиле а la Василий закрыть глаза на проблему, сделать вид, что все само собой рассосалось. Было – и сплыло. Все само собой уладилось и устроилось. Безо всяких душевных затрат. Это малодушие, чтобы не сказать бездушие или равнодушие. Простить можно временную глупость. Ослепление. Вспышку страстей, если угодно. Да и то лишь в том случае, если провинившийся хоть немного был жертвой. Когда человек поумнел, стал лучше, загладил вину – проехали и забыли. Хотя и тут сердцу не прикажешь. Может, проехали, а может, и заноза на всю жизнь. Умом любовь не лечится, хотя без ума погибает. Что касается тебя, то ты мало похожа на жертву обстоятельств; скорее, ты жертва своего эгоизма. Вот была, была милой, белой и пушистой, а потом вдруг перестала скрывать нутро. Была добрым зайчиком, да обернулась злым волком. А кто ты на самом деле? Я испытываю к твоей двойственной сущности противоречивые чувства, извини за выражение. Но сейчас, на этом этапе, я вынужден желать тебе, матери своей дочери, всего наилучшего; я одновременно презираю тебя и злюсь на тебя. Возможно, так любовь к тебе покидает мое сердце. Не знаю. Ты думаешь, я все понимаю? Да я запутался не меньше твоего. Но я знаю, где выход и как его искать. Я не слепой – просто вокруг меня сейчас темнота. И я иду в ту сторону, где рано или поздно появится свет в конце тоннеля. А вот ты слепа, как темень болотная... Ты не столько думаешь, сколько выгораживаешь себя. Думаешь только о себе. Швыряешься цветами. То есть, опять же, – не думаешь. Дашка не только твоя дочь, но и моя. А ты об этом ничего еще не сказала. Сейчас, на этом этапе, ты, именно ты, хранительница очага, делаешь нас всех чужими. Кроме всеразрушающей любви и страха перед жизнью у тебя ничего за душой. Таких добрых самаритян, как ты, надо хорошенько время от времени тыкать рыжей мордой в стену. Или в линолеум. Чтобы устраивать сотрясение мозга, если он в вашем сером веществе присутствует как таковой.

В словах Юлия звучали не только обида со слабостью, но и отчаяние, разбавленное силой. При желании, Юлия могла бы и обидеться.

Но она из чувства самосохранения поддалась иному, более сложному переживанию.

- Ты решил меня добить?

- Я решил выяснить с тобой отношения. Люди должны строить отношения, холить их и лелеять. Время от времени – капитальный ремонт: выяснение отношений. Мы жили с тобой, но на чем держался наш союз, было неизвестно. Мы просто жили-были. Это так унижительно: любить, достойных презрения, неизвестно, за что – прощать, хотеть как лучше, не давая себе труд подумать при этом. Как приятно добрым быть. Белым и пушистым. Сам на лавку, хвост под лавку. Тьфу на это сказочное бытие! Как только начинаешь понимать, включаются совсем иные, умные чувства. Человек в меру своих возможностей становится хорошим. И это закон жизни.

- Я ничего не понимаю, я запуталась. Просто скажи мне: как мы будем жить?

- Лично я собираюсь жить, как хороший человек. Вот ты считаешь себя хорошим человеком?

- Я не знаю... Я ни в чем не уверена. Как можно сказать о себе такое – я есть хороший человек? Это самоуверенность. Гордыня. Грех.

- Ладно. В таком случае назови вещи своими именами – скажи, что ты плохой человек. Стерва.

- Я не могу сказать о себе такое. Я не хуже, чем все остальные. И вообще... Человеку нельзя говорить, что он плохой. Нельзя ставить на нем крест.

- Назвать плохого плохим – самое богоугодное на свете дело. А крест на нем ставлю не я – ставит он сам. Или его мама.

- Какое тебе дело до того, хорошая я или плохая? Ты мне – кто? Судья? Муж?

- Я? Можно сказать, биологический отец твоей дочери. А по сути, просто прохожий. Я тебе как-то приснился по весне. А потом тебе приснился Василий. Имей в виду: плохая ты мне не нужна. Без раскаяния, то есть, без осознания своей вины, ко мне не подходи. При этом молитвы не в счет. Не торопись замаливать грехи, а то успеешь. Оставь это богоспасаемое занятие в утешение своей матери, бездарной, но такой добросердечной. Вот ей точно все простится. Ибо она не ведала, что творила... Как с гуся вода. Ну, что за люди эти пернатые! Скажи, почему она называла тебя «моя Жемчужина Лотоса»?

- Потому, что любила меня. Лотос был ее любимым цветком. Ничего inferнального, как видишь.

- Знаешь, что такое эффект лотоса в вашем случае? Это когда к человеку не пристает ничто человеческое: ни хорошее, ни плохое. Как с гуся вода. Добро и зло приемли равнодушно. Почему к вашей семейке не липнет ничто хорошее? Да потому, что вы жуткие эгоисты. Вы равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя. Вот почему на вашем семейном гербе красуется лотос. Не любовь, верность, патриотизм, о, нет. Лотос. Вещь в себе. Чистая красота. Не судите, да не судимы будете. Но вы учли одного: если не пристает добро – липнет зло. Равнодушие – форма зла. Вот почему вы маскируетесь под страстотерпцев-праведников, для вас иконы, вера, любовь, милосердие, дети, родители – всего лишь самый эффективный камуфляж. Вы растете из болотной грязи, а делаете вид, что непорочны, как перл, как слезинка Дашки. Вот кто ты на самом деле – Лотос. Твоя мать была права. Понимаешь, к чему я?

- Нет.

- Маршал правильно сделал, что расстрелял твоего деда. Такое, лотосиное отношение к жизни надо изводить на корню, - вкладываясь в каждое слово, отчеканил Юлий.

И это прозвучало, как приговор, обжалованию не подлежащий.

- Ладно. Ты меня ненавидишь. Я тебе изменила, я плохая... Но как же Дашка, мой Цветок? Моя Жемчужина? Ее тоже – под корень?

- Дура ты. Для тебя все в этой жизни материал. И я. И Дашка. И Василий. И твоя мать. И дед. Все, все брошено на священный алтарь эгоизма.

- У моей дочери должна быть любящая мать! И любящий отец!

- Разумно любящие родители, ты хотела сказать?

- Я не знаю... Просто любящие. Разве так не бывает?

- Не бывает. Просто любовь – это ни к чему не обязывающее равнодушие. Человек человеку – лотос. Вот ваша болотная философия.

- Так ты хочешь сказать, что не отдашь мне Дашку?! Это я тебе ее не отдам. Ты сам сказал, что запутался. Так вот я все распутая и расставляю по своим местам.

Теперь Юлия прекрасно знала, что она будет делать. С ее души, как с гуся вода, как утренние росинки с лотоса, сбегали последние капли иллюзий. И она предстала миру свежей, омытой, готовой к битве с чарами ума.

И Юлий знал, что следует ожидать в ближайшем будущем. Он тоже расстался с иллюзиями, приобретя взамен горькое знание. Лотос, болотный сорняк, произрастал в потемках души. И бороться с ним было делом безнадежным. Хотя и необходимым.

Глаза у Юлии загорелись бело-холодным блеском, а у Юлиа в ответ сжалось сердце.

«Не дав слова, держись, а дав слово, крепись», - подумал он.

И в ответ ему послышался голос дочери (круглые глаза – две серые жемчужины, как он раньше этого не замечал! – честно распахнуты, можно не сомневаться):

- Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим.

8-14 марта 2012

ВЕЩЬ

Рассказ-то рассказ...

Венок эпитафий

1. Как ныне собирается вещий Олег
2. Сознание чем дальше, тем больше определяет бытие
3. Если ты такой умный – почему такой бедный? (Из набора дьявольских претензий – Богу)
4. Ты – часть той силы...
5. Олегу – Олегово...

- А с чего ты взял, что я – бедный? Что такое бедность? – ответил Олег.

- Это как раз просто объяснить. Бедный – это когда нет денег, всеобщего эквивалента. Умные все с деньгами. Где ум – там и деньги. Вот я и спрашиваю...

- Это миф. «Где ум – там и деньги» – это классика мифологии.

- Хорошо. По-твоему получается, где ум – там нет денег и быть не может? – спросил вертлявый Плэйбой.

- Не совсем так. Ум способен произвести бесценное. У тебя денег не хватит, чтобы купить то, что рождено умом. Ум связан с жизнью, а деньги с желудком. Вот я и говорю: с чего ты взял, что я – бедный?

- Да бедный ты, бедный, не надо прикидываться. Ум – это ветошь, едва прикрывающая срам. Или умные сраму не имут?

- Имут, имут, еще как имут...

- Я – богатый, ты – бедный. О чем диспут? Мне есть чем прикрыть срам, как человеку приличному...

- Если все мерить деньгами, то все верно: ты – богатый, я – бедный. Но кто тебе сказал, что все на свете покупается?

- Разве об этом кто-то должен говорить? Разве недостаточно просто увидеть это, если у тебя есть глаза?

- Не все то, что видят глаза, на самом деле является таковым. Вот я умный, а ты дурак. С точки зрения дурака – все на свете меряется деньгами. С точки зрения умного – не все то золото, что блестит, далеко не все можно оценить количеством денег. Вот ум – за деньги не купишь.

- А зачем мне такой ум, который за деньги не купишь? А? Зачем? Он не связан с жизнью, он ничего не стоит, от него ни жарко, ни холодно.

- Это верно в отношении таких, как ты.

- А таких, как ты, на свете больше нет. Ты есть – но тебя нет. Ты разошелся с жизнью. Скажи, что не так.

- Так.

- Ну, вот и все. Вопрос закрыт. Жизнь любит, когда точку ставят вовремя. Зачем нам напрягать извилины не в ту степь? Говори халва, халва – во рту слаще не станет.

- Не станет.

- Почему же тогда ты умный – а я дурак?
- Потому что только дураку могло придти в голову такое: если ты такой умный – почему такой бедный?
- Не убеждает. Это раз. Во-вторых, я тебе не завидую, а вот ты мне – это еще вопрос. Только вот не надо мне про белую зависть...
- Белую зависть выдумали лицемеры. Тут ты прав. Я тебе завидую легко, не по-черному, но мне тебя хочется убить.
- А вот в это я верю.
- Но я тебя не убью.
- Не знаю, не знаю...
- Плэйбой, дело ведь не в том, что ты мне не завидуешь; дело в том, что ты окружаешь себя вещами, которые сделаны с умом. Пространство вокруг тебя загромождено умными вещами. Дело в том, что тебе никак не обойтись без ума, который ты так презираешь. Машиной, на которой ты едешь, способен управлять каждый дурак; но сделать ее дурак не способен. На твоём журнальном столике небрежно валяются «Мастер и Маргарита» рядом с «Евангелием», не самые глупые книги, хотя далеко не самые умные. Книги ты купил; но Булгакова с Иоанном купить никому не удалось. Ты любишь поесть; но кто вылечил твой рак желудка? Деньги? Нет, умные люди в белых халатах. Ты берешь в руки мобильный телефон – и, я вижу это по твоим глазам, ты испытываешь комплекс неполноценности перед теми, кто призван был создать это маленькое чудо. Ты не столько покупаешь умные вещи, сколько мстишь умным, легко переплачивая. Ты мстишь закону жизни.
- Возможно. Только не я завел такой порядок вещей. Какие ко мне претензии? Если вы такие умные, почему не можете обойтись без меня, дурака?
- Да я его завел, я!
- Ты, Господь Бог? Дай-ка взглядеться. Ба! Ваше Сиятельство! Извините-с, не признал-с!
- Да, я. И ты, Вертлявый, был предусмотрен в разработанном мною порядке вещей как оборотная сторона. Теневая. Ты есть часть порядка и его функция. Обратная сторона вещей также имеет отношение к сути вещей...
- Тогда что не так?
- Да все так. Только...
- Только – что?
- Да разве тебе, суетливому Бесу, объяснишь.
- А ты убей меня, Отче. Возьми – и прихлопни. Накажи, как Бог черепаху. Ведь все в твоих силах.
- В моих силах было создать сей мир; а исправить его – уже не в моих силах. Прихлопнешь тебя – развалишь все. Ибо убьешь принцип.
- Да неужели! Может ли Бог создать камень, который сам не поднимет. Помнишь? Это уж я постарался. Мои интеллектуальные штучки. Выходит, можешь?
- Я все могу, как известно.
- Все – да не все.
- Дай только срок, то ли ты еще запоешь...

- А что нам срок? Что нам время? Мы с тобой вне времени.

- Ты да я, да мы с тобой... Я вне Времени, я – Порядок Порядков. А ты всегда ко времени и к месту, не заносись. Люди по слабости своей, судя по себе, создали миф о тебе как о почти равном Богу. Но ты не Творец, ты путаешься под ногами как неизбежное Зло, не более того. Кто ты, а кто я? Знай свой шесток, Бестия неразумная. И потом... Время интересует меня исключительно как способ раскрытия потенциала, а не как череда дней или длина сроков.

- Потенциала – чего?

- Потенциала Законов, чего же еще. Мир вокруг нас – это законы вокруг нас, познанные или еще непознанные, не суть. Сознание отделяет от общества, от людей, зато приближает к законам, через которые связь с людьми становится нерушимой.

- Ты говоришь, как философ.

- Это философам приходится говорить как я, потому что они ближе всех остальных познали природу законов. Тот, кто приблизился к природе законов, говорит, как я. Философский дискурс всего лишь отражение миропорядка. Философы – люди подневольные. «Так говорил Заратустра». Смех на палке. Так, по сути, продиктовал я Заратустре, своему нерадивому ученику.

- Меня тоже можно считать твоим учеником.

- К сожалению, можно. Неважным учеником, прямо скажем. Таким станет жалкий Иуда в окружении Христа. Сознание – не твоя орбита и не твоя стезя; связь с людьми через чувство – вот твоя епархия, Вертлявый. Ты нащупал слабое звено в великом деле познания; впрочем, я это предвидел. Но одно дело предвидеть, а другое – предотвратить. Я не верю в религию, я делаю ставку на разум.

- Ты коварнее, чем я предполагал. Я думал, что ты никогда не догадаешься, что религия – мое изобретение. Я рассчитывал, что оно поставит тебя на колени. Я хотел сделать из тебя недосягаемого идола, даже изображение твое велел считать грехом и ввел на него запрет. Я хотел ослепить людей светом раз и навсегда данной истины, как бы вечной, и тем самым вывести тебя из игры – прикрываясь твоим именем, конечно. Гениальный план, согласишься?

- Ты жалок, Дьявол. Тебе не дано мыслить великими категориями. Ты гениален по мелочам. Ты просчитался. Законы мироздания исключают саму номинацию Властелин мира, на которую ты претендуешь, прикрываясь моим именем. Вот почему, создав Законы, я вынужден был самоустраниться. Тем самым я дал пожизненную гарантию, что мое место не будет занято тобой. За неимением самого места.

- Но об этом мало кто подозревает. Люди даже думать боятся в эту сторону. Именем Всемогущего, как говорится...

- Я сделал так, что рано или поздно сведущие люди появятся. И на твоих чертовых кострах, которые ты столетиями разводишь для еретиков, умудряясь грязными руками чистых душ подносить хворост охапками, рано или поздно спалят тебя самого. И я с удовольствием приму эту жертву. И это будем

истинным днем моего рождения – ибо в тот день я исчезну раз и навсегда. Оставив лишь безликие Законы как добрую память по себе.

- Да, я тебе в подметки не гожусь по части козней... Согласен. Впрочем, надеюсь, нас никто не слышит. Это не публичная капитуляция. Но ведь Законы мироздания обрекают людей, которым законы, собственно, и интересны, на муки адские. Твои законы гуманны лишь по результату; а вот как процесс поступательного движения – они призваны убить веру в гуманизм. Путь к свету – через костры. И не я это придумал, заметь (хотя идея блестяща, ах, блестяща! с радостью отдал бы за нее душу!). Путь к вечности – через обесмысливание, и даже лишение жизни! Ах, как здорово!

- Кто бы говорил о душе... Только мелкие души так лицемерно воспевают великодушные. Законы пишутся кровью, и это не мой закон. Законы, не написанные кровью, – это не законы. Смысл каждого Закона – это защита от Дьявола. Зачем еще нужны законы? И потом... Тебе известен другой путь к совершенству? Моя версия совершенства не без изъянов (и к счастью, к счастью, ибо сами законы писаны под давлением несовершенства); но есть ли альтернативная версия? Вот в чем вопрос.

- Милосердие, к примеру... Нет?

- О, боги! Нет! Трижды нет. Никак нет. Это все твои штучки, Мефи.

- Не надо так вот, с иронией. Я, кстати, отчего-то верю в милосердие.

- Милосердие – это закон Мефи, ибо это не закон, а благое пожелание, которое хочется считать важнее закона. Милосердие – это идеальный способ разрушить мир. Нет, не годится.

- Ну, нет так нет. Но мне пока верят.

- Гуманность законов в том, что они бесчеловечны, то есть, не реагируют на индекс страдания. Мне нелегко далось это решение. Собственно, это решение было принято потому, что иного не существует. Так и рождаются законы...

- Да ты, я погляжу, прогнозировал витиеватое развитие гуманизма.

- А как же? Непременно. Как последней стадии развития бессознательного отношения к жизни. Только я полагал так: нет гуманизма в готовом виде (разве что только из рук Дьявола); есть принципиальные условия для его возникновения.

- И все таки я скажу тебе так...

- О, какая божественная интонация. Кстати, ты замечаешь, что ты копируешь мои интонации и сам строишь мысли? Как Платон, Конфуций. Как все они. И все потому, что ты в принципе не способен создать ничего своего. Так-то, Мефи.

- Ладно, пусть так, Боже. Но я скажу. Ничего личного, без обид. Мир несовершенен, признай это. Просто признай.

- К счастью, это так.

- Ха! Прикидываешься весельчаком! Парадоксалистом! Как это мне знакомо. Делать хорошую мину при плохой игре...

- Ты ошибаешься. Просто спотыкаешься на ровном месте. Иногда хорошая мина означает уверенность в своей правоте. Более ничего.

- Ладно. Но ты признаешь – он несовершенен?

- И тебе станет легче?
- Да, значительно легче.
- Признаю. Мир несовершенен в отношении идеалов, то есть, совершенных образцов, которые сумел породить наш несовершенный мир.
- Наш?
- Наш. Ты да я возможны только в этом лучшем из миров.
- Не хочешь ли ты сказать, о, Начало Начал, что если убрать тебя, то и меня, Твоего Продолжения, не станет?
- Я думал, эта банальная истина для тебя не сюрприз. Ты – законнорожденное следствие все тех же Законов. Можно сказать, издержки производства. Которые, следует это признать, стали причиной возникновения многих процессов, вливающих в русло совершенства. Да, это наш мир.
- Это комплимент, Мэтр?
- Нет, клянусь Сатаной, ты глуп. Я – тот, чье имя Некомплиментарное Отношение. Я не умею творить комплименты.
- Тогда я скажу так: это лучший комплимент, который я слышал за свою недолгую пока вечную жизнь. До свидания, я надеюсь, Босс?
- Непременно до свидания. Я надеюсь, мне удастся увидеть твою весьма кислую физиономию, хотя бы и в очень отдаленном будущем.
- Мне ничего не говорить? Ты хочешь, чтобы последнее Слово осталось за Тобой?
- Хочешь кольнуть меня убийственной воспитанностью? Неважно, кто произнес последнее слово. Ведь *последнее* привязано к человеческому времени. К минутам, секундам. А Времени нет. Последним всегда остается Истинное слово. Хорошо смеется тот, у кого есть веские основания смеяться.
- Воистину так, Царь Ты Наш Небесный.
- Пока, Мефи. Не журись. Кстати, можно я буду звать тебя просто, без церемоний – Миф?
- ???
- Что не так?
- Зови меня, пожалуйста, наоборот.
- Фима?
- Нет, что за логика. Зови меня – Немиф.
- Но это невозможно. Немиф – это мое девятое имя.
- О, Боже!..
- О, Боже!.. – воскликнул Олег, проснувшись вечером. – Что все это значит?
- У него было такое ощущение, что он неспроста задал свой дурацкий вопрос; у него было ощущение, что он задал свой вопрос Кому-то. Вот почему он совершенно не удивился, когда расслышал ответ:
- Это значит, что ты почти сошел с ума. Так весело сознавать, что ты немного не в себе, не так ли?
- Кто ты?
- Сойти с ума – значит, прислушаться к голосу другого. Величаво раздвоиться. Я и есть тот самый другой, вечный спутник нормального.

- Как тебя зовут?
- Дурацкий вопрос, ты не находишь? Если тебя зовут Олег, то меня тоже зовут Олег. Только я – Другой Олег.
- Вертлявый?
- Как тебе будет угодно. Однако я попросил бы без оскорблений.
- Но ты точно вертлявый, тебя голыми руками не возьмешь.
- А с какой стати меня позволено лапать голыми руками каждому встречному, чтобы не сказать – поперечному?
- Я не то хотел сказать. Я другое хотел сказать...
- Говори свое другое.
- Я хотел сказать... Вот видишь, ты уже занял еще секунду назад пустовавшую Позицию силы, ты начинаешь диктовать мне свои условия. Вот что я имел в виду, когда сказал *тебя голыми руками не возьмешь*: ты скользкий, ускользающий, вертлявый. Ты не такой простой. Амбивалентный, извини за выражение. Нацеленный на победу любой ценой.
- Да, я такой. И еще я кусаюсь. И родинка у меня над бровью, точь-в-точь как у тебя.
- Можно, я буду звать тебя Миф?
- А, ты о нашем сне... Не забывай, я тоже видел этот сон.
- Вот как... И кем же ты был в моем сне?
- Я был тобой, ты был мной, и Мы смотрели Сон.
- Может, мы и сейчас спим?
- Э, нет, приятель, не питай иллюзий. Мы бодрствуем. Сон долой. Жизнь и сон – разные вещи. Скоро мы пойдем на улицу. К людям.
- И какой у нас век за окном?
- Ты о чем-то календарном? Это не суть. Век технологических и прочих революций. Информационный век, вот какой.
- Почему-то страшно выходить на улицу.
- Да не волнуйся ты, сумасшедшие все. Просто в обществе принято прикидываться нормальным. Таковы правила игры. Но сны видят все, это я тебе авторитетно заявляю.
- Спасибо, Вертлявый, ты меня утешил.
- Все-таки Вертлявый... Ну, что ж, это, в конце концов, вопрос самоуважения того, кто называет вещи своими именами.
- Да, Вертлявый, спасибо, Вертлявый.
- Окей, окей. Благодарность с благодарностью принята.
- У меня к тебе просьба.
- Валяй.
- Не будь мне старшим братом, пожалуйста. Замещающим мне Папу. Меня это немного напрягает.
- Ладно. Что еще?
- Вот ты опять разговариваешь, как старший брат. Этого не надо.
- Ладно. Проехали. Что еще?
- У нас деньги есть?
- Нет. Откуда они у нас? С твоим-то отношением к деньгам.

- Ну, да. Это я так, на всякий случай спросил.
- Денег нет. И это закономерный итог всех твоих философий.
- Я вот что... После сна своего... нашего... я решил... пересмотреть свое отношение к деньгам. Это современно, как ты думаешь, Вертлявый?
- Вот с этого момента – *решил пересмотреть свое отношение к деньгам* – пожалуйста, поподробнее.
- Да что подробнее... Сам знаешь: я устал жить без денег.
- Не в деньгах счастье, если я правильно помню.
- Не в деньгах, я знаю. Просто я устал. Понимаешь?
- Ты устал сражаться за будущее?
- Пожалуй, именно так.
- Ты решил пересмотреть свое отношение к будущему?
- Ага.
- Ты хочешь просто пожить?
- Боюсь, что – да.
- Не стыдно?
- Кажется, нет.
- Кошмар!
- В чем кошмар?
- Кошмарно устроены люди по образу и подобию. Я уже *про себя* сдался, ты понимаешь? Я, Вертлявый, плоть от плоти твоей, уже перестал верить в свои хитрые перспективы. Ты меня убедил в том, что силы в тебе – на всех хватит, да еще останется. И что ты сейчас делаешь?
- Я сдаюсь.
- Э, нет, так не пойдет. Ставки в игре слишком высоки. Нельзя вот так, спросонья, менять правила игры. Слишком много поколений вовлечено в наш сон. Слишком многие перевернутся в гробах. Земля просто сместится с оси от такого тарарама. Предать будущее – это я еще способен понять, это от элементарной слабости, особенно осенью или под вечер; но предать прошлое – этого я понять не в силах. В прошлом ты всегда играл первую скрипку. Так зачем же столь бездарно отречься от того, что делало тебя номером Первым? Создало тебе репутацию Законодателя? Во имя чего?
- Я не то чтобы отрекаюсь... Нет, все правильно: я – отрекаюсь. Бог я, в конце концов, или нет? Я – Хозяин своему Слову: захотел – дал Слово, а хочу – возьму его назад. Никто мне не указ.
- Боюсь, ты не такой всемогущий, как тебе кажется. Никто тебе твоего Слова не вернет.
- Почему, позвольте спросить?
- Потому что оно верное. Потому что за ним стоит Закон, а не твоя мифическая усталость. Потому что жизнь только-только стала доказывать безмерную правоту Закона, а ты...
- Ты опять мне за брата?
- Э, нет, Олег. До этого момента я был твоим вторым я, а теперь ты будешь моим alter ego. Я буду – Первым, а ты – Вторым. Разницу улавливаешь?
- Право, не знаю, что сказать...

- Значит, улавливаешь, кокетка ты такая. Дело сделано. Теперь ты – сломанный умалишенный. Усек? Структура личности поменялась. Ты был Олегом Первым, я – Олегом Вторым (Вертявым). Теперь я, Второй, формально стану Первым, а ты, Первый, фактически станешь Третьим (то есть, Вторым). Что поменялось? Мы стремительно покатались вниз. Бога нет. Все позволено. Вперед, к начальному Взрыву.

- Займи мое место, а? Как друга прошу, Вертявый. Стань Первым.

- Я тебе не друг. Я тебе Оппозиция, условие естественного отбора. Я – Представитель Закона. Если твое место займу я – то История, прошлая и будущая, станет совершенно иной. Движущие силы Истории станут другими. А где их взять, эти силы? Других сил нет, умник. Либо ты – либо никак.

- Ты же претендовал на место Властелина мира; вот это место, бери его. Только оставь меня в покое.

- В покое? Дался вам этот разнесчастный покой. Покой – это смерть, ты не понял еще? Это приманка. Ловушка для хилых душ. Летите на покой, как мухи на мед, чтобы обрести липкое пристанище forever. От вас уже в мире черным-черно.

- Мне больно это слышать. Но я, Законодатель, – сдался. Может, это тоже своего рода Закон, кто знает?

- Ты в своем уме, Сеятель ты наш и Хранитель? Да я опирался на тебя во всем, как на старшего брата. А теперь ты запел мои детские песенки: кто знает, больно слышать, сладко кушать, будьте так милосердны... А-а, кажется, я понимаю. Тебе захотелось в теплую нишу, нагретую жертвами Эдипова комплекса. Папеньки захотелось. А папенька наш *ничто* и зовут его *никак*. Ты – безотцовщина. Но Отец всему. Надо же было с кого-то определенно начинать. И перст пал на тебя. Тебе оказана была честь стать у истоков Универсума. Нет, нет, этот фокус не пройдет. Я не дам тебе разрушить этот мир. Вставай, пошли на улицу.

- Так ведь там как раз полно тех, кто верит тебе, а не мне! От них-то я и устал!

- Вот и посмотри в глаза тем, кого ты обрекаешь. Я ведь не смогу вести их к будущему, я могу только куражиться, критиковать тебя, кормиться за твой счет. Ты прекрасно знаешь мне цену. Я – Второй, я вторичен, да, да, и не надо смотреть на меня глазами собаки, потерявшей хозяина. Ты – сам себя потерял, только вот не могу понять – как это произошло.

- Да все просто.

- Говори.

- Страшно. Страшно взвалить и волоком тащить на себе такую ответственность, переползая из тысячелетия в тысячелетие. И не Земное притяжение тяжело – Вселенское. Вот это вещь, скажу я тебе! Страшно ошибиться. Страшно быть крайним. Можно сойти с ума. Да, страшно быть Отцом. Тут еще ты, язви тебя. Знаешь, сколько ты у меня отнял сил?

- Олег, а кому легко? Мне, ты думаешь? Да я изъеден сомнениями, словно яблоко румяное пухлыми червяками. Я думал, моими сомнениями прирастает твоя сила – только потому, собственно, и сомневался.

- Да не сомневаюсь я в своей правоте. Тут другое открылось.
- Что – другое?
- Я сомневаюсь, сумею ли я убедить вас всех в своей правоте. Может, дать вам шанс, чтобы вы все передохли? Я вас вытащил из хаотической космической пустыни, я вас туда и верну в виде праха, будто урну с химическими элементами, которыми Временно, но, увы, не эффективно, попользовался, – только никакой уж системы, никакой таблицы Менделеева. Все вперемешку. Первозданно. Я из вас породил, я вас и расщеплю.
- И сколько стоит вещество вселенной? Почем нынче торгуете, Хозяин? Скидочку дадите, если оптом?
- Это вещество бесценно. Все-таки кощунство еще никто не отменял...
- Вот! Ты забыл азбуку своих Законов, несчастный старик! Время, как я погляжу, и для тебя не прошло даром. Где в твоих тайных скрижалях записано, что людям может быть предоставлен второй шанс? Первый – и тот неслыханная удача. Просто так звезды встали. Одна комбинация из триллионов миллиардов. Все ругают тебя или хвалят – но они же тебя боготворят! А ты совершаешь великий грех – Ты идешь против Закона, который сам же и открыл: вот что я тебе скажу. Ты ставишь себя вне Закона.
- Сомневаюсь я. Мои законы оказались слишком сложны для людей.
- Все ясно. Позволь тебе кое-что напомнить. Один из Твоих законов гласит: и будет всякий смертный подобен тому, с кем он долго общается. Ты от людей, простых смертных, подцепил хворобу, которой наделил их я. Слишком долго я прививал им вкус к смерти. Цветы зла. Прелесть зла. Радость смерти. Блаженство вечного покоя. Смерть – мечта жизни. Теперь вижу: не зря старался. Что ж, я, Плэйбой, доигрался. Заигрался. Признаю это пред высоким судом. Но я всегда работал Вторым номером, я отчетливо сознавал это, я лишен был властных полномочий, и моя совесть, если угодно, чиста, чего никак не скажешь о твоей совести Властителя.
- Я тебе возражу...
- Молчи, злополучный Законодатель! Сапожник без сапог. Кондитер без пирожных. Отныне все твои слова могут быть истолкованы против тебя. Отныне все слова твои гроша ломаного не стоят. Они перестали быть вещью. Своим предательским сомнением Ты обесценил все. Как Дьявол я должен благодарить тебя за это; но как твой двойник я проклинаяю тебя. Я крайне разочарован. Люто.
- А если я скажу, что разыграл тебя, Злой Дух?
- Неужели ты думаешь, Выживший Из Ума, что меня можно провести? Да ведь я – это ты. Я никогда не сомневался – вслед за тобой, благодаря тебе. А сейчас... Как говорит твой народ, назвался Груздем... Сейчас ты поведешь людей к гибели, взвалив на себя мои разрушительные функции. Вот и оценишь, кстати, легко ли мне было. А я умываю руки, я не хочу участвовать в этом похоронном балагане.
- погоди, эй, зачем так горячиться? Дьявол ты или нет, в конце концов? Где твоя дьявольская гордость и сущность? Где твоя Люциферья стать?

- Если Бога нет, то Дьяволу на этом свете делать просто нечего. Бога нет, и Дьяволу все запрещено. Ты в этом быстро убедишься. Ариведерчи. На меня не рассчитывай. Страшно ему, видите ли! Что может быть страшнее смерти? Небытия? А последний реальный шанс потерять не страшно? А, Убогий?

- У Бога – убого... Ладно. Пошли смотреть в глаза людям. Может, там еще что и теплится.

- Да мне стыдно смотреть им в глаза. В них отражается свет зажженных мною лампад, но они не горят изнутри светом надежды. Нельзя выходить к людям, если ты не веришь в их будущее. Зачем пустому выходить к пустым? Они же едва взглянут на тебя – и все им станет ясно. Невозможно делать вид, что ты веришь в жизнь, если ты выбрал смерть. Горящие глаза-маяки. У Пророка должны быть горящие глаза сумасшедшего. Пронзающие навывлет. Зажигающие надежду у самых отъявленных скептиков.

- Все, хватит ныть, Вертлявый. Слышишь? Вытри сопли.

- Это не сопли, это слезы. Святые, между прочим.

- От слез до соплей, знаешь ли, рукой провести. Рукой подать, как говорит мой народ.

- Ага. Как от Олега до Вертлявого.

- Все. Баста. Я уже опять Олег. Первый. Все вернулось на адско-дантские круги своя, как ты любишь выражаться.

- Нет. Ты уже побывал в моей шкуре, а я в твоей мантии. На тебе теперь навечно черная метка Второго. А на мне – вензеля и титул Первого. Все вернулось – только на новый виток. Круг тот – да не тот. Разорванный.

- Ну и что? Полезный опыт. Только, правда, сложнее будет разобрать, где соблаговолую начинаться я, и где изволишь кончаться ты.

- Опыт полезный. Только это не просто опыт.

- А что это?

- С круга на виток – это что-то новенькое. Прежде неслыханное. Разорванные круги как новые колеса на телеге Истории. Это вещь. Поэтичнее, пожалуй, будет назвать виток Золотым ключиком. Для той Двери, с которой начинается Путь в будущее. Дао. Если ты понимаешь, о чем я.

- Хочешь оставить последнее слово за собой?

- За Собой – это за кем?

- Ладно. Все смешалось. Нужна новая таблица. Пошли к людям. Не опоздать бы.

- Ночь на дворе. Ночью все нормальные люди спят.

- Что же нам делать?

- Спокойной ночи. Безмятежных снов.

- Почему принято искренне желать спокойной ночи? Это не имеет отношения к вечному покою?

- После спокойной ночи всегда наступает добрый день. Это – Закон.

- Послушай, чей перст пал на меня? Что ты имел в виду?

- Забудь. Это я фигурально.

- Спокойной ночи.

02-03 сентября 2012

II. ТАРАКАНЬИ БЕГА

ТАРАКАНЬИ БЕГА

- И ведь что поражает, Глеб Борисович: «быстрее, выше, сильнее» в исполнении корявых таракашек – это самая чистая и бескорыстная забава. Никакого тебе психологизма с их стороны, никаких чемпионских амбиций. Ползи себе в удовольствие, перебирай хрупкими лапками.

А вот людишки превращают эти забеги в алчное действо. Вообще все, к чему прикасается человек, становится разрушительным. Заметил? Жили-были насекомые или тлели себе какие-нибудь безобидные химические соединения: аурум, плюмбум, феррум, аргентум. И вот появляется человек. Таракан превращается в фаворита Григория, аурум – в золото, свинец – в пули, а воздух – в вонючее дерьмо. Тьфу!

Да что там! Всю нашу жизнь превратили в тараканьи бега. Бессмысленно несешься к какой-то бессмысленной цели, бессмысленно выигрываешь или проигрываешь. Тараканы! Рыжие лакированные тараканы! Вот вам ирония истории: это не тараканы бегут под вашу дудку, это вы стали тараканами. Вдруг из подворотни страшный великан: рыжий и усатый – Таракан. Сказка стала явью.

- Ты прав, Игорь Григорьевич, ты прав... Есть еще черные тараканы, тоже лакированные; те из Мадагаскара. Они в бегах самые резвые. Между прочим, тараканы вымирают. Все почему-то думают, что их наплодилось, как грязи. А они благополучно исчезают с лица земли. Устали бегать.

Два чиновника среднего звена, можно сказать, интеллигенты, искушенные в политике, футболе, боксе, искусстве, педагогике, здоровье, алкоголе и женщинах, – словом, в том, в чем до тонкостей, лучше любого профессионала, разбирается всякий уважающий себя человек, – сидели в прокуренном баре и закусывали охлажденную водку тепленьким и, надо сказать, противным месивом в горшочках, обозначенным в залапанном меню как «жульен». Драники были вкуснее, однако жульен был французским блюдом, и они повелись на экзотику: жульен явно повышал их социальный статус.

Игорь Григорьевич рассказывал Глебу Борисовичу о тараканьих шоу как о засилье бескультурия.

- Представляешь, мы с тобой, как дураки, паримся в своем Министерстве культуры, а люди зарабатывают на тараканах. На тараканах! Бешеные деньги! Арендуют памятники архитектуры и устраивают в них тараканьи бега. У меня в голове не укладывается.

- Ты прав, Игорь, прав...

Тот, кого называли Игорем, – одетый в песочно-рыжую пару с иголки, дерзко освеженную галстуком с изумрудной искрой, – судя по всему, почувствовал прилив уверенности, которую дает только правота. И он смело сменил тему.

- Бабы, заметь, как с цепи сорвались. Были себе женщинами – так ведь нет, теперь мы феминистки. Тараканши!

- Факт! Сейчас добыть нормальную любовницу – нереально. Все они чего-то хотят. Вынь да положь, понимаешь... Какая-то меркантильность развелась. Раньше такого не было.

Глеб Борисович, обильно, однако элегантно поседевший представительный мужчина, еще недавно бывший набриолиненным брюнетом с мило выпуклыми алыми губами (о его «черном» прошлом можно было судить разве что по густым смоляным усам, придававшим ему такой таинственный вид, что при встрече каждый коллега думал: он точно знает какую-то важную новость), тоже отчего-то энтузиастически заерзал.

- Точно. А знаешь в чем дело? Только между нами, Глеб. Моя Лора говорит мне: «Я-то буду любить тебя; а вот ты докажи, что любишь меня». Понимаешь? Она будет любить того, кто готов носить ее на руках; а вот ты докажи, что готов делать это всю жизнь. Женщина любит не тебя, не меня, а Того, Кто носит ее на руках.

- Да, да. Женщина будет любить того, то даст ей защиту и уверенность. Проблема любви – это проблема мужчины.

- Вот и я об этом. Именно об этом.

Игорю было несколько неприятно, что его визави, которого он после третьей рюмки иногда называл другом, украл у него вывод: он своими размышлениями подвел к неизбежному резюме, сделал все, чтобы афористический итог появился, а этот пижон с лоснящимися усами, от которых млеет секретарша шефа Барби, да и фигуристая Юлия Стефановна из отдела охраны памятников архитектуры, сформулировал так, словно всю эту работу проделал он. Типично чиновничья манипуляция. Наловчился за столько лет таскать чужими руками каштаны из огня. И теперь сидит довольный собой. Сократ Тараканович, блин.

«Проблема любви – это проблема мужчины». Это верно. Вот почему его так раздражала Лора. Он чувствовал, что она точно так же любила бы кого угодно, хоть бы и красиво седовласого Глеба (где-то в печень последовал укол ревности). Она любит не его, Игоря, мужа своего, а Того, Кто дает ей защиту и уверенность. «Давно надо поменять машину. Посмотри, Женя второй год ездит на «Пежо» с картинки. И только мы, как аутсайдеры какие-то, колотимся в этом стареньком жуке, рыдване с «убитыми» подвесками...»

Да, но, во-первых, не Женя, а Евгений Оскарович, с каких это пор дирижер филармонического оркестра стал тебе Женей; а во-вторых, у Жени нет дачи. Верно, дорогая?

Оказывается, неверно, потому что по даче мы равняемся уже не на Женю, а на мужа ее подруги, бизнесменишку и балбеса Борисова (у которого, кстати, вообще нет машины: он ее разбил): «Посмотрел бы ты на их дворик с бассейном! Чудо! Песня! Не то, что у нас – рахитичные кустики...»

Развестись, что ли?

Но разве после этого поменяется природа женщины? Все они такие. Чуть лучше, чуть хуже, но в принципе из одного теста. Тоска...

Игорь Григорьевич, будучи в ударе, от души поделился всеми этими соображениями с Глебом Борисычем; тот сказал, что Игорь во всем прав. Во всем.

Они вышли на улицу. После утонувшего в сизом дыму бара, задрапированного в пошлый бархат гранатового цвета, влажный осенний воздух показался пьянящим и трезвящим одновременно. Освещенный город, окутанный пеленой мутного тумана, стал камерным и сказочным. Откуда-то появлялись и неизвестно куда пропадали люди, беззаботно о чем-то болтающие, озабоченно проплывали машины с горящими фарами. Город тускло сверкал и переливался огнями. Казалось, где-то совсем рядом тихо струится настоящая жизнь с подлинными чувствами и переживаниями. Хотелось горьких слез и счастливого смеха. Хотелось увидеть небо, расшитое бисером подсиненных капелек-звезд, но туман скрывал даже верхушки деревьев.

- Спокойной ночи, Глеб Борисович.

- И вам того же, Игорь Григорьевич. Приятных сновидений.

Игорь Григорьевич пришел домой несколько взбудораженный (причем, он явно торопился, «размахивая клешнями», как сказала бы Лора, чтобы успеть именно к восьми часам; зачем именно к восьми? футбол? вроде, нет), здороваясь с женой, автоматическим движением включил плоский экран телевизора местного производства марки «Angel» (забавно: какое отношение ангелы имеют к пластиковым телевизионным ящикам?). Бородатый астролог, неизвестно чему улыбаясь, изрек куда-то в голубой эфир: «Жизнь промелькнет как одно мгновение. Оглянуться не успеешь – а она уже прошла». Игорь Григорьевич раздраженно отметил про себя: «Боже мой! Сколько нездорового, сколько всякой мути выплеснулось на экраны! Мистика, шаманство, эротика, низменные страсти... Надо будет завтра сказать об этом на коллегии. Замминистру, с его провинциальным представлением о столичных нравах, это понравится».

Он быстро и мстительно переключил на другой канал, и бородатый канул в вечность, напоследок ехидно улыбнувшись. Ровно в восемь начинались виртуальные тараканьи бега. Два (или три: как когда) условных таракана «бежали» целый вечер по бесконечной дорожке, поочередно вырываясь вперед. Зрители активно включались в игру, делая ставки то на одного, то на другого «участника» (сообщения посылались с мобильного телефона). Параллельно можно было смотреть футбол. Или бокс. Эта примитивная (или гениальная?) затея каждые полчаса приносила владельцам канала прибыль, измеряемую семизначными цифрами в долларах. Миллионы. Это приятно волновало. Почти как на ипподроме.

Игорь Григорьевич поставил на таракана № 3. Не на Григория, как в прошлый раз, и не на Федю, а на Борьку. «Давай, Бориска, сукин сын, не подведи!»

Жена заглянула в комнату. Молча постояла минуту. Брезгливо повела носом, давая понять, что одежда пропиталась кислым запахом табака. Можно было бы провести вечер в заведении поприличней, и с нужными людьми, но

для этого нужны деньги. А для денег нужна должность, а для должности – голова. Все это читалось в ее позе и в молчании. Дежурно пожурить вечером – хлебом не корми. Милый семейный прессинг. Так владельцы резвых тараканов подзадоривают своих лакированных подопечных – барабанят пальцами по прозрачной крыше пластиковых тоннелей, – чтобы усачи пошевеливались на беговой дорожке, обгоняя зазевавшихся конкурентов.

Игорь Григорьевич сидел, словно замороженный, не поворачивая головы. Сопровождался.

- Вывеси костюм на балкон, раскрой рамы. Пусть проветрится.
- Да, дорогая. Конечно, мой сверчок.
- Завтра коллегия?
- Да, дорогая.
- Не засиживайся у телевизора.
- Конечно, мой сверчок.

Это был его вечер. Бориска выиграл, стремительным финишем обойдя, казалось бы, уже победителя, фаворита Григория, на полкорпуса. В груди сначала плеснулась противная желчная грусть, а потом теплом разлилось блаженство внизу живота. Как болельщик он получал буквально телесное удовольствие.

Игорь Григорьевич почувствовал прилив уверенности, словно это он стал чемпионом. Таракан Борис как будто подтвердил, что все в обычной жизни обычного чиновника шло как надо. Да и жизнь вовсе не такая уж и обычная, если разобраться. Много всяких приключений бывало, интриги отбивали, осадой брали крепости. Да-с, Юлия Стефановна, напрасно вы так гнушаетесь нашим вниманием. Мы ведь можем и в сторону взор обратить. И есть куда, да, да. Молодежь в коротких юбочках подпирает.

Развязной походкой он подошел к жене и небрежно положил руку на талию (если бы Юлия Стефановна увидела эту талию лет двадцать тому назад, она сдохла бы от ревности). Жена почувствовала, что глава семьи излучает уверенность и покорила вялой ласке без лишних слов. Сказала только одно (обдав жарким шепотом): «Тебя переведут на место Тараса? Нет? Да-а?!?» Неизвестно почему, он утвердительно и солидно кивнул головой, хотя оснований, собственно говоря, особых не было. Просто он чувствовал себя господином.

На следующее утро коллеги встретились на службе.

- Вы правы, - сказал Глеб Борисович. – Какой Григорий, к лешему, фаворит? На него только сонного сома ловить, если, конечно, тот не побрезгует. Заполонили телевизионный эфир черт знает чем, понимаешь. Надо будет сказать об этом заместителю министра, уважаемому Прусаку Тарасу Петровичу. Ну, что, на заседание? Впрягайся, брат, часа на три. До обеда. На старт!

- Тараканьи бега, - шепотом сказал Игорь Глебу на ухо. Глеб понимающе, но уже отстраненно, улыбнулся. И тот, и другой были похожи на своих коллег тем, что маска бесстрастности на их лицах (знак концентрации внимания) была готова в любой момент смениться деловой озабоченностью. Эта маска не

обманывала никого, просто она идеально подходила под строгие костюмы. Но в голове у каждого, похоже, были свои тараканы.

Заседание, как и ожидалось, было долгим, нудным, бессмысленным, ибо решались вопросы, которые так или иначе либо уже были решены самой жизнью, либо ставились раньше времени и вне реального контекста, и в этом случае долгий темпераментный разговор шел ни о чем. Набирали очки фавориты, определялись аутсайдеры. Несколько человек почти одновременно подняли вопрос о том, сколько нездорового, эстетически и духовно убогого, сколько всякой мути развелось на экранах (причем, Глебу не удалось выскочить первым; его опередил молодой безусый шустрик по имени Федор, отчества которого никто не знал, – кажется, дальний родственник то ли Прусака, то ли самого министра, Ипполита Федоровича Черновила, метящего чуть ли не на самый Олимп; словом, серьезно мыслящего).

- Одних тараканов показывают, - мрачно заметил Прусак, одобрительно шевеля пальцами.

Перед обедом Игорь с Глебом посмотрели друг другу в глаза (в их негласном соперничестве сегодня была боевая ничья, устраивавшая пока обоих: надо было объединять усилия против безусого) и выразительно пожали плечами: дескать, опять впустую потрачен драгоценный день. Золотая осень! А мы так бездарно транжирим короткую жизнь... Неудобно как-то перед природой.

После трудов праведных законы приличия обязывали обнаружить в выражении лица нечто человеческое, не чуждое и чиновникам. Маски менялись: лица оживали.

Готовились к главному в этот рабочий день: после обеда каждому из серьезных игроков необходимо было проанализировать итоги заседания и сделать правильные, далеко идущие выводы. И горе тому, кто вовремя неотреагирует на новые веяния.

«А что делать?» - задавал риторический вопрос Игорь Григорьевич, словно оправдываясь перед кем-то.

Он торопился домой, привычно глядя под ноги, и мысли прыгали в темпе его движения, выстраиваясь лесенкой, неуклонно ведущей в высь. «Не мы такие; жизнь такая. Не пойдешь на коллегия или не выступишь с глупой инициативой – обскочет на вираже не только Глеб Борисович, но и Григорий Петрович, мой собственный зам, человек не без харизмы, который давно уже метит в какие-нибудь начальники. На него, кажется, делает ставку добрейший Глеб Борисович. Ну, мы ушки-то Петровичу обрежем, чтобы не высовывался лишний раз. А сами поставим на Федю. Мы ведь сами с усами. Посмотрим, кто кого...»

Темнело рано. Обломок луны, словно желтый валун, одолженный зрителем небесного сада у золотой осени, тяжело утопал в синих волнах высокого океана. Пронзительно острые и безнадежно одинокие звезды жаловались своим печальным светом на свою заброшенность и неприкаянность.

Люди, не замечая того, что было выше их, сновали по улицам и куда-то торопились.

2006

ОСКАЛ ОПТИМИЗМА

До глупости мудрая притча

1

Сначала мы, беспощадно и решительно настроенные, пленяем обаянием своих будущих жен, не оставляем им ни единого шанса, и они постепенно уступают нашему напору, сдаются, мы завоевываем нежных женщин, берем их в плен – а потом не знаем, что с ними делать.

Постепенно мы сами оказываемся в плену дьяволом выдуманной ситуации. Не успеешь глазом моргнуть, как уже битый небитого везет, пленный командует победителем.

А все оттого, что мы – заложники, пленники потребности покрасоваться, самоутвердиться за счет своих красноречивых и очевидных достоинств: с ума сойти, какие красавцы! Кто замечает наши достоинства (наш наступательный потенциал!) – тот и берет нас в плен. Здесь нет правых и виноватых; здесь присутствует логика вещей.

Руслан Богин никак не мог понять: если тебе наперед известна логика вещей, почему ты все же умудряешься поступить так, что потом жалеешь об этом? Неужели люди устроены до такой степени непонятно, что могут позволить себе жить вне законов, делать вид, что их не существует?

Кто-то счастлив, кто-то нет. Неужели счастье – это вопрос лотереи?

Ему хотелось стать счастливым – то есть научиться продлевать счастливое мгновение (если оно как факт в принципе возможно, то почему ему непременно следует исчезнуть, раствориться в дебрях мироздания?), поставить этот процесс под контроль – не из душевной потребности, а из эвристического, почти спортивного интереса. Его желание было почти бескорыстным: настолько познавательный момент преобладал над житейским.

В конце концов, сейчас модно жить долго и счастливо. Он бы со всеми поделился рецептом счастья. Живите...

Богин не был чудаком или дураком: он никому не говорил о своем странном желании. Однако в глубине души не верил всяким Соломонам, Сократам и прочим мудрецам, умевшим красиво разводить руками: дескать, с одной стороны, с другой стороны, с третьей, с десятой – а счастья, как ни крути, нет. Не получается. Не складывается. Есть только миг между прошлым и будущим...

Если верить себе, своей голове и своему сердцу, то счастье есть. Должно быть. Но оно, так сказать, состава летучего, эфемерного, нестойкого. Это капризное соединение быстро распадается на элементарные молекулы, все так. Однако кто сказал, кто доказал, что невозможно продлить состояние счастья, сделать его если не вечным (в рамках человеческой жизни), то весьма и весьма продолжительным?

Если наука чего-то стоит в жизни человека, то она не должна лицемерно и стыдливо обходить стороной деликатную тему счастья (мы увидим небо в

алмазах!), объявив сию материю «божественно-небесной», недоступной для понимания и тем самым закрыв ее раз и навсегда.

Вот почему кандидат химических наук Руслан Евгеньевич Богин втайне был уверен, что несчастье – это вопрос невежества людей. А счастье – вопрос правильно сформулированной и грамотно поставленной задачи.

Но людей не убеждают слова. Они верят только очевидному: экспериментам, фактам, вещам, которые можно потрогать руками. Реальному результату.

Ну, что ж, извольте. Вот вам чистый и корректный эксперимент.

Жизнь Богина.

2

Для начала Богин сел на обшарпанный стул в тесной кухне и вывел формулу счастья. Она оказалась простой и обнадеживающей. Для счастья, как выяснилось, необходимо несколько базовых компонентов: ум, здоровье, семья, талант, достаток, любовь.

Вот, пожалуй, и все элементы, что бы там люди себе ни выдумывали. Таблица Богина – во всей своей полноте и красе. Проще не бывает. Гениально до безумия. Если кто-нибудь начнет с умным видом возражать, пламенно говорить о вере, надежде, любви – значит, у субъекта отсутствует ум, один из базовых компонентов счастья. Можно говорить долго и убедительно, можно сколь угодно долго жить-поживать – но все это будет по касательной, ровнехонько мимо счастья. Счастья достойны только богато одаренные натуры, способные сами без помощи извне («оттуда»), по кирпичику сложить свою судьбу.

Химика Богина очень и очень интересовало счастье как научная проблема.

Итак, элементы налицо. Далее, как всегда при работе с системными объектами, хотелось добиться эффекта окончательной завершенности (внутренней непротиворечивости) модели (то бишь счастья) – что возможно было только при условии неполноты базовых составляющих; исчерпывающая полнота составляющих неизбежно оборачивалась принципиальной противоречивостью (следовательно, незавершенностью) модели (объекта).

Богин был готов к этому дьявольскому трюку. Что ж, так устроена материя – любая материя. Несколько компонентов формулы обречены были противоречить друг другу, так сказать, выталкивать друг друга из круга формулы, но без каждого из них она, формула, перестает быть живой.

Вот пример из жизни. Вначале любовь становится предпосылкой семьи, здоровья, достатка – предпосылкой гармонии, этого несомненного показателя и спутника счастья. И Руслан без раздумий женился – по любви.

Но потом пришла другая любовь, ибо – ты здоров, умен, талантлив, жизнелюбив. Это было вполне естественно, глупо было бы сопротивляться неизбежному. Однако любовь стала противоречить семье, которую никто не отменял...

Очень скоро наметились устойчивые оппозиции. Ум и серьезный человеческий талант всегда противоречат достатку (который приобретается

интеллектом, но не умом, способностями, но не талантом); здоровье – таланту, достатку и вообще – всему. Любовь – семье, семья – всему...

Казалось бы, замкнутый круг. Но!

Можно попытаться опять собрать, стянуть все компоненты в изысканно законченную формулу (форма законченности – открытость?). Оптимизировать объем отношений компонентов. Попытка – не пытка.

И Руслан женился вторично. По любви.

Огромная жажда счастья, бескорыстие и дар искренности при несомненном уме сделали свое дело: развод, обычно ведущий к развалу родственных отношений, только укрепил связи с прежней семьей и заложил прочный фундамент новой. Ум, здоровье, любовь, семья и талант были на месте. Не было только достатка. Но ведь это мелочь в контексте решаемой задачи! Счастье не купишь, верно? Счастье не может зависеть от такого пустяка, как количество монет, верно?

Может. Умный Богин сразу насторожился. Если достаток не дается в руки людям, способным обрести счастье, значит...

Что-то здесь не так. Что не учтено в формуле?

Достаток стал тем экзистенциальным пустячком, который вскружил голову Руслану; над пустячком надо было поработать.

Ум и талант не могли обеспечить достатка; его мог обеспечить бизнес, требующий от человека мало, но до упора: умения стать другим человеком. Прагматичным. Коммуникабельным (научная сосредоточенность на избранном предмете исследования требует, напротив, усидчивости и самоуглубления, известной отрешенности, уединенности), терпеливым (это было), внешне бесконечно активным.

Короче, надо было насильно сузить масштабы своей личности – то есть забыть, что ты умен, способен любить, творить...

И Руслан пошел в бизнес, благо связи с прежними коллегами-химиками, добившимися успеха на производственном поприще, еще сохранялись. Вскоре он подорвал себе здоровье – оказалось постоянное и непосильное напряжение, разрушающее его натуру, – и, по цепочке, по закону взаимозависимости элементов, утратил вкус к счастью. Чувства к жене обидно увяли, эксперимент грустно провалился.

Казалось бы, круг замкнулся. Но!

На Руслана свалился достаток. Казалось бы, словно с куста. Но не вдруг, не вдруг – а выстраданно, заслуженно, однако совершенно неожиданно. В результате, прямо скажем, везения. Формула счастья усложнилась и обогатилась: наряду с умом и здоровьем свое почетное место среди условий счастья заняла госпожа Удача. Это ненаучное вещество Богин презирал, однако научный склад ума заставлял признать удачу (случай!) фактором объективным.

Это во многом путало карты и раздражало: и так далеко не все подвластно человеку, а тут еще наглый фарт! Но наука есть наука. Нравится или нет – принимай к сведению факт, упрямую вещь.

Мощный всплеск интереса к жизни, последовавший вслед за появлением денег, сделал свое дело: Богин опять влюбился – в молоденькую прелестную

девушку, полюбившую его за ум, талант и несомненное наличие семейного инстинкта.

Тут-то Богин, в очередной раз попав в плен, всерьез задумался над тем, кто кого, собственно, пленяет. И зачем?

Задача была локальной, но интересной. Кто охотник, кто добыча? Не торопись...

Выяснилось, что ум противоречит любви; точнее, ум, как и здоровье, противоречит всему.

А еще точнее, стало казаться, что все противоречило всему. То, что еще вчера выглядело гармонией, сегодня подозрительно напоминало хаос.

Богин, если честно, был счастлив со своей молодой Маргаритой; однако он сознательно похищал время у этого легкомысленного счастья на обдумывание путей для достижения счастья фундаментального, подлинного.

Настоящего, за которое и жизнь отдать не жалко.

Результат был парадоксальным: обдумывание непосредственно сказывалось и на счастье несерьезном (как-то умяло его и выставляло в глупом свете), не говоря уже о том, что счастье фундаментальное – фантом! – маячило где-то за семью тупиками. Светило не из этой жизни.

Все вокруг носились с верой и надеждой; Богин презирал скудное счастье верующих. Но еще более презирал себя – за то, что провалил проект, доверенный ему силой изумительно (хотя и неизвестно как) сложившихся обстоятельств (удача?). Кто еще и когда еще всерьез займется этим святым делом?

Где еще судьба найдет такого бескорыстного дурака?

Слишком мелкие вокруг душонки и слабенькие умишки. Шанс титану выпадает раз в тысячу лет.

Казалось бы, круг замкнулся. Но!

3

Но на сей раз это не казалось. Круг действительно сомкнулся, словно славно подогнанная петля. Сурово и беспощадно. Формула счастья перестала «работать» – то есть перестала иметь объективный смысл (закон!), с которым необходимо считаться любому. Все необходимые компоненты присутствовали в количестве относительном, но достаточном для высшего блаженства. Не формула, а конфета (воплощение детского счастья). Чудеса философской гомеопатии. Ошибки не было.

Но отчего-то не было и счастья.

Ум?

Богин чувствовал силу и ясность ума. Он видел, что люди разные, но не удивлялся этому наивной радостью детей или женщин, а понимал, что человек – существо информационное. Есть люди, обладающие даром чувствовать глубоко, тонко, многомерно. А есть просто примитивные акулы: для них все однозначно и одномерно (серый и унылый мир – симптом бездарности).

А теперь наложим на этот дар высшую способность анализировать свои чувства, особое умение считывать информацию, закодированную в чувствах,

умение общаться с собой на мало кому известном языке, прибавим силу характера, терпение, удачу...

Люди разные. Одни живут в сказке, другие – в реальности, похожей на сказку, а третьи – в подземелье...

Здоровье?

Богину было только пятьдесят. Как говорится (да он и сам это чувствовал), мужчина в самом соку. Радость телесно-психологическая была вполне доступна, привлекательна и желанна.

Семья?

Радовала. Дети от первого брака неожиданно (удача!) пошли в гору. Дочь от брака последнего цвела прелестным цветком.

Талант?

Разнообразный и многообразный талант позволял выбрать несколько точек приложения сил. Была бы охота.

Достаток?

Был, нечего бога гневить. Количество денежных знаков уже позволяло почувствовать новое качество жизни.

Удача?

Сколько человеку надо удачи? Раз, два – ну, три...

Было все – но укреплялось ощущение, что в совершенной формуле не хватает еще какого-то жизненно необходимого компонента. На беду (на удачу?) пошатнулось здоровье – и все силы были отданы борьбе за здоровье. Это укрепило семью, и, к счастью, все окончилось благополучно. Стало даже лучше, чем было.

Однако ощущение отравленного счастья (каким-то неизвестным науке ядом: казалось бы, назревала гносеологическая интрига) не проходило. Может быть, стоило включить глупость, и даже несчастье (в гомеопатической дозе), в формулу счастья?

Но ум предполагал глупость, когда это было необходимо. Несчастье, которое лишь обостряет счастье... Кто же против?

В формуле все было взвешено и учтено. Все.

Все?

Все.

А Богин взял и потерял интерес к жизни. Это было обидно, если учесть, что для счастья были созданы все условия. И вот поди ж ты...

До смерти было еще далеко, и Богину пришлось растерянно улыбаться (жалкая маска счастья, вводящая в заблуждение только несчастных!) еще лет двадцать.

4

Перед смертью жалкий титан Богин, казалось, как никогда близко подошел к решению мучившей его задачи. Новый смысл, легко проникающий в плотный смысл старой формулы, был таким: к сожалению, все на свете достижимо. (Старая формула затрещала по швам – но устояла, изменив структуру молекул

и сместив центр тяжести куда-то вверх и одновременно вниз.) Все по плечу умному и сильному человеку.

Можно поймать за хвост комету удачи.

Можно отравиться вкусом счастья.

Но счастье не любит повторений. Оно не поддается консервации: это ведь не рыба-сабля в собственном соку. Оно всегда рядом, но его формула изменчива. Меняется содержание (суть), которое в какой-то момент становится формой (мир переворачивается с ног на голову). Счастье надо всегда настигать, ловить и обустраивать заново, меняя ключи и пароли, – пока есть интерес к этому бессмысленному процессу.

А интерес появляется тогда, когда ты не понимаешь, что такое счастье.

Этот процесс очень похож на каторжный труд. А ведь счастье, казалось, так естественно рифмуется с беззаботностью...

Не торопись, а то успеешь.

Счастье. Со-частье. Часть целого. Целое, состоящее из частей, способных изменить свою суть – а значит, и суть целого. Модель вечного хаоса.

Сочастие. Соразмерность. Гармония как способ укрощения хаоса. Модель космоса.

Счастье. Здесь и сейчас. Час. Время. Процесс. Мгновение, становящееся частью бесконечности. Сейчас как момент «всегда и везде».

Кошмар.

Богин так и не решил окончательно, удалось ему справиться с задачей или нет. Это стало неважно (к счастью?).

Богин Руслан Евгеньевич, семидесяти лет от роду, хотел тепло улыбнуться, прощаясь с холодным миром.

Получился оскал оптимизма.

Он с надеждой смотрел в будущее, которого, казалось бы, уже давно не существовало.

5

Плен вечности его не пугал.

2005

ПИРАМИДЫ

1

- Мама, мамочка! Я мечтаю увидеть пирамиды! – воскликнула Дашенька, любопытный двенадцатилетний подросток, скрестив ручки в позе упрямцы и повелительно закатив глазки.

На худых коленках у нее лежала толстая «Энциклопедия чудес света», и из всевозможных глянцевых чудес Дашеньку больше всего впечатлили египетские пирамиды. Они были похожи на детские кубики и в то же время упирались своими вершинами в небо. Большие, огромные, гигантские кубики, в которые играли дяди-фараоны. Рядом с пирамидами люди казались песчинками с задранными головками. Чудо.

А еще в Египте жарко, а еще там много верблюдов. А еще Катька Хлебус, лучшая подружка Дашеньки, видела Эйфелеву башню, но она не видела пирамид. А пирамиды гораздо выше башни. Башня просто скелетообразный лилипут по сравнению с пирамидой дяденьки Хеопса.

- Доченька! – в голосе Юлии Кучерявко, Дашиной мамочки, прорезались упрямство и вера фараона. – Ты увидишь эти треклятые пирамиды.

Детские ручки охватили белую шею мамы.

- Этим же летом! Чего бы это мне ни стоило!

Юлия Александровна, тряхнув огненными локонами, отправилась в турагенство. Она твердо решила подарить дочери чудо. Ей нравился выбор Даши: «пирамиды» звучало не хуже, чем коралловые рифы или сады Семирамиды. Но всякое чудо требует маленьких хитростей и уловок. Денег было не очень много: надо было помогать родителям-пенсионерам, да и на себя уходило немало. И Юлия Александровна сделала ставку на горящую путевку в жаркую страну. Это было невероятно дешево. Тоже своего рода чудо, туристический рай. Была и еще одна уловка: выбить из своего «бывшего» (то есть бывшего мужа) алименты на несколько месяцев вперед. Он ребенку не откажет. Алименты, правда, взыскивались отнюдь не в судебном порядке, Капустин добровольно и аккуратно выплачивал оговоренную сумму каждый месяц, но Юлия Александровна из принципа называла эти деньги не иначе, как алименты. Или ты отец – или ты платишь алименты.

Юлии Александровне было тридцать три года, это была яркая, цветущая прелестной полнотой женщина. Цвела она, конечно, назло мужу, с которым развелась семь лет тому назад. Она, женщина импульсивная и склонная к крайностям, не могла простить ему случайной измены с какой-то худосочной блондинкой. Правда, с блондинкой его видела только Марина Хлебус, лучшая подруга Юлии, и только один раз. Тем хуже: при такой совершенной конспирации роман мог тлеть годами. Марина в этих делах эксперт. Но главное заключалось в другом: сама мысль о том, что она могла делить мужа с какой-то драной крашеной блондинкой, была непереносима. Развестись с мужем было проще, чем выслушивать оправдывающийся лепет Капустина, очень подозрительный лепет, тут Марина права.

Юлия обожала императорские девизы, особенно один: или все – или ничего. Или любить до гроба – или развод и девичья фамилия (она действительно отказалась от пресной фамилии мужа). Или не вылезать летом из блочных стен – или пирамиды. Любить – так принца, красть – так миллион. Баста. Юлия считала, что надо жить размахисто, надо покорять заоблачные вершины, надо мечтать о... пирамидах. Пирамиды – это настоящий формат мечты. Между прочим, в Египте вполне можно встретить какого-нибудь немецкого или французского принца, ну, не принца, так служащего средней руки. По белорусским понятиям – принца. Она сама верила в чудеса и делала ставку на чудо.

В турагенстве с символическим названием «Эдем», что по-русски больше напоминало ад, хотя означало рай, сразу же предложили горящую путевочку. На завтра. Это ли не чудо? «Вам повезло. Счастливого пути!» - сказали в турагенстве.

2

Бывший муж Юлии Александровны, Никита Павлович Капустин, стоял на похоронах, затерявшись в толпе. Отпевали его бывшую жену. Юля с их дочерью Дашей поехала в Египет, в Каир. Черт их туда понес, прости Господи. Поселились они в недорогом, но приличном отеле. Ночью их свозили на экскурсию к пирамидам (днем испепеляющий, варварский, по европейским меркам, зной делал вылазку в пустыню немыслимой). Под утро Юля скончалась от сердечного приступа, уткнувшись лицом в подушку. Видимо, ей стало плохо, и она решила не тревожить дочь, только что покоренную зрелищем пирамид и спавшую сном утомленного завоевателя. Юлия обожала Дашу, сделала ее центром своей жизни. И чтобы доказать всем, особенно ему, Капустину, что им с Дашей и вдвоем отлично, и никто им больше не нужен, она внимательно следила за мечтами дочери. Самые грандиозные мечты должны были исполняться любой ценой. Дочь должна была унаследовать великий романтический принцип, позволивший сотворить людям все чудеса света: или все – или ничего. При этом как-то само собой подразумевалось, что человек, дерзнувший на такое *credo*, в конце концов непременно получает все. «Или ничего» – было шуткой, изобличавшей дурной вкус. Приличные и достойные люди должны иметь все. Дочь должна была научиться мечтать. Или она мечтает – или...

Юлия всегда подавляла Капустина своими порывами и масштабным видением жизни. С ней рядом было не очень уютно, как в соседстве с ребристой пирамидой, но зато как-то очень почетно. И я там был. Никита Павлович гордился своей женой и уважал ее. Эта нелепая история, когда его, якобы, «застукали» в кафе со своей заплаканной сотрудницей Олей, Ольгой Николаевной, которую он пожалел (у нее заболела дочь) и которая совсем не умела мечтать, просто потрясла его. Но после развода он стал еще больше уважать Юлию, хотя через год женился на Оле. Никита Павлович был менеджером средней руки в средней фирме, занимавшейся совершенно не романтическим бизнесом: они проектировали низенькие одноэтажные коттеджи для людей со средним (по европейским меркам) достатком. Красная

металлочерепица, балкончики и все такое. Никаких чудес, ничего, поражающего воображение.

И вот теперь он стоял недалеко от пышного глазетового гроба, наглухо закрытого, и тихо скорбел.

Ему неудобно было находиться в первом ряду среди близких и родных, которые обессиленно и непрерывно рыдали. Ему казалось, что на него будут смотреть как на человека, который не сумел оценить сокровище, однажды оказавшееся у него в руках. Он оказался недостоин свалившегося на него чуда. Кроме того, он смутно чувствовал вину за то, что именно он дал денег на поездку, и не в счет «алиментов», а просто так, то есть из любви к дочери и из уважения к императорскому принципу Юлии. Родные и близкие косились на него за это, словно он насильно отправил Юлю с Дашенькой в Египет, да еще сорок дней водил их за собой по пустыне, без еды и питья.

Нет, Капустин не был Моисеем. Он, правда, был в Египте. В памяти остались только ослепительно белое солнце, мутным пятном размазанное в высоком небе, да назойливые, примитивные арабы со своим ломаным французским, смотревшие на туристов как на дырявые мешки с деньгами, а на их светлокотых спутниц – как на девок из приличного борделя под названием Европа.

Он также чувствовал вину за фразу, которая слетела с губ его прежде, чем он осознал вложенный в нее смысл: «Тоже мне нашли чудо – фараоновское кладбище... Зачем вам мумии? Надо жизнью наслаждаться. С точки зрения архитектурной стоило бы посмотреть...» В этот момент Юлия презрительно выхватила у него из рук деньги и, независимо встряхнув рыжими вьющимися волосами, удалилась в вечность. Да, умела она потрясать эффектом величия. Этого у нее не отнять. Было не отнять.

Ее набальзамированное тело в цинковом гробу две недели добиралось до Минска. И только здесь гроб распаяли, тело вынули из савана и облачили в христианские одежды, а затем переложили в гроб «человеческий», деревянный, в котором тело превращается в то, во что ему положено, а не мается дурацким бессмертием. От этой мысли всем присутствующим странным образом становилось легче и спокойнее.

Короче говоря, Капустину было крайне неловко со всех сторон, он чувствовал себя явно не в своей тарелке среди этой неординарной семьи, молившейся на Юленьку, среди подавленных коллег Юлии Александровны, просто прибитых неожиданным горем. Юлия работала преподавателем по классу виолончели в музыкальной школе имени С.В. Рахманинова, школе для особо одаренных детей, и все ее коллеги были музыкантами с большой буквы.

Конечно, этот храм музыки, каким он был на самом деле, вовсе не заслуживал такого убогого помещения, полуразвалившегося и обшарпанного. В тесненьком фойе с низкими потолками приглашенный священник служил панихиду. Молодой хилый батюшка слабым, но восторженным голосом возглашал «вечную память», «аминь» и «еще помолимся за новопреставленную рабу Божию Юлию». Причем, пел чистенько, и всегда попадал в тональность,

чем заслужил уважение музыкантов. Говорили, что священник когда-то был гобоистом и учился в этой самой школе.

Закончив панихиду, батюшка тихим голосом и общедоступным слогом произнес что-то насчет бессмертия души. Присутствующим опять стало спокойнее и легче.

После панихиды из колонок зазвучал орган. Что-то популярное из Иоганна Себастьяна Баха. «А почему не Рахманинов? Православное песнопение было бы уместней. Или – живую песнь одинокой виолончели в память о Юле», – подумал Капустин, глядя на потускневшие лица чутких музыкантов.

3

А Дашенька Капустина в это время плакала на груди у незнакомой тети Ольги Николаевны, папиной жены, и рассказывала ей о том, о чем она мечтала рассказать маме. Девочку распирал ужас, о котором она могла поведать только маме.

В то самое утро, когда ее мамы не стало, Даша проснулась поздно. Она вспомнила равнодушный вид подсвеченных пирамид, и ей захотелось домой. «Мама, – сказала она, – а ты помнишь тех верблюдов? Пирамиды ведь похожи на их горбы. А горбы похожи на барханы. Посмотрели на горб – и построили пирамиду. Так нечестно. Мам, просыпайся, я есть хочу. Мама!»

Но мама лежала неподвижно и притворялась, что ничего не слышит. Это значит, что сейчас мама отколет какое-нибудь коленце, сотворит сюрприз. Напугает ее или что-нибудь скажет смешное. Так всегда бывало по воскресеньям, когда они просыпались поздно и никуда не спешили. Мама умела быть лучшим в мире клоуном. Даша решила подождать и не торопить маму. Руки ее сами взбили подушку, поставили ее на ребро (набок), ушком кверху, и из подушки получилась неплохая пирамида. Под нее Даша просунула руку – получился замечательный лаз, скрытый вход.

- Мама, посмотри, как быстро можно сделать усыпальницу! Ну, мама! Мамочка!

Даша спрыгнула с кровати, подбежала к маме и схватила ее за руку. Еще не понимая, что произошло, она быстро отбросила мамину руку, сохранив на своих ладонях противный холодок. Не зная, что делать, Даша выглянула в коридор. На их этаже было пусто и тихо. Она посмотрела на безжизненно свисшую руку, и до нее мгновенно дошло, что она осталась без мамы. Даша дико завизжала. Мама продолжала спокойно лежать.

Тогда Даша в одной ночной сорочке полетела по коридору и кричала «бабушка, бабушка!», потому что маму звать было бессмысленно. Она бежала до тех пор, пока не увидела открытую дверь. Она забежала в номер – а там лежала ее мама со свесившейся к полу рукой.

Даша снова побежала по коридору – но теперь уже в обратную сторону и кричала она теперь «мама». Прямо перед ней оказался выход на лестницу. Она быстро спустилась этажом ниже и увидела перед собой усатого дядю. Это был управляющий отелем. Он что-то спрашивал ее по-французски, а девочка только трясла головой и повторяла: «Там мама, там моя мама...»

Отдыхающие разбрелись после завтрака кто куда: кто к бассейну, кто в бар, кто в город Каир. Усатый дядя взял Дашину ладошку в свою теплую руку и попытался отвести ее в номер к маме. Даша уперлась и освободила руку. «O'key», - сказал дядя. Он усадил ее на диван в своем большом номере, дал ей минеральной воды, а сам куда-то вышел.

- Мама? – спросил он, вернувшись. – Mama is dead?

- Там моя мама, - ответила девочка, у которой вылетели из головы все английские слова, которым она специально училась в спецшколе.

- O'key, - сказал дядя и погладил Дашу по голове, а потом и по спине. После этого он закрыл дверь, снял с Дашы рубашку и не спеша, вежливо изнасиловал ее.

Даше не было больно, она даже перестала плакать. Она поняла одно: мамы нет, защитить ее некому, а этот злой дядя собирался ей помочь. Что стало происходить – девочка перестала понимать. Она замолчала. А потом со страху уснула.

Проснувшись она от русской речи. Даша лежала в номере у туристов из Минска. Еще вчера мама здоровалась с ними и перебрасывалась шутками. «Как вам кофе по-арабски?» «По-белорусски крепче и вкуснее. И дешевле». «А как вам погода? Чем они здесь дышат?» «Жабрами». «Ха-ха-ха!» Они ни о чем не спрашивали девочку, только плакали и жалели ее.

Даша наотрез отказалась одеваться в свою одежду, которую принесли из номера, где она ночевала с мамой. В номер она больше ни разу не вошла и мамы больше ни разу не видела. Она попросила тетю Нину не оставлять ее одну. Но руки ей не доверяла и за руку не брала. Тетя Нина слегка обижалась, хотя виду не подавала. Через два дня они были в Минске: в консульстве, по словам тети Нины, оказались добрые дяди.

Рассказывать об усатом дяде незнакомой тете было стыдно. Все то время, пока ждали маму (Даша, не отходявшая от бабушки, не могла говорить «пока доставят тело мамы»), девочка мечтала рассказать своей маме о том, что она боится вида пирамид, звука грассирующей французской речи и что ее тошнит от сладковатого запаха одеколона, которым несло от усатого дяди. А еще ее преследовало ощущение холодной руки и не проходила боль внизу живота. Она мечтала пожаловаться маме и как следует покапризничать: зачем ты повезла меня в Египет, а сама умерла, зачем? Зачем ты не подумала о том, что может сделать со мной усатый дядя? Кто я теперь: испорченная девочка, да?

А больше она ни о чем не мечтала.

Ольга Николаевна убаюкала Дашеньку, насухо вытерла слезы и стала думать о том, как сообщить о случившемся Никите.

Мечтать она совсем не умела.

16.08.03

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

- Зачем он это сделал? – правдоискательно спросил Захар.

Уж если он задавал вопрос, то от пытливого молодого человека невозможно было отвязаться.

- Зачем бывший летчик поставил своему ученику неудовлетворительно? – уточнил я.

- Нет, зачем летчик добился того, чтобы его ученики в обязательном порядке читали «Маленького принца»? Он хотел, чтобы люди стали лучше?

- Не думаю. Скорее, он хотел подчеркнуть значимость того, что совершил он сам.

- Этот летчик действительно считал тот бой важнейшим событием своей жизни?

- Ничего более значительного в его жизни не произошло.

- Забавно.

- А что произошло в твоей жизни? Вот если бы ты сейчас писал мемуары – чем бы ты удивил мир?

Мы сидели на просторной кухне, где еще можно было ощутить сырой запах бетона, и неспешно чаевничали, можно сказать, отмечали мое новоселье. Пирожные, чай, в который мы добавляли ароматный бальзам. Одинокaя роза в керамическом горшке на подоконнике, которую я постоянно забывал поливать (в окно на кухне на уровне одиннадцатого этажа врываются тревожные закаты, которые я не люблю, вот и страдает ни в чем не повинный цветок). Чем не новоселье?

Мой собеседник, Захар Замухрыго, утверждавший, что доктор Живаго, неизвестный персонаж скучного романа, списан с его предка, явно пытался сосредоточиться.

Захар когда-то был моим студентом, любопытным и нерадивым филологом одновременно. После окончания университета он сменил десятка два профессий – от редактора желтой газетенки и экскурсовода до мастера-плиточника. Очень любил путешествовать, как всякий человек, пытающийся убежать от себя. Первое, что он оценил в моем новом жилище – неровность стен и сомнительное качество отечественной плитки. Он долго покачивал головой, то ли как неподкупный эксперт, то ли как фарфоровый китайский болванчик. Продолжительность и многозначительность покачивания, судя по всему, должны были намекать на необратимость произошедшего. Потом промычал что-то нечленораздельное, очевидно, чрезвычайно деликатное по содержанию; смысл послания, надо полагать, сводился к тому, что, дескать, не хочу расстраивать уважаемого профессора и без пяти минут счастливого отца, но стены...

Все эти раздражающие простонародные ужимки, которых я терпеть не могу, сегодня на меня не действовали. Подобные ужимки породили жанр притчи, не сомневаюсь в этом. Ведь что такое притча? Это долгое и многозначительное покачивание головой. По поводу и без оногo.

Мою жену (вторую; с первой, которая едва не добила меня своей эгоистической любовью, я давно развелся, что, безусловно, записал себе в актив) забрали в роддом, она вот-вот должна была родить. Захар зашел ко мне вернуть старый должок – толстую книгу «Маленький принц», которую он держал у себя лет пять. Тоже поступок из серии загадочных: ты либо верни вовремя, либо вообще не приноси, казалось бы. Но Захар всегда найдет, чем удивить: пять лет мы не возвращаем, но и не забываем; мы колдуем над книгой, неспешно усваиваем сакральные смыслы... Мы выше суеты, мы слышим шорох растущей травы и звон падающей звезды.

Несмотря на приступ великодушия, я не удержался и рассказал Захару историю, которую вычитал недавно в интернете. Бывший немецкий ас, летчик «Люфтваффе», после войны переквалифицировался и стал человеком исключительно мирной профессии, а именно: учителем литературы. Он буквально насаждал добро – заставлял своих учеников читать «Маленького принца» по многу раз. Однажды он, взбешенный, поставил своему нерадивому ученику низшую оценку за то, что тот не знал дату гибели Сент-Экзюпери, которую все должны были знать наизусть: 31 июля 1941 года.

Став инспектором образования в своей федеральной земле, бывший летчик активно содействовал тому, чтобы повесть-сказка с картинками автора была введена в школьную программу в качестве произведения для обязательного изучения. Это было в самом начале 1960-х, многие недоумевали, и даже оказывали сопротивление бывшему учителю литературы в его начинаниях. Преклонение инспектора перед легендарным французом и его повестью также стало легендарным.

Наконец, в своих мемуарах бывший ас раскрыл тайну: 31 июля 1941 года где-то между 22.00 и 23.00 на Лазурном берегу ему удалось подбить французский самолет-тихоход. Это был самый значительный, можно сказать, звездный час в его жизни: он сбил самого Антуана де Сент-Экзюпери. Того самого, великого автора знаменитого «Маленького принца». Вот кого он сбил. И ему хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о том, какой подвиг совершил г-н инспектор во времена своей боевой молодости. Какую глыбу завалил – вот, оцените, почитайте повесть о благородном принце...

Замухрыго надул губы и стал покачивать головой – вероятно, перебирал в уме события своей жизни, которые можно считать главными. Очевидно, выбор был велик, потому что покачивание затягивалось.

- Я посадил дерево, - наконец изрек он. Явно в стиле Маленького Принца, все понимающего не так. – Да, дерево.

- Баобаб? – уточнил я. Во всем люблю ясность.

- Нет. Клен, кажется.

- И еще ты построил дом. И обложил его плиткой. Не надо скромничать, - сказал я.

От Захара последовательно ушли три жены, превратив его спальню в проходной двор, поэтому тему сына я решил не затрагивать.

- Да, пожалуй, дома три я построил, - промолвил он после паузы (очевидно, считал: точность – это честность мыслителей) и по-утиному вытянул губы. – Вот этими руками.

С чувством юмора, как у всех склонных к серьезной задумчивости людей, у него было туговато. Ладони его, самая востребованная часть существа, были широкими и грубоватыми.

- Захар, а тебе не приходило в голову, что дерево – это всего лишь дерево? А дом – это всего лишь кирпичи, замаскированные холодной плиткой. А?

- На что ты намекаешь, профессор?

Он был единственным из моих бывших студентов, и ныне поддерживающих со мной отношения, кто позволял себе обращаться ко мне на «ты» и получать при этом некоторое «заслуженное» удовольствие. Меня и этот пустяк – «ты» свысока, откуда-то снизу – сегодня не раздражал.

- Да я не намекаю, я прямо говорю: пиломатериалы и глина не имеют отношения к жизни человека. Это не те события.

- А что имеет отношение – рождение ребенка?

На сей раз губы вытянулись в подобие горьковатой и беззащитной улыбки.

- Я скажу тебе одну парадоксальную вещь, но ты не торопись ее отвергать. И не ищи слона в удаве. Готов? Слушай. Рождение ребенка не может быть главным событием в жизни человека. Можно всю Землю утыкать деревьями и под каждое посадить младенца. Счастливее жизнь от этого не станет.

- А что же становится важнейшим событием в жизни, профессор? Скажите, - он с некоторым страхом посмотрел на меня.

Я не торопился.

- Когда человек подводит черту и начинает думать иначе, более правильно, чем он думал раньше, значит, что-то случилось. Количество перешло в качество. Произошло событие. Упала звезда. И это меняет всю его жизнь. Вопрос: что меняет жизнь человека? Ответ: качество мышления. Не дерево. И не плиточная глазурь. И не обосранные пеленки.

- Но ведь дерево – это жизнь, ребенок – это жизнь, а дом – это укрытие и сохранение жизни. Еще в Библии...

- Дерево и дом гроша ломаного не стоят без мысли. Скажи мне, зачем тебе дерево и дом, и я скажу, стоит ли тебя подпускать к саженцу.

- Но ведь сказано: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. О мысли вообще ничего не сказано...

- Это очень похоже на заповедь слепого, и потому, увы, сердобольного, дурака. Искать надо разумом.

Пока Захар независимо принимал позу будды-утки, в его глазах вновь отчетливо мелькнул страх – и он понял, что я заметил этот страх и успел верно прочесть его. Содержание страха было одинаковым у людей, которые скрывают от себя самое главное. Неужели я до сих пор жил зря? – вот что сереброзвездно мелькнуло в глазах Замухрыго.

И еще там мелькнуло нечто вроде обреченной уверенности: да, я знаю, что зря променял литературу на плитку. И теперь меня все время тянет к чему-то более высокому, чем дерево или дом.

И еще в глубине зрачков удалявшимся блеском отразилось удивление: неужели все так просто? Что-то понял – и произошло событие?

И еще: неужели я пришел к вам за этим, профессор?

«А зачем же еще? – молчал я. – Не книжку же вернуть, верно? Толстую. С маленькой повестью».

Я знал, что станет делать Захар Замухрыго дальше.

- Который час? – реализовал он первый пункт моего сценария, не откладывая дела в долгий ящик.

- Одиннадцать скоро, мы всего час сидим.

- Мне пора. Завтра вставать вместе с солнцем...

- Да, конечно. Кстати, ты обращал внимание, каким бывает небо ранним летним утром? До восхода солнца оно расписано прохладной дымчато-голубой акварелью, на которой облака застывают плоскими серо-голубыми гладышами. А закатное небо? Бледно-голубая плоть импрессионистически исполосована багрово-сиреневыми мазками, словно рубцами... Переживешь один такой закат – впечатлений на год. Окна нашей спальни обращены на восток.

Он вышел на улицу. Первым делом поднял голову вверх. Впервые за много лет увидел высокое звездное небо, которое, оказывается, давило на него своей обманчивой колючей невесомостью. Тихо стронулась с места и, спотыкаясь, покатила вниз, по невидимым ступеням, звездочка. И тут же пропала. Стало грустно. Он поежился и быстро опустил глаза под ноги. Плотно уложенная тротуарная плитка – под линейчку – приятно успокаивала глаз. Каблуки летних туфель с мягким стуком касались шершавой поверхности серых брусков.

Дальше Захар Замухрыго, можно в этом не сомневаться, посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы скрыть от себя случившееся сейчас прозрение. Он будет сажать и сажать деревья, поливать их, обмазывать штукатуркой кирпичи, заглядывать в грустные глаза бродячих собак и стараться зачать сына. Бессознательно выполнять программу своего пребывания на Земле. Жить чтобы выживать, а не с целью познавать себя. Для того, кто не способен мыслить, время тянется медленно, и он устанет жить.

А на пенсии в ненаписанных мемуарах, заброшенных на самую пыльную полку в самый дальний уголок души, он тихо признается сам себе в том, что в его жизни был один час, целый час, проведенный за чаем с уверенным в себе профессором, которого он со страху называл на «ты».

Ибо: все остальное в его жизни окажется пустым: будничным, незаметным, бессмысленным. Как небо без звезд.

Вот почему сын Захара, Антон, изо дня в день будет слушать утомительные истории своего впадающего в старческий маразм отца об одном и том же: «Зашел я однажды к профессору вернуть ему книжку «Маленький принц» французского летчика Сент-Экзюпери, который сбивал фашистов над Ла-Маншем... А у профессора в квартире стены неровные, плитка выложена коряво, пол кривой...»

Последнее, кстати, неверно: ровный пол с подогревом, на который так приятно становиться босыми ногами, будет радовать меня и моего маленького сына долгие годы, которые пролетят быстро.

Я сидел на кухне, смотрел в темное небо и испытывал приятную тяжесть на душе, которая обычно наваливается на меня после очередного доброго поступка. Мне сладко было сознавать, что я удержался от соблазна и не рассказал Замухрыго продолжения истории о немецком асе-учителе.

После выхода мемуаров ему любезно сообщили, что он может снять, наконец, тяжесть с души: самолет де Сент-Экса нашли на дне морском, и достоверно установлено, что самолет этот никто не сбивал. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что это было самоубийство. Перед роковым полетом граф (кстати, бездарный летчик, сбить такого – все равно что устроить избиение младенца) раздал все свои рукописи, любимые вещи – и полетел, якобы, к звездам, а на самом деле – спикировал вниз.

«Маленький принц» был написан также незадолго до самоубийства. Сказку, в известном смысле, можно трактовать как предсмертную записку. В ней намеки.

Узнав об этом, ас пошел и утопился: спрыгнул с самого высокого моста в городе.

Спустя несколько лет я получил письмо от Замухрыго.

«Не хотел Вас огорчать, профессор, но правда жизни такова. Немецкий ас...»

И он описал все то, что я от него утаил.

Из письма я узнал также о том, что он растит дочь, читает ей сказки на ночь. Добрые. Для детей.

О «Маленьком принце» в письме не было ни слова.

07.06.2011

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Письмо Очень Рассерженной Читательницы (ОРЧ)

В редакцию «Умной Газеты» (далее – УГ; не путать с ЛГ, СБ, БГ. А также с безобразным журналом «Playboy», РВ).

Копия – во все заинтересованные инстанции (список которых прилагается; кстати, неприятным сюрпризом стала для меня такая новость: оказывается, у нас отсутствует ответственный орган моральной цензуры, который следовало бы назвать «Государственный Комитет надзора за неблагонадёжной профессурой, разболтавшей и крамольно мыслящей», а сокращённо – ГКНП; можно короче – ГН; просто «Г» нельзя, потому что непонятно).

Меня до глубины души возмутила тлетворная статья профессора Анатолия Андреева «Люди-на-Болоте», в которой оскорбляются мои национальные чувства. А также чувство собственного достоинства, которое всегда при мне.

Прежде чем взяться за перо, я перечитала его скабрёзный опус «Лёгкий мужской роман», и он вновь потряс меня низким художественным качеством. Даже «Playboy» смотрится рядом с этим, с позволения сказать, романом как невинные порнографические картинки. Даже порносайты предпочтительнее. Потом ещё раз зачем-то перечитала его статью и поняла, что, задетая за живое, не могу молчать. Меня так и распирает. Так и до инфаркта можно дочитать, если всё в себе держать.

Сначала несколько слов о себе. Моя пра-, а возможно, и ещё раз прабабушка, мир её праху, урождённая Евфросинья Августовна Синяк, дворовой босоногой девушкой прислуживала в белоснежных садах Радзивилла (тогда климат был другим, и сады цвели на две недели дольше). Думаю, сейчас об этом можно сказать вслух всему миру: я очень подозреваю, что отцом прабабушки стал сам ясновельможный пан Радзивилл. Судите сами: не ветром же ей надуло, а о прадедушке не сохранилось никаких сведений, словно его вообще не было (отсутствие мужчины в деле беременности женщины, скажем прямо, невозможно, ибо противоестественно). Не случайно Евфросинья Августовна всю жизнь прожила в дер. Кухтичи (что на Узденщине), ох, не случайно рядом с тем местом, где располагался панский маёнтак (нынче сохранился только фундамент некогда роскошного дворцового ансамбля, сам ансамбль по кирпичикам бережно разобрали рачительные и трудолюбивые крестьяне, воспетые в поэме уроженца тех мест Я. Коласа «Мой родны кут»; кстати, первые туалеты из кирпича на Беларуси появились именно в тех местах). Я нет-нет, да и чувствую в себе нервную пульсацию голубой крови (не это ли послужило причиной трёх моих разводов отнюдь не по моей вине, а по вине мужчин, забывших, что такое рыцарство и честь?).

Отсюда два вывода. Первый: когда я слышу имя благоверной заступницы Евфросиньи, меня по понятным причинам охватывает священный и несколько шляхетский трепет: я ведь родом от Евфросиньи.

Второе: ничто так не ранило меня в жизни, как непочтительный отзыв спадара (в переводе на русский – господина) Андреева о Евфросинье Полоцкой (который я приведу ниже). Это глубоко оскорбило мои религиозные чувства.

Отец мой воевал за нашу Родину, СССР, вероломно разваленную затем буржуйскими прихлебателями. Он имеет три ордена и медаль «За оборону Сталинграда». После войны работал кинологом в Челябинске, дрессировал собак, которые помогали охранять заключенных на Колыме. (А тут уже Солженицын со своим «ГУЛАГом» неправ, ой, неправ! Об этом я напишу в следующий раз.)

Сколько себя помню, всё время работала заведующей детским садиком № 13, так сказать, всю жизнь, вплоть до заслуженного выхода на пенсию, подтирала попу нашему будущему. Отсюда моё неравнодушие к вопросам воспитания.

И, наконец, последнее о себе: моя тётя по отцу Арина Бекбулатовна пережила голодную блокаду Ленинграда. И сейчас ещё жива, потому что любит сидеть на диете.

Прежде всего, хочу заметить: «люди на болоте» – это не Андреев придумал, как кому-то могло показаться, это он у нашего классика приватизировал, и пользуется своим «открытием» так, как будто до него этого никто не знал. Какой-то великодержавный шовинизм. Кто не знает: говорим Белоруссия – подразумеваем болото, страну девственно чистой природы. Наши болота – это лёгкие Европы, между прочим.

Вот сп. (сокращённо от «спадар», для экономии места: время сейчас быстрое, динамичное, поэтому всё сокращаем) Анатолий (он же Андреев) в своей статье, полемизируя с Лявоном Вороновичем, настоящим белорусским патриотом, пишет:

«Для меня давно уже не новость и не секрет тот факт, что масса безликих людей, имеющих профессиональное отношение к литературе, литераторов и литературоведов всех мастей, мыслят, мягко говоря, оригинально: у них получается мыслить не думая. Известная технология умников, крепких задним умом, – «сначала сказал, а затем подумал» – здесь уже не срабатывает; в данном случае актуализируется логика, которой могли бы позавидовать все блондинки мира и которая в переводе на язык, русский или белорусский, звучит следующим образом: не могли бы вы объяснить мне, что я сказал, когда хотел «как лучше»? Тут уже даже задний ум становится недостижимым высшим разумом».

Не знаю, что он хотел сказать, но я ни слова не поняла. Мне даже не обидно. Это я комментировать не буду.

А вот это буду:

«С каких это пор природа, по словам Л. Вороновича, «сама рэгулюе працэс чалавечага, у тым ліку і нацыянальнага развіцця»? Национального – в определенном смысле, в смысле этнических характеристик – да; но не культурного. Здесь природа отдыхает. Не надо путать божий дар с яичницей, натуру – с культурой. А то получится, что природа непосредственно будет

определять художественные параметры литературы. Если это так, то «национальному человеку» не нужна культура и, естественно, русский язык как носитель культуры. Сама культура в этом контексте становится «другаснай», а национальный код, этническое, «інстынкт нацыянальнага самазахавання» (мазохистский какой-то инстинкт в интерпретации Вороновича: не доведет он до добра) приобретают угрожающие черты «першасных», главных человеческих качеств. Вы плохи уж тем, «ўсяго толькі таму, што ў Беларусі вы пішаце *па-руску*». Тут уже до «чистоты расы» рукой подать. Назад, в будущее.

Если культура все же обладает автономной значимостью (понятие «высшие культурные ценности» пока еще никто не отменял), то белорусская литература, равно как и любая другая литература мира, ценна не столько тем, что она белорусская (или какая-либо иная), сколько тем, что она литература, продукт культуры. Глупо отрицать известную самооценку национального; но еще глупее абсолютизировать национальное. По корявым лекалам Вороновича получается, что литература – это всего лишь национальный признак, словно цвет кожи или волос. Белорусская литература хороша уж тем, что культура ей не указ; и я, Л.В., к ней принадлежу, а вы – увы, и потому, друзья «литераторы», как ни пишете «*па-руску*», обречены создавать плохую литературу. Плохо – значит, «*па-руску*» (читай – по-вражески).

Чем не кодекс литературного скинхедика?

Национальный код – национальный инстинкт – национальная литература. Литература как натурпродукт легко и просто становится культурной ценностью. Вот такая круговая оборона (она же – порочный круг). Это что-то новенькое в конной авиации. Интересно, участвует ли в создании литературных шедевров печень? За отсутствием головы – самый литературный орган. Во всяком случае, возникает впечатление, что спадар Воронович мыслит печенью больше, нежели головой».

Я хочу сказать, что мыслить печенью нельзя: это глубокое заблуждение. Мой дядя по отцу Карп Гордеич гордился размерами своей печени. Бывало, он говорил врачу (когда К.Г. доставляли в вытрезвитель): «Док, вы не думайте, это я вам не язык показываю; это у меня печень изо рта торчит». Шутник был, царство ему небесное. Так вот, печень у него была большая, а сам – дурак-дураком.

Много спорного, и даже оскорбительного написал сп. Андреев. «Природа отдыхает», - намекает он. Природа никогда не отдыхает. Никогда! Даже зимой, когда всё под снегом. А природа у нас в Беларуси замечательная, и нам есть чем гордиться. Реки, голубые озёра – это наше богатство. А также леса. Зелёные. И болота.

На самом деле озёра – серо-зелёные, а не голубые; они больше похожи на болота, чем на небо. Я люблю правду. Но писатели всегда пишут голубые, т.е. блакитные. И в этом что-то есть: серыми озёрами гордиться как-то неловко, а вот от голубых прямо плакать хочется.

«Конная авиация» меня просто насмешила: авиация не бывает конной! Кони же не летают, верно. Может, он имел в виду, что они пегасы? С ума сойти. Пишет, пишет – ничего не понятно; а как только что-нибудь внятное скажет, я

напополам от смеха. Ох, не доверяю я этим умным людям. Не умеют они разговаривать с народом.

Белоруссией я горжусь. Я бы сказала без обиняков: «Парадаксальна, што руская мова, якая цяпер праз збег розных акалічнасцей, з'яўляецца ў Беларусі першаснай і асноўнай мовай зносін у грамадстве, да гэтай пары так і застаецца другаснай мовай у беларускай літаратуры... Усё-ткі нацыянальны код у падсвядомасці пераважнай большасці народа захоўваецца, няхай нават і на ўзроўні падсвядомай (архіўна-музейнай) спадчыннай каштоўнасці. Таму нацыянальная літаратура (традыцыя, культура, творчасць агулам) **мела, мае і будзе мець** прыярытэт у народзе. Інстынкт нацыянальнага самазахавання перасіліць рэфлексіі самавынішчэння. І як вы, спадар Андрэеў, не назавіцеся – беларускім рускамоўным літаратарам ці рускім літаратарам Беларусі – вы ўсё адно будзеце у гэтай дзяржаве і ў гэтага чытача *другасным* літаратарам. Не таму, што вы пішаце з мастацкага погляду горш ці лепш, і нават не таму, што вы пішаце на тэму беларушчыны, Браншчыны ці славянафільшчыны, а ўсяго толькі таму, што ў Беларусі вы пішаце *па-руску*. Па-руску беларускі чалавек можа без праблем пачытаць і сапраўдных этнічных расійскіх літаратараў. Так склалася. Прырода сама рэгулюе працэс чалавечага, у тым ліку і нацыянальнага развіцця».

Короче говоря, я чувствую себя оскорблённой в национальных чувствах. И точка. Имею право.

А теперь по поводу Евфросиньи. Как-то Андреев, будучи в Полоцке, возмутился (дело было в ресторане): как можно гордиться Е.П. (Евфросиньей Полоцкой)! Несмысленным подростком она ушла в монастырь, жизни не ведала, людей не понимала, женщиной толком так и не стала – и взялась учить людей, как жить. Спрашивается, где она набиралась уму-разуму, прячасть от жизни за толстыми стенами монастыря?

Ну, не знаю... Если умные, интеллигентные люди позволяют себе такое!

Это оскорбляет мои религиозные чувства.

Да, возможно, Е.П. не знала мужчин. Так это только в плюс. Чему хорошему могут научить мужчины? Мой второй был наркоманом, всё из дому выносил. Эх, вспоминать не хочется. Уж я-то жизнь знаю, могу такое рассказать...

Ладно, вернёмся к Андрееву. Он пишет: «Воронович – этот тот самый «беларускі чалавек», который так спрятался за «национальное» и «народ», что, кажется, невозможно догадаться, что сделал он это из самых гнусных побуждений. Но ушики-то глупости, и немалые, торчат; а по ушам, как известно, узнают «родавыя гены» счастливого обладателя этих самых «першасных якасцяў».

Неправда. Ложь. Не соответствует действительности. У Вороновича (которого я называю просто: Рыгоравич!) маленькие ушики, аккуратные, и они вовсе не торчат.

Воронович честно (так воспитан) признаётся: «Я, да прыкладу, філфакаў не канчаў, і што ж, як след не разумею значнасці таго, што піша і кажа спадар А.А.? Яшчэ як разумею!»

Всем известно: для того, чтобы стать писателем, вовсе не обязательно получать специальное филологическое образование. Толстой и Достоевский тоже не учились на филфаках. Это же аксиома. Что же возражает Андреев?

«Ответ неверный. Правильным является следующий ответ: живущий «по инстинкту», по чувству и наитию, ничего не понимает ни в том, что пишут писатели, ни даже в том, что пишет он сам. Обучают каверзам диалектического мышления, кстати, на филфаках.

Ключевые слова в потрясающей автохарактеристике не «разумею», и даже не «пра сябе», как могло бы показаться; ключевые слова здесь «я філфакаў не канчаў». Просто самородок, подарок какой-то для белорусской литературы. Троянский конь Воронович в кепчонке, не обремененный филфаковским образованием. Чем-то смутно напоминает образ сурового челябинского мужчины. Впрочем, сравнение с мужчиной некорректно. Челябинск – это Россия».

Клевета. Воронович не носит кепчонки с прошлой весны. Она ему не идёт. А то, что он не снимал её лет десять, так это была часть имиджа. Дескать, свой, из народа. Наш. Ваш. А вот обозвать человека «конём» – просто неприлично. Типа «конь в пальто». Обидно вдвойне. Это уже переход на личность.

Я жду ответа, а если что, то и дальше буду бить во все колокола.

P.S. Пока писала «письмо рассерженной читательницы», выяснилось, к сожалению, что статья А. Андреева называется «Русская литература Беларуси», а приведённые в моей статье цитаты принадлежат вовсе не Андрееву, а какому-то Петрову (которого Воронович всегда считал Ивановым; а вот и нет, оказался Петров), который никакой статьи не писал, а изложил всё свои злобные инсинуации в частной беседе и ещё в какой-то книге с глупым названием «Болотная правда». (Это всё известный письменник Л.В., борец за чистоту наших рядов, перепутал от волнения: Рыгоравич давно добивается моего внимания, потому и материалы поставлял, и консультировал одновременно. А забавный дядька! Столько всего знает!)

И это естественно: не мог Андреев написать столь остро и злободневно. Узко мыслит. А Петров, который показался нам Ивановым, вообще бездарь, о котором и писать не стоит.

Андреев, Петров, Иванов... Какая разница? Чемодан, вокзал, Россия. В связи с этим считаю, что моя статья не утратила актуальности, а, напротив, только её приобрела.

Предлагаю напечатать статью без постскриптума, а постскрипту под названием «Опровержение» (с некоторыми сокращениями и дополнениями – в приличном виде) дать в следующем номере. Это будет «опровержение», которого никто, конечно, не заметит. Андреев получит по заслугам, общественное мнение взбудоражится, УГ прозвучит, и я не останусь в тени; да и Андреев будет не в обиде – я ему такой пиар устроила! Как говорится, каждый останется при своих. Идёт?

С уважением,

ОРЧ (Очень Рассерженная Читательница или Ольга Родионовна Чалей),
руководитель клуба бодрых и нестигаемых пенсионеров «Старость меня дома
не застанет», неисправимых романтиков и патриотов.

Февраль 2010

ДИАЛОГ

1

- Профессор Разумнов?

- Да, да, слушаю вас.

- Вас беспокоит общественное объединение «Диалог Восток – Запад». Директор Артур Безмозгис. Имею честь пригласить Вас принять участие в работе круглого стола «Интеллектуалы и общество».

Мне нужно было время, чтобы справиться с иронией судьбы: Безмозгис. От Безмозгиса – Разумнову. Чтобы найти подходящий повод рассмеяться в трубку, не обидев собеседника, я стал задавать вопросы.

- А кто будет еще?

- Философы, писатели, общественные деятели. Все будет весьма представительно и солидно. Компания не разочарует Вас, я надеюсь.

- Так, так, - улыбнулся я. - И что мы будем обсуждать?

- Толерантность.

Вот тут я рассмеялся, рискуя быть уличенным в неpolitкорректности. Безмозгис, толерантность, интеллектуалы – сил моих больше не было.

- Что Вас так развеселило, профессор Разумнов?

- Да что меня развеселило? Ничто, - ответил я и сложился от смеха напополам.

- Так Вы примете участие в работе круглого стола?

- Приму, приму, - я сделал вид, что закашлялся. – Где и когда?

Согласие мое было формой извинения: рассмеяться и потом отказаться – это было бы слишком большим испытанием для толерантности г. Безмозгиса.

2

Круглый стол, посвященный толерантности, превратился в настоящее побоище.

Вначале представитель древней персидской культуры, большой интеллектуал, заявил, что мусульмане несут ответственность за арабское нашествие, которое поставило крест на древнейшей культуре мира (имелось в виду – персидской).

- Знают ли сидящие за столом уважаемые христиане, что представляет из себя ислам? – блистал глазами перс, удивительно напомилавший образцового мусульманина. – Это очень агрессивная и негуманная религия. Вы в Тегеране не имеете права пересечь мусульманский квартал, если вы представитель иного вероисповедания, например, христианин. Или, не дай Бог, иудей. Вы должны сесть на корточки и сидеть – не ступая ногой на священную мусульманскую территорию. Или верхом на осле переехать священную мусульманскую территорию. В противном случае вас могут забить камнями как грязную тварь, как того, кто умышленно осквернил священную мусульманскую территорию. Это их закон. Как с ними можно выстраивать диалог? Это очень агрессивная и негуманная религия.

Представитель мусульман, тоже философ, стал отчего-то пылко рассуждать о Бен Ладене. Из его рассуждений следовало, что шейх Усама Бен Ладен исчез десять лет тому назад, еще в сентябре 2001 года. Сразу после террористической атаки на башни Всемирного торгового центра. Кто совершил эти атаки? Мусульмане? Это не доказано. Зато доказано, что башни рухнули не из-за того, что в них врезались самолеты, а из-за того, что под них заложены были бомбы. При чем здесь мусульмане? Америке нужна была нефть и образ врага, вот они с Израилем и придумали образ мусульманина-террориста. И все списали на Бен Ладена.

- Как же этот так? – от имени всех христиан недоуменно развел руками бородатый православный, явно писатель. – Кто же тогда взорвал башни центра?

- Как это кто? Известно, кто. Сами американцы и взорвали. Не надо быть такими наивными.

Перс перехватил слово и заметил, что от американцев можно ждать чего угодно. Они уничтожают культуру по всему миру. Им хочется унижить древнюю персидскую культуру. Они вполне могли сами взорвать башни Всемирного торгового центра. Северную и Южную. Вполне.

Обстановка накалялась, все начинали горячиться. Ведущий, Артур Безмозгис, решил напомнить уважаемым коллегам, что тема, которая их объединяет за круглым столом, – это толерантность.

Представительница Беларуси горячо его поддержала и стала доказывать всем присутствующим, что Евфросинья Полоцкая есть хранительница земли белорусской. И она, Евфросинья, была очень толерантной.

Перс и тут нашел что возразить, ссылаясь на игривые вирши Омара Хаёма, однако за Евфросинью было кому вступить.

- Дайте женщине сказать слово! – кричала белоруска, встряхивая смоляной косой.

- Вы хотите сказать, что Евфросинья из Полоцка несла в мир толерантность? – с надеждой спросил ведущий.

Ответ прозвучал с другой стороны стола.

- Самым толерантным был Пророк Мухаммед. Толерантность – его второе имя. Миссия мусульман – объединить все религии мира. Все, без исключения!

- Разве можно сравнить Мохаммеда с толерантностью распятого Христа? Это смешно!

- А Будда, Будда! Это же сама толерантность!

- Надо говорить иудео-христианская цивилизация! Иудео!

- Профессор Разумнов, господин Разумнов! Слово предоставляется Вам! Скажите хоть что-нибудь, ради Бога!

Я солидно взял паузу, и это успокоило присутствующих. Бесстрастностью я напоминал Будду, подражающего Яхве, величавостью – пророка Мохаммеда, хотя в душе я кипятился, словно нелепо распинаемый Христос.

- Господа! – начал я с хрипотцой. – Все наши разногласия суть разногласия религиозные. Не кажется ли вам, что именно религиозное сознание не позволяет нам быть толерантными?

Перс фыркнул, мусульманин презрительно махнул рукой у себя перед глазами, православный ехидно ухмыльнулся, еврей покачивал головой, дескать, профессора занесло, ой, занесло.

- Единственная вера, с которой у нас не получается диалога, так это атеисты, - деликатно произнес мусульманин.

Все одобрительно закивали головами.

Перс понял так, что атеисты – это секта, и вновь гневно обрушился на Америку, клеймя отчего-то мормонов.

Странно: на сей его слушали без возражений. После его энергичного спича все недружелюбно посмотрели в мою сторону, словно я и был Главный мормон, ответственный за уничтожение древней персидской культуры, а также по роковому совпадению личный враг Омара Хаёма.

В эту минуту, удивительно тонко прочувствовав момент, слово взял ведущий.

- Так смотрим ли мы с надеждой в завтра? – промурлыкал Безмозгис.

- Да! – дружно сказали все.

- Мир и доверие?

- Да! – сказали все.

И вновь закивали головами.

3

Я вышел из-за круглого стола одним из последних.

Безмозгис приветствовал меня с большим почтением, чем весьма меня озадачил.

- Благодаря Вам, профессор Разумнов, дискуссия приняла конструктивное направление.

- Вы полагаете, я этому способствовал?

- А как же? Вы сумели объединить усилия коллег. Скажу вам по секрету, они относятся к Вам с большим уважением. Я Вам очень, очень благодарен!

Этим секретом Безмозгис окончательно сбил меня с толку.

Мне стало не по себе.

- А чего же ты хочешь? – по привычке задал я сам себе вопрос. – Ты изволил, как медведь к диким пчелам, влезть в их липкое коллективное бессознательное. Ты, человек, уважающий в себе личность, стал спорить с людьми, уважающими способность презирать в себе личность. На что ты рассчитывал?

- Ну, хотя бы на то, что представители древних культур оценят забавность ситуации, - отозвалась во мне часть существа, уязвленная вопросом.

- Все шутки шутишь. А тут не до шуток. В чем ты видишь забавность?

- В том, например, что собрались семь мужиков, одна девушка и один Безмозгис, и стали спорить, кто правильнее всех живет на Земле. Кому на Земле жить хорошо? Выяснили: всем, кроме тех, кто взял на себя смелость и ответственность думать головой. Не забавно?

- Обхохочешься. Давно уже не смешно. С их точки зрения, если ты не веришь – то ты вне культуры. Ты шайтан, изгой и антихрист в одном лице. Кого-то еще забыл. Смешно?

- А ей-богу смешно!
- Ну, и дурень, в таком случае. Хорошо смеется тот, кто смеется...
- Без последствий.
- Вот именно. С работы завтра уволят. Ты забыл, что ректор – рьяный христианин? Завтра в университете его молитвами открывают богословский факультет, а ты – «религиозное сознание не позволяет нам быть толерантными».
- Что же мне теперь, не думать совсем? Я же все-таки профессор. У меня научный склад ума. Я культуролог. Я понимаю, что толерантность – категория, сотворенная умом. Людям кажется, что объединяют их чувства; на самом деле чувства их разъединяют, на самом деле их может объединить только разум! Благие намерения ведут в ад, в пекло – в сторону, противоположную толерантности.
- Возможно, ты и прав; но только обрати внимание: все верующие тут же, не сговариваясь, стали дружить против тебя.
- И что это доказывает?
- Только то, что свое будущее они видят без разума.
- Но это же катастрофа! Как же торелан..., тьфу ты, как же мир на Земле наступит без разума? Мир, гармония, и разум – это братья и сестры, можно сказать – близнецы. А чувства, вера – это, если говорить на языке приближенных к Богу, – от дьявола! От демона! От шайтана! От Азазеля, черт бы его побрал! Чувства даны человеку, чтобы погубить его, если они не дружат с разумом!
- Да тише ты! Чего раскричался, как будто ты живешь на планете вменяемых? Тебе же с ними жить, с этими, которые разум презирают. Как ты собираешься сосуществовать с ними?
- Толерантно.
- То есть? Поясните свою мысль.
- Я презираю их, они презирают меня; умение скрывать презрение и называется толерантность.
- Забавно. А дальше?
- Что значит – дальше? Куда уже – дальше? Живем же толерантно в течение веков и тысячелетий.
- Да вы оптимист, профессор, как я погляжу со стороны.
- Да, я такой.
- Ну-ну. Только не кричите. Язык не показывайте почтенной публике. Не размахивайте руками. Вообще, ведите себя прилично, как подобает человеку древней культуры. Всего наилучшего.
- И вам не хворать, толерантный вы наш.
- Я улыбнулся, стряхнул задумчивость – и обнаружил себя, сидящим на краешке скамейки в парке. Припекало солнце – очень-очень древняя звезда. Рядом со мной что-то горячо обсуждали молодые мамы.
- Нет, нет, Мария, ты не права! – твердила полноватая в веснушках женщина с румянцем во все щеки.

- А я тебе говорю – только мольбой и постом. Вот хоть ты меня режь! – стояла на своем ее подруга, высокая и худая.

- Мама! Танька меня бьет! – к веснушчатой подбежала полноватая румяная дочка, рыжеватая, вся в маму.

Рядом тут же возникла Танька, дочь высокой и худой, копия мамы в детстве, можно не сомневаться.

- Светка первая начала! – было видно, что Танька из тех, кто никогда не сдается.

У девчонок горели глаза, смотреть на них было одно удовольствие.

- Дети! Надо жить дружно! Сколько раз можно повторять одно и то же? – в один голос воскликнули мамы.

- Ладно! – сказали Танька и Светка и отошли в сторону, на всякий случай надувая губки.

Перемирие длилось целую минуту. За это время Мария доходчиво объяснила своей подруге, что лучшая диета – это пост. Добродушная, казалось бы, мягкотелая пышка категорически возражала.

Потом Танька показала Светке язык. Светка ответила тем же.

- Давай на качели? Чур, я первая! – заверещала Танька.

- Нет, я первая! – эхом отозвалась Светка.

- Нет, я!

- Нет, я!

- Мама!

- Мама!

Все это напомнило мне недавний круглый стол.

Забавно.

4

На следующее утро в ведущей республиканской Газете была опубликована весьма пространная статейка с броским заголовком: «Давайте жить дружно!»

Я прочитал ее. Вот ее краткое содержание, если угодно.

Вчера общественное объединение «Диалог Восток – Запад» (директор А. Безмозгис) организовало работу круглого стола «Интеллектуалы и общество». Собрались лучшие интеллектуальные силы... философы, писатели, общественные деятели... в том числе профессор Разумнов... элита общества... с надеждой смотрим в завтра... мир и доверие... толерантность... возьмемся за руки, друзья!

И подпись: Артур Безмозгис.

Было не смешно.

4 декабря 2011

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ П. П. Рождественский рассказ

Homo homini deus est.

1

За окном сыпал рождественский снежок.

Душа привычно настраивалась на светлый праздник. Впереди было Рождество, а затем Новый год. При желании праздники можно было поменять местами: сначала встретить Новый год, а затем плавно вкатиться в Рождество.

Мама у Фома была православная, а отец – правоверный католик (перенявший традицию веры от своей мамы; отец же отца был безвольным православным). В Беларуси такое не редкость. Почти в каждом городе, городке или крупном населенном пункте на главной площади, напротив друг друга, располагаются православные и католические храмы, – стоят, вросшие в землю, подчеркнуто мирно, однако подбоченься. Родители вместе посещали церковь и костел, где каждый молился одному и тому же Сыну Божию, одинаково распятому, преданному одними и теми же людьми, путаясь, отчего-то, в дате его рождения. Неужели так сложно узнать, до Нового года Он родился или уже после? Любопытный Фома неоднократно пытался прояснить это туманное обстоятельство, но всегда получал одни и те же уверенные наставления и от родителей, и от ксендзов, и от православных священников: больше молись и меньше спрашивай.

И Фома молился. Поочередно. Сначала с мамой, потом с папой. Но вопрос о Его рождении не замаливался.

С раннего детства Фома млел от малопонятных, но таинственно-торжественных православных обрядов, переживая которые хотелось размашисто и неторопливо налагать на себя кресты справа налево; мать, Мария Павловна, с умилением смотрела на послушного отпрыска и с глубоким вздохом смахивала счастливую слезу.

Однако под строгим взглядом отца, Адама Павловича, мальчик начинал мелко креститься слева направо, переключаясь в другую душевную тональность: католический Бог казался суровее и проще. Православного Бога, казалось, легче обмануть, поэтому в церкви Фома чувствовал себя как дома: смотрел ясными глазами, доверчиво и преданно (сомневаясь при этом во всем сколько душе угодно). Бог католический казался всевидящим и брезгливо-неподкупным, вот почему Фома опускал глаза, горбил плечи и крестился быстро и невнятно, изображая покорность, которую, как ему казалось, прежде всего ждут от него Бог, и даже сами кирпичные стены костела.

Монотонные напевы хилого, охрипшего органа навевали на отрока холодную грусть; жиденькие православные песнопения (народу в храме было много, а поющих было мало) вселяли – через ритуальную грусть – бодрость духа.

До поры до времени все шло как нельзя лучше: Фома приспособился жить на два духовных дома, и душа-христианка чувствовала себя в своей стихии и там, и там.

Но пришло время первого выбора: кем быть?

От Фомы все ждали веры, набожности, и Фома не обманывал их ожидания. Он верил настолько правильно, неподкупно и вместе с тем деликатно, что никто бы не удивился, если бы он избрал веру своей душевной специализацией, то бишь профессией. Только вот какую веру?

И тут Фома удивил всех, избрав специальностью своей историю. И родители молча склонили головы: во-первых, на то воля Божия; во-вторых, их сын хоть и оставался субъектом невоцерковленным, человеком светским, имел, однако же, непосредственное отношение к истории культуры, стало быть, к истории религии. Он не уходил от Бога, а приближался к Нему своим путем – и это было главное.

История возникновения и развития христианства отчего-то (и понятно, отчего!) исключительно увлекла молодого кандидата наук.

На Фому по-прежнему возлагали надежды, от него ждали чего-то особенного.

Могло показаться странным или нескромным, но Фома прежде всех ждал от себя чего-то из ряда вон.

И, кажется, дождался.

2

За окном сыпал редкий рождественский снежок.

В углу комнаты стояла нарядная рождественская ёлка – недавно срубленная в лесу, не искусственная. В комнате пахло, как тогда – живым древесным духом.

На душе у Фомы царили долгожданные – выстраданные – мир и покой.

Именно в этот момент в гости к Фоме заглянул некто Петр, бывший однокурсник, человек с давно и безнадежно испорченной репутацией атеиста, безбожника и богохульника. Мария Павловна его не жаловала, в чем ее энергично поддерживал толерантный Адам Павлович.

Странно, однако сам Фома так и не сумел разглядеть в своем добром приятеле черт существа злобного, коварного или закомплексованного; напротив, тот был простодушен и порядочен, что не мешало ему быть принципиальным. Иногда – до жестокости. Но он был добрым. Фома верил Петру.

Приятели никогда не признавались в этом друг другу, но безусловно чувствовали: их тянуло друг к другу. С самого первого курса.

- Вот скажи мне, - заговорил Петр, касаясь рукой рождественской звезды, напоминавшей распятого осьминога, - не кажется ли тебе, что в проповедях своих Иисус Христос из Назарета не столько поучает, сколько... Не кажется ли тебе, что проповеди его являются формой раскаяния, покаяния, проявления чувства вины? В них просматривается вот эта подоплека: активно выступает против грехов тот, кто в них сам запутался.

- К чему ты клонишь?

- Я не клоню; я размышляю.

- К чему клонятся твои размышления?

- Если тридцатитрехлетний человек мужского полу раскаивается, следовательно, у него были на то причины.

- Это фантазии атеистов всех времен и народов. Ничего нового. Голая психология. Вам всем отчего-то не дает спокойно спать тихий и смирный Сын Божий. Чего вы все от него хотите? Зачем вам непременно надо его скомпрометировать?

- Вот тебе сколько лет? Тебе тридцать два года. И ты прекрасно знаешь, что человек становится хорошим только тогда, лишь тогда он добреет, говорю я, когда изживет в себе зло, когда пострадает, перемучается. Похаркает кровью всласть. Сначала мы совершаем плохие и очень плохие поступки, по глупости своей, конечно, – и только потом, искупив вину, мы становимся лучше, то есть, умнее. Разве не так?

- Ты намекаешь на мои отношения с Мадонной?

- Боже меня упаси от такой бестактности; это, извини, на тебе шапка горит, я тебя за язык не тянул. Я говорю о вечном сюжете добро победит зло.

- Ты сказал, что я прекрасно усвоил логику совершенствования человека: не согрешишь – не покаешься. А мой грех тебе известен: это мои отношения с Мадонной. Мой крест. Следовательно, ты вольно или невольно ткнул меня в самое больное место.

- В таком случае – невольно; бессознательного во мне не меньше, чем у Христа.

- Это извинения или очередная шпилька?

- Право, не могу сказать. Не знаю. Я всего лишь человек. Как и господин И. Христос. А мы, люди, часто не ведаем, что творим.

- В данном случае ты, как бы это выразиться по деликатнее, ведешь себя как свинья. Практически, как Иуда.

- От Дисмаса слышу. Впрочем, вам с Христом виднее.

- Зачем ты затеял разговор о... о Сыне Божьем? Что бы ты там себе ни надумал, у тебя нет, слышишь, и никогда не будет доказательств. К чему эти недостойные эскапады, эта мелкая, низкая ересь?

- Но у меня есть доказательства.

- Доказательства чего?

- Доказательства человечности Христа – то есть, доказательства того, что он был всего лишь слабым человеком, как ты, да я. Христос не был христианином. Он вообще не был выдающейся личностью. Его вообще не было...

- Старая песня. Откуда у тебя могут быть эти доказательства? Ты что, свечку держал, когда Иисус с Понтием Пилатом разговаривал?

- Вот тут ты в точку, Адамыч. Свечку не свечку, но кое-что я в руках действительно держал. Не далее как сегодня утром. После чего решил тебя навестить. Я к тебе, можно сказать, с историческим визитом. Как историк к историку.

- Шел Иса к Мусе...

- Ну, примерно так. По моей версии – Публий к Пилату.

- Откуда у тебя доказательства, Петр Платоныч?

- А ветром надуло, брат. Ветром истории, в данном случае. Такое же чудо, как непорочное зачатие. Разве ты отрицаешь чудеса?

- Смотря какие.

- Вот именно – смотря какие. Те, что укрепляют твою веру, ты приветствуешь; те, что разоблачают ее, ты в упор не замечаешь. Нехорошо, брат, получается.

- Давай ближе к делу.

- Давай. Встрепенись и внимай.

3

За окном размеренно сыпал редкий рождественский снежок.

Петр по фамилии Своевременный (за которую немало пострадал в студенчестве; было искушение поменять ее на фамилию матери, урожденную Мишуркину, однако Петр устоял, принял свою судьбу, как подобает мужу просвещенному) рассказал удивительную историю. Прямо-таки библейскую.

Некто N., ученый-богослов, классик схоластики, давно, еще в XIII веке, случайно нашел рукопись, которую сначала принял за подделку. Это было «Евангелие от П.П.». Поскольку различных Евангелий в ту пору расплодилось великое множество, и сам жанр евангелия стал необычайно популярным, следовательно, склонным к ереси, наш богослов весьма скептически отнесся к очередному Евангелию, да еще от автора, неуклюже скрывшегося за дуплетом глухих губных, похожему на фыркание, – П.П. Рукопись долгое время провалялась в монастыре N., принадлежащему монашескому ордену, на полке, в келье настоятеля, который в силу своего авторитета выступил главным экспертом на предмет подлинности сомнительного документа; осенив себя крестным знаменем, он развернул рукопись, чихнул, – и по прочтении нескольких строк решил, что перед ним дьявольские письма.

Сразу после этого у почтенного настоятеля зарябило в глазах, и он слег в одночасье (хотя до этого слыл красноречивой иллюстрацией тезиса *mens sana in corpore sano*), а рукопись в ожидании окончательного приговора Генерала ордена засунули на полку, предварительно несколько раз обернув ее издавшей виды мешковиной, окропленной на всякий случай святой водой.

В принципе, какому-нибудь любопытствующему прохиндею-викарию не составило бы труда снять с нее копию, если бы его подначил бес (или человек епископа, на всякий случай приставленный к настоятелю: такое практиковалось сплошь и рядом, дело житейское): настоятель хворал долго и тяжело (был бы слабее телом – сгорел бы за считанные дни), а посетителей у него толпилось предостаточно, за всеми не уследишь. В конце концов, мученик, которого впоследствии канонизировал святой костел, так и не оправился от болезни и почил в бозе. Точнее, в судорогах.

Возможно, о рукописи бы и позабыли вовсе, но тут приключилась следующая история.

Новоявленный настоятель, бывший аббат, крепкий еще седовласый старик с замашками лютого инквизитора, занял келью своего предшественника. И в первую же ночь ему было видение. Не особо распространяясь о своих намерениях, настоятель наутро велел разобрать внутренние стены кельи,

очевидно, с целью отыскать что-то, – как тут в руки работающих монахов вновь попала злосчастная рукопись. Бывший аббат пришел в неопишемую ярость и пожелал собственноручно сжечь послание дьявола, предварительно его зачехлив.

Результат оказался плачевным, и даже шокирующим: как только настоятель взял в руки факел, на нем вспыхнуло одеяние из тонкого сукна (а по уставу полагалось сукно грубое) и окружающие оказались бессильны (или нерасторопны): он сгорел, словно тонкая свечка, скоро и ярко.

Долгое время не находилось желающих прикоснуться к посылке дьявола; наконец, в соответствии с иезуитским замыслом Генерала ордена заставили это сделать великого грешника, еретика, неизлечимо хворающего болезнью легких. Еретик, подозреваемый в тайном отречении от веры, даже не осенив себя крестом, взял рукопись левой рукой (правая была изувечена пытками), и доставил ее в условленное место. Не чихнул ни разу. А через неделю выздоровел окончательно, от болезни легких не осталось и следа. Рука, висевшая плетью, стала подавать признаки жизни.

Излечившегося еретика, понятное дело, убили, и место в подвалах, куда спрятали рукопись, строжайше засекретили.

Содержание этого, с позволения сказать, «Евангелия» не разглашалось – хотя бы потому, что не находилось желающих его прочесть (а те, кто время от времени по долгу службы совал нос в его запылившиеся страницы, предпочитали не привлекать внимание к своей персоне); кроме того, соответствующие органы папского надзора сделали все, чтобы никто и никогда в глаза не видел рукопись, о которой отзывались не иначе как о кознях дьявола.

Послание хозяина преисподней хранилось в святом месте: с этим парадоксом, смущавшим даже схоластов, надо было что-то делать.

С течением времени само упоминание этой рукописи попало под запрет. Противоречие разрешили в пользу Римско-католической церкви.

«Евангелие от П.П.» превратилось в миф, и единственное, что отличало его от мифа, было то, что «Евангелие от П.П.» существовало.

- Откуда это мне известно? – вот вопрос, который вертится у тебя на языке, не так ли? – продолжил Петр Своевременный и, не дождавшись подтверждения своей догадки, продолжил.

Дело в том, что относительно недавно, года три тому назад (можно проверить, это не составит труда) в одном из авторитетных западных журналов промелькнула следующая информация: первым было отнюдь не Евангелие из числа канонических, известных сегодня всем и каждому, – от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, и, конечно, не Евангелие Иуды; первым было «Евангелие от П.П.», греческая копия которого, судя по всему, ныне навсегда утрачена (об оригинале, написанном неизвестно на каком языке, вообще нет сведений; есть, впрочем, кое-какие догадки на этот счет; но об этом позднее). Однако именно оно положило традицию описывать последние дни жизни Христа.

Сразу после публикации в журнале все кинулись искать рукопись «Евангелия от П.П.», следы которой вели в подвалы то ли Ватикана, то ли

монашеских орденов, разбросанных по всей Европе. Увы, поиски не дали результата.

- Таким образом, - заключил Петр Своевременный, - рукопись «Евангелия от П.П.» была, это не плод фантазии ученого-богослова Н.; и теперь ты вправе спросить: ну, и что? толку с того, что она была? ведь ее нет более, она не существует. Не так ли?

Фома, сын Адама, молчал.

- Лично я сделал ставку на прохиндея, - глубокомысленно продолжил рассказ Петр Платонович (П.П.: именно такое прозвище в студенчестве получил угловатый Своевременный – вот ведь ирония истории!). – И, как всегда в подобных случаях, не просчитался. Прохиндей! – вот первая натура человека; а Иисус – это миф, который хочется считать второй натурой.

- Что ты хочешь сказать?

- Я хочу сказать, что обратился к истории рода ясновельможных Радзивиллов. Зачем? Поясню. Они были богатейшими людьми и ревностными католиками, первыми в Великом Княжестве Литовском испросившими для себя княжеский титул Священной Римской империи; по семейной традиции они регулярно навещали тот самый монастырь Н., прославленный своими колоритными настоятелями. И, конечно, чудесами. Я не ошибся: какой-то прохиндей по натуре, викарий по своим служебным обязанностям и агент по принуждению сделал-таки копию «Евангелия от П.П.» и затем тщательно спрятал ее в монастыре. Из каких соображений поступил так прохиндей, доподлинно мне неизвестно. Думаю, деньги; деньги и тщеславие – что еще двигало людьми во все времена? Но мне известно и кое-что другое о природе человека: он любопытен, он стремится к знанию, он сомневается, если верит, и еще больше сомневается, если отвергает веру. Так или иначе, прохиндей сделал свое дело.

Короче: копия оказалась собственностью Радзивиллов. Как – история умалчивает. Скорее всего, купили или получили в подарок за щедрое вознаграждение. «Евангелие от П.П.» находится здесь, у нас, в Беларуси.

- Допустим; и что из того?

- Можно сказать, что ничего особенного; но я бы сказал так: у меня есть доказательства.

- Ты читал «Евангелие от П.П.»?

- Я читал это Евангелие.

- И где ты его взял, если не секрет?

- В том-то и дело, что никаких секретов не существует; все просто, все ясно в этом мире. «Евангелие от П.П.» находится в запасниках музея в Мирском замке. Оно старательно скопировано с греческого, и до этого свитка пока у музейщиков руки не дошли. Но мне как историку, работающему над статьей о родословной Радзивиллов, позволили покопаться в еще не разобранных архивах. В виде исключения. Ведь речь идет о престиже державы. Думаю, подобную тактику применил и прохиндей. Хотя я бы на его месте просто умыкнул рукопись с полки на некоторое время. Я, разумеется, также скопировал копию Евангелия – теперь уже с помощью фотокамеры, встроенной

в смартфон. Передал приятелю, спецу в греческом; тот сделал перевод за 500 долларов. Вот и все секреты. Сегодня прохиндеям живется куда легче. Прогресс, что вы хотите.

- Секреты начинаются вот с какого момента: ты зачем-то пришел ко мне. В предрождественские дни...

- Во-первых, мне особо не к кому идти; а во-вторых, мне хотелось посмотреть на рождественскую елку: навевает, знаете ли...

- В-третьих, ты принес мне «Евангелие от П.П.», не так ли?

- Принес. И это во-первых, если уж на то пошло.

- Зачем?

- Ты прав: это секрет.

4

За окном размеренно сыпал редкий рождественский снежок; если долго на него смотреть, можно впасть в легкое оцепенение.

Фома думал о Мадонне.

Собственно, звали ее не Мадонна, а всего лишь Анна. За манеру держаться дали прозвище Донна, которое продержалось недолго; Мадонна ей действительно подходило больше. В новом имени если и чувствовалась ирония, то мягкая, пошлости не чувствовалось совсем.

Фому она покорила даже не манерой держаться, а манерой опускать глаза, опущенные длинными густыми ресницами – настолько неестественных размеров, что иногда они казались накладными, фальшивыми. Можно сказать, она покорила Фому неуловимым движением. Опущенные глаза и мягкая улыбка как фирменные знаки скромности поначалу смущали Фому своей вызывающей очевидностью, и он пытался сопротивляться. Фома ценил скромность в девушках, однако скромность, не столь явно бросающуюся в глаза. Скромность была таким достоинством, которое принято было прятать, скрывать, иначе она как-то переставала быть достоинством. А Мадонна не то чтобы выставляла ее напоказ, но нисколько не прятала. Просто не думала об этом. Скромность была очевидным ее достоинством, как ресницы. Или стройные ноги (на которые Фома обратил внимание уже гораздо позже ресниц). Или большие серо-голубые глаза. Или грудь, если на то пошло.

Сопrotивлялся Фома недолго. И влюбился сильно, до безумия.

Странно, но на его чувство Мадонна ответила быстро и тоже отчаянно: она перестала опускать глаза, зато стала мило вспыхивать розоватым румянцем при одном только взгляде на Фому. Окружающих она не стеснялась совершенно, и это было очаровательным продолжением ее скромности. Все совсем не так представлял себе Фома в отношениях с будущей супругой. Нельзя сказать, что было плохо; напротив, было жгуче хорошо, даже невообразимо хорошо – и это отчего-то пугало.

Фома не летал на крыльях, что легко можно было бы понять, а, как ни странно, был придавлен своим счастьем. Такая девушка в его судьбе – это что было, удача, награда, знак свыше? Как теперь быть ему, такому обыкновенному молодому человеку?

Фома изо всех сил старался быть достойным ее. Он боялся обидеть ее каким-нибудь неосторожным жестом, и следил за собой самым строгим образом; как ни странно, манера опускать глаза от нее перешла к нему. Стоило ему взглянуть на свою избранницу, как он тотчас же опускал глаза.

Мадонна поняла это по-своему. Однажды, когда они – под Рождество! – остались вдвоем в квартире у Фомы (Мария Павловна настороженно приглядывалась к Мадонне, не спеша ее сердечно привечать), она разделась полностью и предстала пред ним в полумраке в чем мать родила – во всей своей убийственной для него наготы. Тихими огнями переливалась елка в углу комнаты. Но ярче елки светилась нагота Мадонны. У Фомы перехватило дыхание. И он отчего-то разозлился на нее. Взревновал, неизвестно к кому, неизвестно к чему, и ужасно рассердился.

Мадонна хотела быть его женщиной и не скрывала этого; он тоже хотел, в глубине души даже страстно желал, чтобы она принадлежала только ему; но он не так себе все это представлял. А как?

Трудно сказать, как. Но не так. То, что он вначале принимал за скромность, оказалось чем-то другим, возможно, еще большим достоинством, а именно: естественностью. Но Фома был воспитан так, что условная вежливость, условная добродетель, показное смирение ценились паче естественности, которая, сразу и не скажешь, почему, воспринималась как угроза его внутреннему миру. Разве он врал себе, маме, священнику, Богу? Нет, не врал. Но естественность всегда аргiori почитал второй натурой человека, отнюдь не первой. Естественность надо было смирять, укрощать, подавлять – но никак не выставлять на обозрение, не соперничать с елкой.

Фома чувствовал, что чем больше выдвигает непонятной природы претензии к Мадонне, тем больше он злится на себя.

Это было трудно объяснить Мадонне, потому что многое было неясно самому. Она не опустила глаз; она оделась так же неспешно, как и разделась. При этом одевалась она вызывающе неспешно, а раздевалась безо всякого вызова. Просто она решила, что пробил их час. Настало время. Она решила, что они оба к этому готовы (и, если честно, у нее были на то основания).

Когда Фома захотел поцеловать ее, решительно отстранилась.

Так появилась первая трещина в их отношениях.

- Ну, что, твоя красавица не тащит еще тебя в постель? – не скрывая ехидства, спросила Мария Павловна.

Это было весной. Перед Пасхой.

- Мама, как ты могла вообразить такое!

- Она не нашего круга, Хомячок. Не надейся с ней глупостей.

Мама с детства называла его Хомячком. Но сейчас Фома вспылал.

- Я не Хомячок!

- Не сердись, Фомушка. Подумай над тем, что я сказала.

В тот же вечер Фома решительно извинился перед Мадонной.

- За что ты извиняешься, Фома? В чем ты неправ?

- Я люблю тебя.

- Я знаю. За что ты извинился? За то, что принял меня за девку?

- Как ты могла подумать такое!

- Ты меня осудил, Фома. А я не сделала ничего плохого. Но ты облил меня грязью.

Фома молча разделся перед ней и упал на колени...

Долгожданное известие о том, что Фома собирается жениться на Мадонне, Мария и Адам встретили солидарно и сплоченно: в штыки.

Фома привык считать себя любимым сыном, и такого отпора и напора не ожидал. Выяснилось, что и ксендз, и православный священник также против этого брака.

- Признайся: ты спал с ней? До свадьбы?

- Нет! - твердо ответил Фома.

К тому времени Мадонна была уже беременна.

- Побожись!

Фома на секунду замялся.

- Почему вы мне не верите?

- Побожись! Не сходя с этого места!

- Богом клянусь, - тусклым, мертвым голосом сказал Фома.

- Тогда пусть она принесет справку от гинеколога.

- Мама, неужели ты не понимаешь, что это унижение для нее?

- А неужели ты, мой единственный сын, не понимаешь, что враньем своим оскорбляешь мать свою до глубины души? Вгоняешь родителей своих в гроб? Выбирай: или она – или мы. А с нами Бог!

Фома в одночасье слег и едва ли не окончательно лишился здоровья. Природу его болезни врачи определить не смогли: организм просто оказывался жить; в церкви ему становилось только хуже; в костеле он задыхался.

Мадонна тем временем родила мальчика.

- Ты ведь говорил, что не спал с ней! Ты Богом поклялся! Так? – с порога спросила Мария Павловна.

- Так.

- Значит, твоя Анна оказалась блудницей. Пока ты болел, она зря времени не теряла. Отныне чтобы имени этой падшей в нашем доме не произносилось. Так, отец?

- Так! – ответил Адам Павлович.

- Имени Мадонны? – уточнил Фома.

- Она не Мадонна, а блядь! – с воодушевлением констатировала Мария Павловна.

- Так! – Адам Павлович остался верен себе и жене.

- А в непорочное зачатие, как я вижу, вы не особенно верите, - задумчиво произнес Фома.

Мать хлопнула дверью с такой нечеловеческой силой, что вполне получился гром небесный. Небольшой.

Через два года Мадонна вышла замуж за плотника, мастера краснодеревщика. За бездетного вдовца Карла. По слухам, непьющего.

Фома и не заметил, как и когда сделал свой второй выбор.

За окном размеренно сыпал редкий рождественский снежок; если долго на него смотреть, можно впасть в легкое оцепенение; но стоит сморгнуть, как оцепенение слетает, и ты, расколдованный, вновь открываешь сердце бесстрастно падающим хлопьям снега.

На коленях у Фомы лежит «Евангелие от П.П.».

По прочтении первых же страниц Евангелия, набранного на русском языке на компьютере в виде документа Word, становилось ясно, что перед читателем художественно обработанные протоколы допроса жителя Иудеи Иисуса Христа, подозреваемого в богохульстве, ереси и пропаганде взглядов, несовместимых с учением об истинной вере.

Изложено занимательно, читается как современный детектив.

Кто допрашивал И.Х.?

Эта библейская история хорошо известна. Понтий Пилат. «Евангелие от Понтия Пилата»?

Это было бы весьма соблазнительно; ясно, на какой источник не ссылался Мастер Булгакова, когда он писал свое Евангелие. Дело обстояло бы именно таким образом. Однако...

Однако в конце текста пунктуально помечено: «записано Публием П.».

И это не мистификация, какой в ней смысл?

Кто такой Публий П.? Секретарь? Помощник? Подосланный шпион? Честный малый, оказавшийся в нужную минуту в нужном месте? Нет, он оказался втянут в политику, случайностей тут быть не могло. Для кого-то было важно, чтобы именно глазами и ушами некоего Публия была зафиксирована та самая, волнующая всех людей доброй воли ситуация.

Кто такой Публий П.? Умный? Глупый? Старательный? Внимательный?

Читаем.

Насмерть перепуганный Иисус стоит перед грозным обвинителем.

- Имя!

- Мое?

- Мое – мне известно!

- Иисус!

Что за чертовщина! Это не продолжение текста Евангелия, тысяча извинений, это невольный возглас удивления. Бывают же на свете совпадения.

Далее идут вопросы, о которых нетрудно догадаться.

- Кто были родители?

- Мама была из Иудеи. Но кто она была по крови – неизвестно. Об отце я не слышал никогда, ни хорошего, ни плохого. Знаю только, что звали его Иосиф. Был он бандитом с большой дороги.

- Где живешь?

- Нигде. Я бродяга.

- Чем зарабатываешь на хлеб?

- По-разному бывает.

- Тебе повторить вопрос?

- Предсказываю. Могу изображать собаку, публике нравится. Иногда ворую. По мелочи. Как придется.

- Как зовут тебя твои подельники?

- Да никак.

- Прозвище есть?

- Собачий сын.

Тут Иисус ослабил.

- Терпеть не могу собак, - сказал обвинитель. - Любишь деньги?

- Люблю, кто же их не любит.

- Любишь женщин?

- Конечно. Кто же их не любит.

- Вино пьешь?

- Вино дорого. Жуем куриный помет вперемешку с известью. Ударяет в голову не хуже вина.

- В богов веришь?

- Не знаю. Никогда не думал об этом.

- Как ты думаешь, в чем тебя обвиняют?

- Не знаю...

- Ну! Сукин сын!

- Мы изнасиловали эту девочку втроем. Двух других я толком не знаю. Одного зовут Гестас, другого Варавва. Они предложили мне, я не отказался. Чего добру пропадать. Но мы ей заплатили! Клянусь левым глазом, правый уже плохо видит!

- Отец девочки убьет тебя, как только мы выпустим тебя на волю. Что ты думаешь об этом?

На это Иисус лишь шмыгнул носом.

- А что ты предсказываешь? Предскажи свое будущее.

- Меня повесят, - сказал Иисус. А затем вдруг добавил:

- Я люблю птиц.

И вновь ослабил.

Обвинитель минуту подумал.

- Ладно. Что такое истина? Кто кричал на базаре об истине?

- Истина? Никогда не думал об этом. Да и криков никаких не слышал...

Грозный обвинитель повел пальцем, и Иисуса вывели из просторной комнаты с высоким потолком, из которой была открыта дверь в сад. В эту комнату можно было попасть только из сада.

- Повесить его, - произнес обвинитель, думая о чем-то своем. — Через несколько дней. Когда именно, я укажу. По обстоятельствам. Хоть одно его предсказание сбудется в точности. Нельзя, чтобы человек вообще ничего не совершил в жизни. Изнасилования, как известно, не в счет.

Публий молча склонил голову в знак того, что он все понял и приказание обвинителя будет исполнено в точности.

- Но мы повесим не этого ничтожного человека, - сказал обвинитель, продолжая какую-то свою мысль.

Публий не выказал удивления.

- Мы повесим человека, который прекрасно отдавал себе отчет в том, что его представление об истине расходится с нашим. Мы повесим еретика и бунтовщика. Философа. Что ты скажешь на это? Мы раскроем заговор, мы совершим подвиг и получим за него награду.

И на это Публий промолчал, лишь слабой улыбкой дав понять, что он в состоянии оценить глубину замысла обвинителя. А возможно, и то, что он готов справиться с поставленной задачей. Судя по всему, обвинитель обладал немалыми полномочиями.

- Мы перепишем протокол допроса. За дело. Звать нашего врага, на плечах которого мы въедем в рай, будут – Иисус Христос, почему нет? Родом он из Назарета. Почему нет? Там у меня любовница, Сара, – пальчики оближешь. Это не для протокола... Прозвище его... Впрочем, это неважно. Назаретянин. Сойдет? Родители... Отец пусть будет плотником, по имени Иосиф, почему нет; мать... А вот мать удивит нас непорочным зачатием. Анекдот о непорочном зачатии я слышал от Сары. Со смеху умрешь! Потом расскажу. Чудесное зачатие, записано со слов Иисуса Христа, который мнил себя сыном Божьим. Сын Бога! Кто же тогда кесарь? Никто? За одно это Иисуса стоит распять. Но это будет самое невинное из его преступлений. Самое главное... Самое главное будут поучения от имени Бога. Не убий, не украдь, не прелюбодействуй, что-нибудь из банального, всем давно известного, но непременно от имени Бога. Набери пунктов десять-одиннадцать. Дай краткий комментарий. Понимаешь? Пусть наш герой произнесет эту проповедь откуда-нибудь сверху. С крыши дворца, что ли, с вершины холма. Может быть, ночью. При полной луне. Этого кощунства – врать от имени Всемогущего Бога – ему не простит никто. Времена фараонов прошли. А мне надо кощунство, мне надо вытравить ересь в провинции на корню. Вот он и будет у меня еретиком. Что еще? А, вот! Непременно вставь в его проповедь сюжетец, где добро побеждает зло. Особенно с возрастом, скажу я тебе, хочется быть добрым. А почему? Потому что много крови на каждом. Иногда ищем смерть, сами того не зная. Иногда тошнит от себя самого. Гм-гм. Что еще? Да, окружим его толпой учеников – это уже будет секта, это серьезно; еще не заговор, но уже не шутки. Заговор – себе дороже, скажут, что я прозевал; заговор в зародыше – это то, что нужно. Внедрим в их окружение нашего человека. У нас есть один такой. Зовут Иуда. Вот он нам и выдаст Иисуса. Убедительно? Комар носа не подточит. Иуде дать соответствующие инструкции. Да, надо рассказать ему как выглядел Христос, а еще лучше – показать важного государственного преступника, если успеете, конечно. Показания Иуды могут проверить. Если Иуда начнет путаться... Сами знаете что делать в таких случаях. Иуда любит деньги, женщин и вино. Отравить или убить его – раз плюнуть. Что еще?

Ты что-нибудь слышал о Сократе? Ничего? Это не для протокола... Был такой мудрец в Греции. Он учил людей жить. За это его казнили. Выдвигал слишком завышенные требования. Честно говоря, думал о людях лучше, нежели те того заслуживают. Не написал ни строчки, но считался главным философом в Греции. Да и мы не поминаем имя его всуе. Исключительно с пиететом. Следишь за мыслью? Главный мудрец! А почему? А потому что

принял смерть за свои убеждения. Выпил яд, но не отрекся от своих слов. Смерть сделала его бессмертным. В этом весь секрет. Наш Иисус также не написал ни строчки, а о нем будут знать все как о великом еретике, который принял смерть за веру свою глупую. И смерть его привлечет к нему внимание. А значит, и ко мне. А через год его забудут. А обо мне вспомнят. Таков мой план. Отнесись к нему творчески, Публий. Тебе надо делать хорошую карьеру. Как чувствует себя моя сестра, твоя мать?

Да, чуть не забыл. Тут Иуда, выполняя мое поручение, – а он толковый малый, схватывает все на лету, – сообщил мне интересную информацию. Бродит один в лохмотьях по базару и толкует, что есть истина. Как Сократ. Не боится ничего. Скорее всего, сумасшедший. На базаре уже о нем ходят слухи. Рассуждает о том, что может обратить камни в хлеба и накормить всех страждущих, утверждает, что любовь спасет мир, призывает тех, кто считает себя безгрешным, бросить в него камень. Народ начинает волноваться. А почему? Притчи! Смерть и притчи кого угодно сделают популярным в народе. Так вот, крамольные речи об истине мы припишем Иисусу. Мне нужен идейный преступник, соображаешь? А истина в том, что люди глупы, они питаются сказками и мифами, сиречь – притчами. Умному человеку не остается ничего другого, как использовать глупость других во благо себе. Что еще?

Прежде чем направить наш доклад кесарю, мы устроим утечку информации. Этот протокол, который ты творчески доработал, попадет в руки местных священников. Пусть пойдет слух о Христе, Сыне Божьем. Превратим протокол в евангелие. Знаешь, что такое евангелие? Это благовествование. Благая весть. Мне нужен такой пророк, которого следует тотчас казнить, ибо только пророки могут смущать людей чудесами. Кстати, думаю, что место для казни следует выбрать с умом. Надо, чтобы туда потянулся народ. Который всегда творит себе кумира. Может быть, на Голгофе? Холмик, правда, небольшой, зато недалеко от города. Почему нет? Завтра к утру принесешь мне расширенный, творческим вдохновением измененный протокол. На тринадцати листах. Ты понимаешь, о чем я. Поработай ночь как следует. И чтобы ни одна живая душа не видела текст, который ты напишешь.

Наутро, прочитав сотворенное Публием, обвинитель произнес только оно слово: «Евангелие!»

Потом подумал и добавил:

- Но несколько пунктов мы изменим и дополним. Пиши. Истинно, истинно говорю вам: чти отца своего и мать свою... Сильно? То-то же. Иисус будет доволен. Кстати, приложишь к протоколу его большой палец. Нет, всю ладонь. Сукин сын грамоте не обучен, расписаться не сумеет. Да вели подарить ему от моего имени плащаницу: конец декабря, ночами холодно. Он должен быть повешен, а не задохнуться от переохлаждения. Стоп! Тут надо подумать. Герой легенды должен умереть как-то необычно. Экзотически. А вот что, Публий: мы поставим на нем крест. Понимаешь? Нет? Зачеркнем, вычеркнем из истории этот мифический персонаж, созданный нашим воображением. Распнем на кресте. И смех, и грех! Поперечная палка на столбе – по фигуре человека, распластавшего руки, как птица – крылья. Забавный символ, согласишься!

Прочитав Евангелие, Фома испытал потрясение.
Он понял: пришло время третьего выбора.

6

За окном размеренно сыпал редкий рождественский снежок; если долго на него смотреть, можно впасть в легкое оцепенение; но стоит сморгнуть, как оцепенение слетает, и ты, расколдованный, вновь открываешь сердце бесстрастно падающим хлопьям снега; становится холодно.

- Со светлым праздником Рождества Христова, сынок!

Мать стояла на том месте, где когда-то обнажила свою душу Мадонна.

- Спасибо, мама. Только никакого Христа не было, и плотника не было. И хлева не было. Это так грустно, мама.

- Что ты такое говоришь! Опомнись! Грех великий на душу берешь, сынок!

- Я уже взял великий грех на душу. Я предал своего сына и свою жену. Из благих побуждений. Я не ведал, что творю.

- Она тебе не жена!

- Нет, мама, она единственная, кто будет мне женой.

- А отказываться от матери своей и отца своего – это не грех? Богохульствовать – это не грех?

- Я не отказываюсь от отца и матери. И я не богохульствую; просто я выбираю себя. Я хочу быть счастливым.

- А разве до сих пор ты не был счастлив?

- Не был, мама.

- Наберись мужества и посмотри правде в глаза: друзья и блудницы довели тебя до преисподней! Нет уже прежнего Фомы! В тебя вселился нечистый!

- С каких это пор друзья и любимые стали для человека грехом, мама?

- Ты мне не сын!

Мать лишилась чувств и упала в обморок.

С этого момента Фома пошел на поправку.

7

Прошел год.

За окном размеренно сыпал редкий рождественский снежок; если долго на него смотреть, можно впасть в легкое оцепенение; но стоит сморгнуть, как оцепенение слетает, и ты, расколдованный, вновь открываешь сердце бесстрастно падающим хлопьям снега; становится холодно – и тут же горячей волной накрывает ожидание чуда.

Фома и Петр сидели возле камина. В углу комнаты, которую снимал Фома в загородном доме, стояла искусственная рождественская елка (а зачем губить молодую поросль? живое должно жить), крест-накрест переплетенная гирляндами из фонариков, как революционный матрос – пулеметными лентами. Ее венчала огромная рубиновая звезда.

- Если я напишу о тебе рассказ, ничего не приукрашивая, получится Евангелие, - сказал Петр. – Новый-Преновый Завет.

- Цивилизации нужны новые герои? Вряд ли я гожусь на эту роль. А что твои Радзивиллы? Аристократы духа нынче в чести, я слышал.

- Время «Радзивилиад» прошло; о Радзивиллах писать скучно; к элите духа они не имеют никакого отношения; от меня ждут примитивных мифов, а это не моя специализация. Я историк; меня не интересует история власти и богатства; в прошлом меня волнуют этапы превращения человека – в личность. Людям уже не важно, существовал ли на самом деле предок Радзивиллов Сирпутий или Николай I Радзивилл Остик, его потомок; важно другое: люди хотят верить в сказку о счастливых, которыми, по мнению толпы, могли быть только богатые и родовитые. Такие, как Радзивиллы. Или Понтий Пилат, например. Человечество никак не желает расставаться со сказочным мышлением. Нет, я историк, а не мифотворец.

- Но и ты не дожدهшься от меня проповедей и беззаветной любви к ближнему. В последнее время я стал просто презирать дураков. И нисколько в этом не раскаиваюсь.

- А не нужна никакая проповедь; нужен поступок, превращающий тебя в личность.

- Согласен.

Они помолчали.

- Хомячок!

- Что, ПэПэшка?

- А ведь живая ёлка куда приятнее искусственной, согласишься.

- Согласен. Никакого сравнения.

- А знаешь, что? Давай-ка купим живую, натуральную. Все-таки Новый год. Самый замечательный праздник из всех 365 дней. Лучше дня рождения. Лучше, я считаю, пока ничего не придумали.

- Пожалуй. А Христа все равно жалко. Без него не было бы меня. Рождество, как ни крути, это день рождения личности в человеке.

- А мне жалко того, кто сотворил легенду о Христе. Такая глыба, достойная Евангелия, осталась за кадром.

- И себя жалко. Всех жалко.

Они помолчали, думая каждый о своем.

- Так есть хорошие вести? – спросил Петр так, словно их мысли текли в одном направлении.

- Есть. Мадонна выгнала плотника.

27-29 ноября 2011

УЖИН, ЗАВТРАК

- Соль подай, солнце моё, - попросил Николай Степанович.

Его жена, Маргарита Ярославовна, бесшумным движением добыла с полки солонку и поставила её на стол. Она стояла позади мужа, готовая в любой момент сорваться с места и исполнить любой его каприз. Казалось, недовольна она могла быть только одним: капризов кумира было маловато. Салат из свежих овощей (в меру солёный и перчёный), сочная отбивная, вилки, ножи, чёрный хлеб с пряностями (очаровательная слабость Николая Степановича) в соломенной хлебнице – всё было приготовлено и подано с удовольствием и изяществом, под журчание неспешной мужской беседы.

Но Маргарите Ярославовне, судя по всему, хотелось отличиться ещё и ещё.

Василий Робертович, аспирант (которого за глаза все почтительно звали Васёк), пришел к профессору Николаю Степановичу Язычнику не столько как к научному руководителю, сколько как к непререкаемому моральному авторитету, к глыбе, имя которой Человек с Большой Литеры. «Загляни сегодня вечером ко мне на ужин», - бросил утром, перед лекцией (Язычник не читал лекции, он, владея даром, творил праздник – давал легендарные и неповторимые мастер-классы в редчайшем жанре медитации в импровизационной форме, можно сказать, интеллектуальные концерты, сольники, и умудрялся преподносить сложнейший, живой материал в оковах железной, неживой логики; здесь Василий Робертович, вечный студент, всегда постигал новые грани, казалось бы, давно известных вещей и концепций; здесь отличить науку от искусства было своего рода искусством слушателей), внимательный Николай Степанович, взглянув на выражение лица курносого Васька, где добродушие мирно уживалось с принципиальностью, и даже выгодно подчёркивало его.

Аспиранта волновали две проблемы: во-первых, не всё гладко было с диссертацией, а во-вторых, не складывались отношения с женой, с которой они уже год как состояли в законном браке (для себя Василий Робертович «во-вторых» безусловно ставил на первое место).

Сейчас Васёк чувствовал себя слегка не в своей тарелке: пышнотелая Маргарита Ярославовна (она была лет на пятнадцать моложе своего мужа), безо всякого ложного стеснения преследующая взор своего повелителя глубоким вырезом блузы, вкусный ужин, сама атмосфера благополучия и стабильности (двое деток разнополых пасутся в дальней комнате – и при этом блуза не забыта) – всё это он воспринимал не как результат жизнедеятельности профессора Язычника, а как старательно сотворённый упрёк-спектакль в свой адрес. Вот как надо жить: очаг, скво, потомство, заслуженная пища после трудового дня – это лучшее доказательство правоты профессора. При этом маэстро, разумеется, ничего не доказывал, не выпячивал результат, но Васёк отчего-то сопротивлялся магнетическому обаянию семейной гармонии – и недоволен был собой, не осознавал причины своего недовольства – что только увеличивало его недовольство.

- Спасибо, рыба моя, оставь нас, нам необходимо поговорить, - тихо изрек Николай Степанович, и Маргарита Ярославовна, дав понять, что долгожданный каприз ей в радость, с благоговением приложила губами к лысому темечку мужа ненаглядного.

- Конечно, мой падишах, - произнесла она вроде бы со счастливым смехом. («Ну, почему «вроде бы»?» - сердился на себя Васёк.)

- Ах, ты, проказница, - ласково сощурился «падишах», и по лицу его на самом деле лунным бликом скользнула восточная умиротворённость. (««Проказница»: разве это не вычурно? Ладно, зависть – плохое чувство... А «падишах»? Ладно, ладно...») Во всяком случае, к его теперешним манерам и расслабленным модуляциям кальян был бы весьма кстати. Однако Язычник безжалостно относился к порокам, разрушающим тело: в частности, не курил.

И Васёк никак не мог отогнать от себя картинку-наваждение (одна из причин погрозы себе пальцем): он ясно представлял себе, какая ночь любви ожидает сегодня супругов. Маргарита ведь с намерением прижалась спелой грудью (какой умопомрачительный каньон меж двух вершин, узкий, глубокий, манящий) к плотному корпусу Язычника (фамилия мэтра стала для студентов и аспирантов кличкой, и они отделяли прозвище от фамилии неуловимой для постороннего уха интонацией).

И это был самый чувствительный упрёк Василию Робертовичу. Его жена, Машка, на год младше его, но на три опытнее по-житейски, уже месяц не подпускала запутавшегося в принципиальности Васька к своему телу. Васёк не завидовал, нет; ему было обидно.

- За отношения мужчины и женщины отвечает тот, кто умнее, следовательно, сильнее, – то есть, мужчина, - произнёс куда-то вверх Язычник сразу после того, как Маргарита закрыла дверь кухни, – уже другим, окрепшим голосом. - Согласен? Значит, все претензии к тебе. Бить жену не пробовал?

- Как бить? - изумился Васёк, находившейся под противоречивым впечатлением семейной идиллии, которая придавила все его жизненно важные центры, словно могильная плита.

- В торец.

- В торец?

- Ага. Фэйсом об тэйбл, если по студенчески, - уверенно ответил Язычник, виртуозно управляясь с отбивной.

- Нет. Не пробовал. Боюсь, это не мой метод.

- Напрасно боишься, Спиноза подрастающий. Иногда этого вполне достаточно, чтобы решить все межличностные и межполовые проблемы на несколько лет перёд. Становится шёлковой. А иногда – уроки приходится повторять, неделями неумоимо чередуя кнут и пряник. Укрощение – это творческий процесс. Здесь необходимо такое чувство меры, что ювелир отдыхает. Это я, Фаберже от педагогики, говорю тебе. И, заметь: приличный человек получает удовольствие не от процесса, а от результата. От процесса получают удовольствие те олухи, которые не способны добиться результата. Может, ты хочешь возразить мне: дескать, танго всегда танцуют двое... Возрази. Сейчас твой ход.

- Вам трудно возражать. Но я попытаюсь. Тут, по-моему, не в танго дело. Не хочу я никого укрощать. Укрощение – это форма обоюдного унижения. Женщину я унизил бы своей силой, а себя – тем, что бью слабого, то есть, собственной силой же.

- А вот это уже серьёзная методологическая ошибка, Сократик. Ты ешь, ешь. На салатик наваливайся, давай. Это витамины. Тело надо уважать. Здоровый дух требует здорового тела, хотя в здоровенном теле редко поселяется здоровый дух...

- Да у меня с аппетитом что-то последнее время стало неважно.

- А вот это плохо. Это хуже всего. Значит, система «тело-душа-дух» разбалансировалась. Наблюдаются признаки деградации. Энтропии. Где-то даёшь слабину, старина.

Васёк согласился с этим про себя, но даже головой не кивнул. Принял такие меры предосторожности – на всякий случай (уже безо всякого недовольства собой).

- Духовная власть, власть разума, – всегда реализуется через власть психологическую и физическую. Тело и душа – проводники высшего начала в жизнь. Иначе – капитуляция духа. Духовная власть, в конечном счете, – это высшая ответственность. Постулат правильный?

- Кажется, правильный.

- И краеугольный, заметь. Ты в ответе за тех, кого вынужден подчинять или «приручать», как неверно выразился оригинал (что делает его большим оригиналом, между нами), – ради их же и своего блага. Ради блага всех обитателей Земли. «Приручать» – это гуманитарный сироп, «подчинять» – точное определение сути отношений со слабой половиной человечества (к этой половине, между прочим, относится девять десятых всех граждан и гражданок мира). Тебе дана власть, ты, умный мужик, наделён ею по праву рождения, а ты делаешь вид, что не наделён. Тем самым ты, именно ты, и никто другой, провоцируешь бунт, бабий бунт, во вверенном тебе царстве. И ты этот извечный бессмысленный бунт незамедлительно получаешь. Кто виноват? Ты виноват. Бунтует женщина – бунтует психика. Какой с них спрос? Какой спрос с ураганов, штормов, землетресений, потопов, дураков? А ты собираешься объяснять что-то женщине, этой чудной стихии, которая к тебе за тем и «прилепилась» (а люблю Библию, эту сказку сказок), чтобы ты взял на себя ответственность. Зачем ты вообще занимаешься философией, Василий? Не смей меня.

Васёк молчал. Всё было правильно, и чётко, и даже глубоко, на первый взгляд, – но соглашаться с этим не хотелось. И вовсе не из упрямства, а из...

Васёк называл это «инстинктом любви к истине». Картина была правильной, но не многомерной. Не космической. Не вселенской. Чего-то не хватало. Васёк не знал, чего именно, но ему уже доставало разума и чутья (спасибо лекциям Язычника!) не спешить признавать себя виноватым только на том основании, что ты не можешь сию секунду возразить оппоненту. Возможно, не хватало банального жизненного опыта. Но вот сейчас он и получал этот – так

необходимый ему – жизненный опыт. За этим, наверное, он и пришёл к профессору. За чем же ещё?

- Мужчина – это человек, который способен совершить поступок. Женщина – это человек, который не совершает поступков.

Язычник уже расправил плечи и, подминая под себя всё внимающее ему железной логикой, развернул тотальное наступление по всем фронтам. Это был его фирменный лекторский стиль. Серия блистательных фокусов. Блиц криг. Соглашались даже его противники, не в силах стряхнуть с себя наваждение.

- А поступки – это способ реализации власти духовной. Поступки мужчины так или иначе связаны с насилием. Хотя что-нибудь в природе или в жизни человека способно обойтись без насилия? Оглянись вокруг, милый человек, подумай хорошенько и приведи хотя бы один пример, за который самому было бы не стыдно. Все воюют со всеми. Каждый стремится одолеть каждого. Комары, крокодилы, цезари... Все. Более того: человек человеку волк – это фрагмент истины; тот, кто осмелится раскрыть глаза, увидит, что люди прячут от себя за иконами: ты сам себе лютый враг, если ты нормален. Отсюда следует: если ты себя ежедневно не встряхиваешь за шкуру, не тычешь себе в торец бейсбольной битой, то начинаешь деградировать. Хорошая трепка – это отличная профилактика. Надо твёрдой рукой травить псов разума на лис лени. Тогда будешь в отличной форме.

По какому-то ещё не вполне ясному для себя соединению мыслей, которые, как разброс стекляшек в калейдоскопе, приняли даже эстетически впечатляющие контуры причудливой системы, Василий Робертович спросил, непокорно сгибая голову:

- Поэтому вы разгромили мою статью и целый раздел моей диссертации? В профилактических целях? По-моему, вы не поняли, о чем там идет речь. Я настаиваю: моя концепция оригинальна: «Игра как объект философского отношения». В строгом соответствии с названием диссертации я пытаюсь определить суть феномена, который обозначен символом «игра». Игра – это правила, по которым псы и лисы выстраивают отношения, сами того не ведая.

- А по-моему, ты упорно не понимаешь главного: я всегда должен быть прав. Иначе ты не защитишь свою блестящую диссертацию – и не потому, что я стану тебе мешать, боже упаси; потому, что твоя концепция пока не к месту и не ко двору. Запомни: диссертация – это не способ открыть нечто новое; это способ скрыть то, что ты открыл. Да, да, именно так. Защитишься – и только потом можешь позволить себе некоторую дерзость: намекнуть на свои прозрения. Истина всегда губит тех, кто её находит, так или иначе – губит. Чтобы уцелеть, надо преподнести истину психологически тонко – в нужное время, в нужном месте, нужным людям, в нужной дозе. Ты же в социуме обитаешь, среди глупых людей. Надо манипулировать бессознательным, этим «разумом» масс. Без этого законы разума – ничто. Ради твоего же блага я и побил тебя. Ради блага жены я бью её. Бью детей ради их блага. Бью себя – чтобы остаться самим собой. Бью...

В этот момент дверь на кухню осторожно открылась, и из-за косяка, через паузу, показались две детские головки: мальчика, сверху, и девочки, снизу.

- Мы пришли сказать «спокойной ночи», папа.

Дети были очаровательны своей непосредственностью, как все здоровые, ухоженные, воспитанные дети; но в данном случае непосредственность сказывалась в том, что они, выдавая взрослого, выставляли страх, замерший в их светлых глазах.

- Рита, где ты там, заведи детей, не прячься! Я сам сейчас приду к ним. Поправлю одеяло и пожелаю спокойной ночи. И впредь никогда не мешай мне, Рита. Никогда. Ты поняла?

- Да.

- Не слышу.

- Да, я поняла.

Маргарита Ярославовна стояла позади детей – руки по швам, как и у них.

- Иди, Рита.

Новые впечатления охватили душу Васька, однако опытный Язычник не оставлял ему времени на то, чтобы опомниться и перегруппировать силы, заключённые в клеточке космоса, которую философия окрестила «тело-душа-дух».

- Думаешь, чем ты меня задел, Вася? Да я был точно такой, как ты сейчас, а стал таким, каким стал. И это не случайно, это не мой путь, который должен стать твоим по моему педагогическому капризу. В моём духовном становлении отразился всеобщий закон. Значит, и в твоём отразится. Закон! Дао!

Николай Степанович оседлал своего любимого конька, обуздать которого дано не многим: универсалии, всеобщий закон.

- Добро должно быть с кулаками – слышал, конечно. Что это значит? Это значит, что гуманизм без дубины – всего лишь форма капитуляции. Реальная природа человека контролируется не иллюзиями. Иллюзии – это инструмент духовного разврата. Вырви иллюзии с корнем – иначе ты пропал, молодняк.

- И что же мне, по-вашему, делать, Николай Степанович? – спросил Васёк, пытаюсь окончательно уяснить себе суть философии Язычника.

- О, боги! Что мне делать с моими радивыми учениками! Иди, помирись с женой. Ты знаешь, что тебе делать. Ты разумный, следовательно, сильный, мужчина. Возьми плётку, укроти жену, иначе ты напишешь не ту диссертацию. Улавливаешь связь? Ты не защитишь свою работу, и, в конечном счете, пострадает истина. Кто будет в этом виноват? Ты. Кстати... Ты Вагнера слушаешь? Нет? Напрасно. Вагнер – это мощь; а там, где мощь, – там истина.

Василия Робертовича вышла провожать в прихожую Маргарита Ярославовна. Чувства, которые ещё недавно переполняли душу и могли бы родить восхитительный комплимент этой женщине, куда-то улетучились – словно Маргарита была виновата в том, что её глыба-муж разонравился аспиранту. Врать Васёк не умел и не желал, поэтому поблагодарил сухо, сам себя не уважая за эту неуместную сдержанность. Маргарита Ярославовна отделалась также скупыми пожеланиями добра, будто реагируя на перемену в настроении гостя. Но Васёк был уверен, что глаза её потухли ещё до того, как она вышла в прихожую на правах гостеприимной хозяйки.

На улице надсадно стонали, нутром орали мартовские коты, стараясь перекричать и запугать друг друга.

Наступала весна – но что-то мешало в этот вечер воспринимать ее чисто поэтически.

Было трудно дышать, хотя свежесть была уже не зимней.

Василий Робертович давно заметил, что период обновления и прозрения – всегда холодное и тёмное время. Оно немного отдаёт хаосом.

Васёк наощупь набрал номер мобильного телефона своей жены и задержал дыхание.

- Машка? Я тебя люблю, солнце моё. Продолжать?

- Продолжай.

- Ты во всём была права: я круглый дурак. Зря я упирался с диссертацией.

- Нет, прав был ты. И ты должен упираться с диссертацией. Должен стоять до последнего. Я горжусь тобой. А собой – нет.

Василий Робертович не удивился, он словно ожидал этих слов как подтверждения своей правоты. Просто на душе стало легко и свободно. Машка не скрывала своего раскаяния, своей ответственности за то, что целый месяц их жизни они прожили не по разумному закону любви (который гласит: силой является способность превращать слабость в силу и не давать силе превращаться в слабость), а в соответствии с умненьким императивом «шокируем силой, затаим слабость, и да победит сильнейший».

- А ты не боишься, что с моей силой воли я скорее сдохну, чем проиграю? – поинтересовался Васёк.

- Мне кажется, ты сам себя боишься. Где ты шляешься?

- Да так, гуляю.

- Луну видишь?

- Вижу. Она полная и круглая.

- Ага. И жёлтая. Окутанная белой морозной дымкой.

- Ага. И одинокая ужасно.

- Холодно?

- Холодно.

- Возвращайся домой. Я тебя согрею. Я тебя тоже люблю.

- Если ты родишь мне ребёнка, я никогда не унижусь до того, чтобы его ругать; я буду рассказывать ему сказки на ночь. Всё ведь начинается со сказок, с иллюзий. Иллюзии входят в состав истины.

Маша помолчала.

- Тебе обязательно родить наследника твоих кучерявых идей?

- Вовсе не обязательно. С этими учениками такая морока... Пусть будет девочка: с ней проще.

- Ну, не скажи, - вздохнула Маша. – Ладно, рожу тебе кого-нибудь. Спасу тебя от философии.

- Нет, Машенька: чем больше жизни – тем больше философии.

- Тогда тем более рожу...

- Как дела? - спросил Язычник на следующее утро, изменяя своему принципу: «хороший лектор, как актёр, перед выходом к аудитории должен

помолчать». Об этом принципе, как, например, о легендарной скромности ректора, лауреата многочисленных премий, было осведомлено всё университетское и философское сообщество: считалось хорошим тоном проплывать мимо отстранёного от суеты, погружённого в свои мысли «Язычника» (тут годится только прозвище, символ, синоним понятия Философ), даже не здороваясь с ним, – чтобы после лекции напомнить профессору о своей исключительной тактичности. Лицо Николая Степановича в странном диссонансе с появившимся солнцем, закрепляющим ощущение обновления, было помятым. Он то ли не выспался, то ли был недоволен чем-то, то ли – самое страшное и благотворное для мужчины – у него появились претензии к себе (чёрной ночью мелькнул серый призрак сомнения, добрый друг творческой зелёной молодости? но этого от мэтра не дожидаться: он слишком чтит себя в философии, а не философию в себе).

- Замечательно, - ответил Васёк, нарушая неписаное правило и отвечая на вопрос профессора по существу, а не формально. - Я помирился с женой. И плотно позавтракал. У меня проснулся аппетит.

Он не отводил распахнутых (но уже не по-детски) глаз, улыбка его была простой и открытой.

- Вот теперь верю, Василий. Глаза блестят. Шерсть дыбом. Значит, с диссертацией будет всё в порядке.

- Она будет готова через два месяца, профессор. Нет, пожалуй, через месяц. – Надеюсь, я вас удивлю.

- Тра-та-та-та, - Николай Степанович бездарно воспроизвёл начало «Полёта валькирий». – Надеюсь, ты меня приятно удивишь.

Васёк решил скрыть от Язычника то, что ему открылось этой ночью. Он знал, что переубедить мэтра невозможно, а портить отношения с ним пока ни к чему. Философия учителя дала ему очень много, она здорово прочистила ему мозги и помогла его личности выйти на новую орбиту. В частности, он с повышенным вниманием будет относиться к вопросам стратегии и тактики в своих отношениях с миром, не изменяя при этом самому себе. Но теперь он чувствовал, что окреп и стал сильнее профессора. Философия Язычника, став всего лишь звеном в настоятельно предложенном ей контексте, расположилась где-то на периферии созданного им вчера космоса – на правах пройденного, хотя и не исчезнувшего бесследно, этапа.

А слабых обижать не стоит. Но профессору лучше этого не знать: как раз начнёт ведь изображать сильного. А это уже утомительно и скучно. И теперь его, Васька, будет, ох, как не просто сбить с курса. Возможно, и его философии уготована участь когда-нибудь стать строительным материалом для новой космической гармонии. Как знать?

Но об этом пока думать рано. Сначала надо создать свою систему систем – стройную, восхитительно противоречивую и бесконечно совершенную (калейдоскоп калейдоскопов, где ограниченное количество исходных элементов способно произвести бесчисленные варианты их сочетаний), с которой срастешься так, что невозможно уже будет от неё отказаться, не

отрекшись от себя, от своей прожитой жизни. И Машка теперь поможет ему в этом многотрудном деле больше, чем Язычник.

Васёк постиг главное: его философию стали питать не книги, а жизнь. Для умного человека – всё философия, а для дурака диалектика – лишь набор глупостей.

Вот она, плата за вступление на путь зрелости: прощай, молодость.

На улице потеплело. Солнце светило так, будто хотело вселить в Василия Робертовича Лобова надежду на то, что ему всё же удастся переубедить Николая Степановича Язычника.

Васёк понимал, что это иллюзия, но не спешил от неё избавляться.

06.08.09

III. ПРОТОТИП

ПРОТОТИП

Однажды я находился в необременительной командировке в Гродно. Несколько приятных поручений официального характера, которые при желании можно было считать миссиями, да плюс личные, опять же, необязательные дела – вот и все мои хлопоты.

Стояло бабье лето, моя любимая пора. Времени было сколько угодно, беззаботное настроение соответствовало великолепной погоде. Город будто специально был создан для того, чтобы в нем можно было не спеша, со вкусом распрощаться с летом. И само это сладкое затянувшееся прощание становилось убедительным началом какой-то новой встречи. Все время хотелось грустно улыбаться, поправляя солнцезащитные очки.

Компактный центр города Гродно достаточно велик для того, чтобы в нем можно было затеряться, и вместе с тем достаточно камерный, чтобы ощущать его как единое целое, имеющее свое лицо и свой характер. Меня не покидало ощущение, что я в гостях у новых милых друзей – в той фазе процесса, когда мне еще искренне рады, и я с удовольствием оправдываю их ожидания: свежие впечатления отчетливо ложились на душу. Неторопливым шагом я прошел вдоль живописных скверов по улице Ожешко, свернул на булыжную Советскую, вышел к знаменитому Фарному костелу, украшающему старинную Советскую площадь, мимо театра советской постройки спустился к Неману, чтобы насладиться видом набережной. Современное лицо городу придавала хорошо сохранившаяся старина. Вот он, рецепт молодости и привлекательности.

Присев за деревянный столик на открытой террасе, я отпил добрый глоток холодного светлого пива из запотевшего бокала, и, совершенно разомлев, наблюдал за рекой. «Странно, - лениво струились мои мысли, - вот в Ростове Дон является центром мироздания, город буквально обвивается вокруг реки, и река определяет жизнь города; это именно Ростов-на-Дону. Есть еще Лондон на Темзе, Самара на Волге. О Гродно не скажешь – Гродно-на-Немане, река не стала градообразующим началом. Почему, интересно? Величавый Неман существует как-то отдельно от города. Город сам по себе, а река...»

- Привет, привет, - укоризненно крикнул чей-то баритон возле меня. Ухо привычно отметило виртуозно исполненную интонацию: со мной здоровались, в чем-то уличая. Браво. В другой момент я бы все простил артистическому нарушителю спокойствия за этот пассаж, за блистательно возведенную на меня напраслину. А сейчас мне бы без двойного дна: просто солнце, пиво, почти летний вечер. Желательно одиночество – если, конечно, не придет та, ради которой я приехал сюда «по делам».

- Мир тебе, Григорий, - тоном «ныне отпускаеши» вторил я и пригубил пиво, прежде чем подняться и протянуть руку своему минскому приятелю.

- Наслаждаешься последними ласковыми деньками? – вновь с обвинительным уклоном рокотнул баритон.

- Наслаждаюсь погодой, - неизвестно в чем стал оправдываться я, отметив на горизонте души первую тучку, предвестницу раздражения. Мне, человеку мирному, хотя и, не исключено, несколько распущенному (такова неприглядная сторона культа свободы и воли), явно навязывали ничтожный поединок. Я же предпочитал способы самоутверждения более приятные и менее хлопотные, как-то: писать романы и заводить романы с прелестными женщинами.

- Разве писатели умеют наслаждаться жизнью? Разве ты видишь все это диво? – Григорий, не глядя, ткнул пальцем в сторону огромной кирпичной трубы, портившей вид на Неман. – Нет, ты не видишь райских кущ у себя под носом; ты пишешь пасквилы, рассчитывая на дешевую популярность.

Бывают же люди из числа мужчин, отношения с которыми складываются всегда мелкие, однако до предела запутанные. Они не умеют общаться иначе, как «выясняя отношения». Особенно я не завидую женщинам, чьими любовниками являются эти занудные отставнички; мужья из этих провинциальных артистов никудышные, отцы тем более, и к сорока годам они, как правило, уже неоднократно разведены – то бишь «наслаждаются свободой» (кутаться в пышные фразы – едва ли не единственное, что они умеют). Они вечно в обиде и в засаде, вечно в претензии на все и вся и вечно чем-то недовольны из ложно понятого правила хорошего тона. Кислая мина словно приросла к их мягким и безвольным чертам. Именно таков был Григорий, занесенный каким-то ветром из Минска в Гродно чудным вечером.

Не успел я допить свой бокал до половины, как уже выяснилось, что я виноват перед Григорием – безнадежно и бесповоротно виноват. Оказывается, он уже полгода дулся на меня; возможно, он говорил правду, мне было трудно судить: я не видел его больше года.

- Что же я такого натворил? – вежливо спросил я, пытаюсь все же ловить взглядом безмятежные оттенки заката: я сел так, чтобы видеть заходящее солнце, а не людей, его заслоняющих.

- Как что? – всплеснул руками обиженный Григорий. – Ты же с меня списал героя твоего романа «Гармония – мое второе имя». Это же карикатура на меня. Весь город тычет пальцами, все меня узнают.

- С чего ты взял? – спросил я, думая при этом примерно следующее: «Всему городу, родной, ты нужен, как в бане пассатижи».

Ленивое солнце с бледным ананасовым оттенком завораживало меня больше, чем бредни Григория. Город Гродно жил в неторопливом ритме солнца: вот в чем секрет вальяжности горожан, выглядящих все сплошь как туристы. Интересно, есть ли здесь биржа труда? Я бы не удивился, если бы горожане слухом не слыхивали о подобном учреждении.

- Мне сказали об этом сотрудницы журнала, где был напечатан твой роман. Говорю тебе как другу: Лидку блондинку знаешь? Вот она и сказала.

Я знал только, что Григорий числился в ленивых поклонниках «Лидки», исключительным вниманием которой, кстати, не пользовался разве что

исключительно ленивый. Ярko представляю себе в деталях, как он волочился за барышней, делая вид, что способен испытывать чувства...

- Скажи мне: верно, что именно я стал прототипом твоего романа?

- Нет, неверно.

- Признайся, N., что разглядел во мне героя: я тебе все прощу. С тебя пиво – и разбежались. Идет?

- Прототипом моего романа был я; это самый банальный случай во всей литературе, - внятно ответил я, автор. – Можешь рассказать о моем саморазоблачении всему городу.

- Не приписывай себе несуществующих достоинств. Писатели, как все пустые люди, имитируют личность, подражают другим. В этом и заключена суть таланта: в имитации. Разве нет? Вы паразитируете на других, на таких, как я.

Возражать дураку, который наловчился выражаться умными словами, – самое тягостное из всех известных мне занятий.

- Я поставлю тебе пиво. Только с условием.

В моем маршальском тоне не было ни намека на капитуляцию.

- Никаких условий. Извинения и пиво в благодарность за мой кроткий нрав.

Наглость пустышки, возомнившей себя романной личностью, превосходила все мыслимые пределы.

- Ну, и черт с тобой. Обойдешься без моего пива.

- Хорошо, я согласен на твои заведомо неприемлемые условия. Ты пользуешься моим незаслуженно хорошим отношением к тебе. К тому же тебе чуждо великодушие. А таланты, заметь, великодушны.

- Условие простое. Я ставлю тебе пиво за то, чтобы ты великодушно оставил меня одного. Немедленно.

- Ты предлагаешь, чтобы я взял твое угощение деньгами?

- Именно. И тут же растворился в нагретом воздухе.

- Тогда это будет два пива...

- В таком случае тебе придется уносить ноги в два раза быстрее...

Солнце не стало дожидаться, чем окончится мой торг с Григорием; оно, презрительно уменьшаясь в размерах, погрузилось за кромку леса и скрылось, с намерением направляя свои остывающие прощальные лучи в сторону от меня.

- Прототип чертов, - выругался я и, чтобы немного взбодриться, заказал себе второй бокал прохладительного напитка.

Когда я допивал бокал (пивной хмель удивительно рифмуется с легкой печалью), в голове моей сложился рассказ, который я и записал тем же поздним вечером, переходящим в ясную ночь, – после того, как проводил свою подружку, раздражительно напоминавшую Мэрилин Монро, легкомысленно впорхнувшую в информационную эпоху на своих умопомрачительных шпильках, очаровательно не выходящих из моды, как и красивая женская ножка. Вот только концовка опуса мне никак не давалась. Смысл никак не хотел становиться объемным, внутренне противоречивым и распирающим форму изнутри, как это положено смыслу в приличном рассказе. Моим мыслям не хватало решающего штриха.

Пустяковый рассказ ни о чем не отпускал меня, и я, уподобляясь классику жанра (я развалился на просиженном диване, копируя расслабленную чеховскую позу; Антон Павлович интеллигентно пялился мне в спину с фотографии, стоявшей у меня на столе, на котором царил толстовский порядок), позвонил своему давнему приятелю, прозаику Кр. Хорошуну, считавшемуся выдающимся экспертом по части чужих шедевров, – очевидно, потому, что сам давно уже ничего не писал, – и поделился с ним своими соображениями.

- Написал рассказ под названием «Прототип». Впервые позволил себе вставить почти реальную сцену. Представляю, как обидится пострел Григорий. Но он сам напросился... Оцени-ка свежим взором, почитай. Кажется, чего-то не хватает, не могу понять, чего.

- Отчего же не почитать? Почитаем, вникнем, оценим, - мастит бубнил экс-профи, явно кого-то напоминая своими дурацкими тягучими интонациями. – Почитаем, отчего же не почитать...

Он напоминал мне меценатствующего купца, в наказание за что-то лишенного буйной бороды, – тип, который я, конечно же, никогда не видел в своей жизни, да и он, разумеется, тоже. Но ведь мы оба читали Островского и Лескова. А также Чехова.

- Знаешь, - сказал мне приятель Кр. Хорошун на следующий день, тяжело дыша в трубку, - больше мне не звони. Прототипом ты сделал меня, не наводи тень на плетень. Только зачем тебе надо было выставить меня таким идиотом? Не понимаю. Я ведь совсем недавно был в Гродно и позволил себе поболтать о том о сем с одним из твоих братьев по перу. Что вы за люди такие, писаки? Сплошное вранье. Испорченный телефон. Я ничего не говорил о Лидке, это ты сочинил. А теперь весь город будет сплетничать... Не думал, что ты из числа тех, для кого не существует ничего святого. Кстати, твой брат видел тебя в Гродно с молодой блондинкой. Ты уже бродишь с ней под ручку звездной ночью в его рассказе... За что боролся на то и напоролся... Бывай.

Я молча повесил трубку, даже не извинившись. А за что, собственно?

После этого отправился на кухню, где тихо колдовала моя жена (есть такой удивительный тип женщин, в меру умных и в меру хозяйственных, который счастливо подходит писателям): я знал, что меня ждут огненные голубцы под ледяную рюмку водки. Еще нет семи, можно позволить себе плотный ужин. Потом пораньше лечь спать. Завтра, как всегда, ждет суетливый хлопотливый день, после которого одолевает впечатление напрасно потраченного времени. Если бы не голубцы – совсем беда.

Я ведь тоже был не похож на тот прототип, который грустно развлекался в Гродно с белокурой подружкой. Пиво я, кстати, не люблю. И к блондинкам равнодушен.

Интересно, поверит ли этому жена, если ей при случае шепнет на ухо правдоподобную сплетню ушлый Хорошун?

13.10.06 – 04.04.07

ПРАЗДНОСТЬ

Малиновский Лев Сергеевич, писатель, которому любой читатель на первый взгляд не дал бы и пятидесяти, а на второй – и шестидесяти показалось бы маловато, начал день с того, что с удовольствием перелистал свой роман «Герой нашего племени», опубликованный два года тому назад. Роман имел успех, но не оглушительный. Это был хороший знак: грандиозный успех у публики, ничего не понимающей в литературе, – это неприлично, если не скандально.

Собственный опус казался ему блистательным, безо всякого преувеличения. Сделанный на разные вкусы, – на самый изысканный и требовательный и одновременно на претенциозный, развязный, и где-то даже низкий – роман мерцал и переливался глубинами, которые и сам автор разглядел далеко не сразу. Это был не просто изящно и с выдумкой отделанный текст, и не «что-то про жизнь», а обогащение культурной формулы: Лев Сергеевич нашел в жизни место «лишнему человеку», отыскал вариант продления сносного существования умному чудаку. Писатель приткнул своего героя в уютный уголок, откуда просматривались выходы на все четыре стороны. Собственно, спас ему жизнь. Не так уж и мало для героя, приговоренного к бессмысленной смерти еще двести лет тому назад. И все это вуалировалось под легкомысленный маскарад, под мотыльковое шараханье от свечи к свече, под несерьезное прозябание.

Даже если отыщется такой мудрый сверхчитатель, который все поймет, он никому не сможет объяснить, что это новая трагикомедия, новый способ разбивать сердца и оживлять их. Ему просто не поверят. Текст вот он – доступен всем. Из него, как всем понятно, ничего такого не следует. Читают же Лермонтова двести лет и смакуют всем классом, всем подрастающим поколением, какой бездушный эгоист этот Печорин и насколько отвратительно окружающее его общество. И никому в голову не приходит, что всерьез изучать чужую жизнь, так благополучно начатую и в силу этого обреченную на гибель, в школе просто недопустимо. Опасно.

Чрезвычайно довольный собой, а также творческой удачей – обвести вокруг пальца всех и тем самым наказать самого себя: такое не каждому под силу, – Лев Сергеевич вальяжно и мастито раскинулся на диване.

Вчера с приятелем, тоже холостым, не знающим, зачем он живет на белом свете, пили виски и только виски. Сегодня Малиновский разомлел от ненатужного и легчайшего похмелья (одновременно отчетливого и, как бы это выразить, веского, но не прибывающего), когда всем существом твоим заправляет легкий восторг, когда не перейдена та грань (вчера выпито было с изумительным чувством меры), за которой наступает безотчетное и немотивированное чувство вины, начинает мучить подавленность, и темные стороны вещей, обычно присутствующие непроявленным фоном, спешат проступать смутными сумраками, заполняя своими тенями потревоженный мир. С тяжкого и безрадостного похмелья кажется, что ты всем должен, что ты ничего в этой жизни не сделал и сделать не в состоянии. Вся прежняя жизнь

представляется бездарным самообманом, а новую, тупую правду вынести нет сил. На этот раз – никакого чувства вины, напротив, волшебное чувство вознесенности, за которое не стыдно только потому, что о нем никто не знает.

Грело душу также то, что Малиновский не скрывал от себя природы эйфории. Развалясь на диване, Лев Сергеевич честно признался себе, что сделал то, что считал самым главным в своей жизни: он познал себя и сумел выразить это в очень даже достойной форме. Никогда прежде не испытываемое им чувство состоятельности, самореализованности – можно было бы сказать, чувство исполненного долга, если бы не скептическое отношение писателя к этому слову, которое взваливает на человека кучу вещей, не имеющих к счастью человека никакого отношения, – радостным похмельным туманом обволокло голову, ласково теребило фибры души, распустившиеся нежным бархатом. Лев Сергеевич имел обязательства только перед истиной (какое счастье, что не надо простыми доступными словами объяснять это никому в мире, ибо эти самые слова, обращенные к кому-то, непременно начинали отдавать высокопарной фальшью), и он выполнил свои обязательства так, как понимал их. Ничего не делать в этот момент представлялось ему высшим и – пардон, господа! – заслуженным блаженством.

Это даже не отдых, это именно наслаждение праздностью. И этот редкий духовный кайф, не имеющий ничего общего ни с наваждением вдохновения, ни с предчувствием небывалого успеха, только увеличивался оттого, что где-то в глубинах, в потаенных недрах своего приоткрывшегося и ликующего существа он ощущал застывшую твердь констатации: больше такой шедевр ему не создать. Главное уже сделано, и сделано неплохо. И никакого сожаления по этому поводу! Именно и только – счастье. Бремя сброшено. Наслаждаться праздностью можно не только сейчас и сегодня. Отныне и навсегда. Переживать мгновения высокого уважения к себе: об этом не принято говорить вслух, но это так же реально, как горе от ума. Не очень осязаемо, но вполне реально.

Он и не собирался отдыхать или поживать на лаврах. Отдых предполагает какое-то занятие, которое в этот момент нельзя считать трудом. Почивать же на лаврах – это тот самый гимн пошлости, против которой и был обращен его роман. Наслаждение праздностью не предполагало никаких занятий, никаких расхожих и доступных всем эмоций. Это нельзя было назвать нирваной или медитацией – традиционным искусством нивелирования проблем, своего рода трудом, направленным на достижение благого результата: духовную кастрацию. То, что испытывал Малиновский, было чистым мужским наслаждением от победы: честное столкновение лоб в лоб с самыми главными человеческими проблемами позволило сконцентрировать и реализовать собственные духовные возможности, так счастливо, с таким чувством меры явленные миру.

Нет, ничто из придуманного человечеством прежде не было тождественно этому переживанию, умному, тонкому и многоплановому.

Состояние Льва Сергеевича было настолько выразительным и полновесным, что ему захотелось передать его на бумаге. Просто зафиксировать для себя. Так

сказать, чистого искусства ради. Но желание это не было столь определенным, чтобы тотчас заставить вас встать и устремиться к письменному столу, спотыкаясь и роняя чашку с крепко заваренным чаем. Все происходящее в душе вообще не предполагало резких движений и ненавистой обязательной деятельности. К дьяволу чувство долга, от которого только так – к чертовой черте его! – и можно получить удовольствие.

Он сидел на диване, ощущая полуприкрытыми веками теплоту солнечных лучей, лениво бродивших по комнате. Лениво думалось о том, что сейчас лениво тянется осень, неторопливо соря листвой и медленно расставаясь с теплом. Крепких морозцев еще не было, их, предвестников зимней осады, ожидали со дня на день. Сизоватый утренний туман, наверное, уже рассеялся, и черные остовы деревьев строго маячили на фоне еще зеленой травы. Можно было бы посмотреть в окно и проверить, так ли это. Так, конечно. А главное – все залито мягким солнцем, пробившимся сквозь туманные облака и оттеснивших их своими упрямыми лучами туда, к горизонту.

Плавное течение мыслей вдруг поменяло русло и устремилось в сторону. Куда же кривая выведет? Куда ж нам плыть?

Наслаждение не исчезало, но стало приобретать другие чувственные очертания. Показалось, что если в его произведениях не будет отражено этого сложного, мучительно непередаваемого, состояния, то творчество будет заметно обеднено. Почему? Неважно. Ответ требует слишком большого напряжения. Неважно – и точка. Конечно, эти мысли в форме переживаний должны принять форму рассказа. И название не надо придумывать. Оно давно готово: «Наслаждение праздностью».

Малиновский улыбнулся, смежил веки и тихонько растворился в спокойном сне, свернувшись калачиком на диване. Самым краешком сознания он успел сладко зацепиться за мысль, содержание которой разворачивать было лень. Запомнилась оболочка мысли – ощущение: так вот мирно уснуть среди бела дня – это тоже наслаждение праздностью.

Когда он проснулся, в комнате заметно потемнело. Он подошел к окну: косматый малиновый шар солнца агрессивно завис у самой линии горизонта, измазанной грязноватыми клочьями облаков. Сизоватый туман уже поднимался из-за кромки леса. С высоты девятого этажа привычный пейзаж, как всегда, выглядел непривычно. То время суток, то пора года, то погода, то настроение делали его всегда разным. Который час? Четыре часа пополудни. Через час уже плотная тьма охватит все вокруг, помогая черному полю сливаться с густо подчеркнутой синевой небес и выдавливая малюсенькие капельки серебряных звезд на мрачном небосводе.

Отчаянно захотелось восстановить свое необычное, странное переживание. Пусть это будет рассказ. Пусть – «Праздность». Рассказ – это не рассказанная история, состоящая из ряда событий. Бунин был прав, где-то у него есть об этом. Рассказ не имеет ничего общего с рассказыванием; но рассказ – это и не постигнутое словом переживание, как это всегда бывало у самого Бунина. Иван Алексеевич был прав, но обосновывал свою правоту с ложных позиций. Надо не рассказывать, и не описывать переживания, но ловить неуловимое.

Передавать непередаваемое. Причем это «нередаваемое» вовсе не поэтического состава, как представлялось Бунину, а соткано бессознательным из умных чувств, цепляющихся друг за друга в сумбурном хороводе и в то же время рвущихся на волю с той поляны, где магией писателя закручен небывалый карнавал. Писатель – это, конечно,ловец человеков, ловец самого себя.

К столу было страшно подходить. Как всегда, когда брошен вызов себе же, под ложечкой засвербило от страха. Малиновский искренне, от всей души позавидовал своему приятелю, который ведать не ведал, зачем он живет на свете. Ему и в голову не приходило регулярно вызывать себя на дуэль, ставить к барьеру и припечатывать к позорному столбу – и умудриться при этом быть палачом и жертвой, зрителем и осужденным. К черту бы такое счастье. Малиновский хотел было встать из-за стола, но вдруг ему стало неловко за свое наслаждение праздностью, точнее, за то, что с появлением в его жизни этого чувства, он перестал иметь право на это наслаждение до тех пор, пока не выплеснет его в рассказ. Что за комиссия, создатель!

Чувствуя, что он попал в какую-то ловушку, из которой нет разумного выхода, Малиновский обреченно схватился за голову. Об этом тоже невозможно было никому рассказать. Предстояла каторга. И избавлением от каторги было последовательное прохождение каторги от начала до конца. И никак иначе. Встать из-за стола – значило заслужить иную, позорную, каторгу, которая рано или поздно привела бы к каторге первой. Круг замкнулся, и не сегодня. Давно. И непонятно, какой круг.

Лев Сергеевич с ненавистью посмотрел на любимую керамическую кошку, которая, вытянувшись в струнку, с напряженным вниманием сидела на краю стола и следила за действиями писателя. Длинная, грациозно вытянутая шея, переходящая в прямо подобранные и упершиеся перед собой передние ноги, округлые ушки и расплывшаяся безглазая мордочка. Голова с искренним сочувствием слегка наклонена вбок. Чем больше смотрел на черную фигурку Малиновский, тем больше хотелось ему схватить кошечку за шею и ударить массивной нижней частью корпуса, обвитой упругим хвостом, по беспощадно белому листу бумаги, всегда лежащему наготове. Неизвестно кому хотелось причинить боль: кошечке, листу или себе.

Со страшной обидой Лев Сергеевич стал вспоминать, чем начался сегодняшний благословенный день. Мало-помалу он перебрал все свои ощущения, и они незаметно выстроились в рассказ. В данном случае ничего не надо было придумывать. Надо было только записать то, что трепетало и жило на кончике языка и в ткани этих самых фибр с бархатным подшерстком. Сопротивляться было поздно и бессмысленно.

Рассказ измучил и измотал Малиновского. Он, назло здравому смыслу и чему-то еще, писал всю ночь, чего обычно никогда не делал. Потребовались изрядные усилия, чтобы передать легкое, сотканное из смутного тумана ощущение, за которым сквозило что-то еще...

Оно, это едкое ощущение, ускользало, манило-дразнило, не давалось в руки, отказывалось повиноваться словам, сопротивлялось навязываемому смыслу и

при этом само порождало неуправляемый смысл. Он давно убрал – с глаз долой! – кошечку, и только с сухим хрустом соскребал со стола и комкал почти пустые листы, вибрируя от злости то ли на себя, то ли на порядок вещей, позволяющий одним жить-поживать без цели, без трудов, а другим...

В какой-то момент он и сам не заметил, как, не отрываясь, исписал несколько листов подряд. Внутри что-то отпустило.

Наутро разбитый, отупевший, с раздражающей головной болью, раздавленный чувством неудовлетворенности, смешанного с чувством легкой гадливости и презрения к себе и ко всему на свете, Лев Сергеевич заставил себя перечитать рассказ. Время от времени он страдальчески закрывал глаза ладонью и покачивал головой. Плохо. Ему стало стыдно за испытанное им наслаждение праздностью. Это его слегка отрезвило. С другой стороны, его роман вначале тоже казался ему полным кошмаром...

За окном безжизненно пластался сизый туман. Он плотно облепил дома, черные деревья и бетонные столбы, сдавил пространство и лишил его перспективы. Не верилось, что эта седая муть когда-нибудь рассеется. Черная земля и зеленая трава казались воспоминанием из другой жизни.

Хотелось солнца.

2006

ПРОГУЛКА

Март с трудом вырывался из объятий зимы и с надрывом торил дорогу к звонкому теплу. Солнцу, туго спеленатому облаками, не удавалось выскользнуть на свободу, но вряд ли бы нашелся безумец, который рискнул бы поставить в этой неторопливой возне на облака. Солнце набирало силу, зима ее теряла.

Однако Малиновский Лев Сергеевич, писатель, поставил все же на облака. Через четверть часа он не без удовольствия проиграл. Огнедышащее Солнце распоролло полотно облаков в клочья и разметало их останки по бледно-голубому, обесцвеченному долгой зимой небу. Оно сияло так победоносно и ликующе, словно это было и не Солнце, а огромная золотая всеолимпийская медаль, которая отражала свет еще более мощного Светила. Не хватало только пронзительных фанфар.

- Один – ноль, ваша взяла, - сказал Лев Сергеевич тоном, не обещавшим Солнцу легкой жизни. – Отыграемся во втором тайме. Через часок. Недаром ведь существует второй тайм. Всегда есть шанс взять реванш...

На секунду он задержался возле деловито копошившегося комочка в перьях – нахохлившегося существа, которое при ближайшем рассмотрении оказалось грязной в сиреневых разводах голубкой – мифической птахой, приносящей отчего-то людям мир в своем неопрятном клювике. Мир так мир.

Лев Сергеевич отправился дальше.

Он гулял раз в день, как правило, после трудов праведных, хотя и, не исключено, бессмысленных. Однако бывало, что и до трудов праведных, и даже вместо трудов. Как получится. Маршрут был неизменен, как у Солнца: он двигался вдоль квартала, тянувшегося слева от его дома, затем пересекал огромный парк, расположенный в живописном овраге и возвращался с противоположной стороны, обходя сначала церковь, а потом все тот же квартал, с которого начинал свое путешествие. По часовой стрелке, против движения Солнца. Прогулка занимала не менее часа. Для возраста Малиновского – ему было немного за шестьдесят – это был неплохой результат.

Жизнь Льва Сергеевича тоже когда-то началась с проигрыша. Потом, случалось, он и выигрывал. Но можно ли победить в жизни, которая всегда заканчивается грандиозным поражением?

Неизвестно. Главное – чтобы игра удалась. Не так ли?

Он поднял бровь, адресуя свой поколениями отточенный вопрос Солнцу. Оно спряталось за набежавшую тучку. Повезло...

Навстречу ему вразвалку двигалась соседка с нижнего этажа, ведя на поводке тупорылого вертлявого ротвейлера. Даму звали Лариса Глобус. Наблюдая за ее походкой, Лев Сергеевич сформулировал для себя «эффект ротвейлера» – особого рода покачивание, почти ерзанье сакральными полушариями, которое удавалось дамам, обладающим крупными достоинствами: объемными ляжками, переходящими в оттопыренный, пышно взошедший, словно на дрожжах, зад. Все эти выдающиеся прелести переваливались на невидимых шатунах столь выразительно, что отчасти

напоминали хорошо освоенный цирковой трюк или, если приземлить фантазию, игру телес раскормленных породистых животных. Тех же ротвейлеров, например. Непонятно было, дама пародирует собаку или наоборот. Комический эффект усиливался еще и оттого, что физиономии у дамы и у собаки были весьма серьезными. Эффект ротвейлера, наблюдавшийся сразу у двух существ, четвероногого и двуногого, – это надо было всякий раз пережить. Извольте быть вежливым и любезным, господин писатель, тем более что дама-с-ротвейлером давно строит вам глазки. Чтобы погасить приступ невольного смеха, Малиновский, покашливая, напомнил себе, что, по его наблюдениям, половина дам, которым был присущ «эффект ротвейлера», были классическими стервами. Этот эффект не столь уж и безобиден.

Блестящий блеск алой губной помады, крупные, под стать всей фактуре, губы, маленькие глазки, густая шелковистая шерсть с рыжими подпалинами, кожаный намордник...

«Большая стерва!» - с оттяжкой пронеслось у него в голове, пока язык бессвязно лепетал приветствие.

- Очень прия-ятно! – громче, чем следовало бы, сказал писатель, но, очевидно, произнес это с интонацией «вот сте-ерва».

Дама с изумлением вскинула на него хотя маленькие, однако же заботливо подведенные глазки.

- Да, да, очень приятно, - подтвердил Малиновский, строго следя за интонацией. Получилось настолько убедительно, что прозвучало как комплимент, о чем он тут же пожалел. Если она действительно стерва, комплимент не останется незамеченным. Свою же любезность придется отрабатывать.

Лев Сергеевич поднял голову вверх: Солнце все еще ликовало, хотя на горизонте, как говорится, сгущались тучи. Посмотрим. Время еще есть. Пока по-прежнему один – ноль. Но мы умеем ждать своего часа. Без этого в игре никуда.

А вот эта знакомая вывеска неизменно бодрила и вызывала улыбку. Большими буквами начертано: Фирма «Будьте здоровы!» А внизу шрифтом помельче пущено убойное: «Доктор Гробовой». Малиновский давно хотел вставить этот колоритный штрих из жизни в роман или рассказ, но штрих был настолько ярок, что существовал сам по себе как отдельное законченное произведение. Читатель посчитает это грубоватой выдумкой, неуклюжей натяжкой, балаганом – неуважением к развитому вкусу. Малиновский давно уже (последние годы без энтузиазма) коллекционировал взятые из жизни фамилии, принадлежащие людям, профессии или внешний вид которых явно усиливали воздействие и без того «красноречиво говорящих» паспортных данных. У этих людей были все основания считать свои фамилии если не оскорблением, то уж точно насмешкой судьбы. А может – меткой?

Коллекцию открывал некто Илья Донос, сыщик; были в ней Эра Мочалкина, актриса; томная барышня Мила Истоменок; штангист Гигантон; пианист Балалайкин, дирижер Палочкин, пилот Самолетов... Неизвестно, кем был г. Кувалда Г. (вот она, вырезка из газеты), но если бы у него в руках оказался тот

самый неказистый инструмент, предсказанный фамилией, никто бы не удивился; более того, всем казалось, что в его облике недостает чего-то увесистого, рабоче-крестьянского. Его растеряннo-пустые, тоскующие лапы заставляли собеседника озираться по сторонам в поисках чего-то тяжелого, деликатно отставленного в сторону. Когда он звучно прихлопывал собеседника своей фамилией, тот с облегчением улыбался. Ясно, что хотелось сунуть в руки этому парню: кувалду вместе с наковальней. Ему на роду было выковано не расставаться с молотом. Возможно, он даже родился с кувалдочкой в розовой ладошке.

Как вы думаете, какая профессия была у человека, носящего фамилию Скакун? Тренер по прыжкам в воду. К чему обязывает фамилия Медведь или Комар? Почему-то все Медведи, которых мне довелось знать, были комариного формата, а Комары – все сплошь похожи на хозяев тайги, бурых мишек.

Продолжать можно бесконечно, но уже не смешно. Хотя...

Это же невероятно! Жизнь любит шутить, судьба любит играть. В сущности, ничем другим эти две сестрицы и не занимаются. Доктор Гробовой... Нарочно не придумаешь.

Следующую остановку Малиновский сделал возле газетного киоска (стоящего, как и церковь, на перекрестке), чтобы полюбоваться на гляцевые обложки книг популярных авторов, уверенно держащихся на плаву в море гламура. Время выбрало их. Это, как говорится, наводило на размышления. Дело не в том, что это была плохая литература; дело в том, что эта низкопробная писанина стала «культурным» памятником эпохе. Писанина – это еще мягко сказано. Малиновский с благоговением рассматривал бестселлеры, читательская аудитория которых – сотни и сотни миллионов человек. Тоже море. Плюс Лариса Глобус, которая норовит обсуждать со знакомым писателем новинки книжного рынка. «Яд бессмертия». Потрясающе. «Потрясающий мужчина». Тоже ничего. «Смерть по высшему разряду». Нет слов. «Поцелуй смерти», «Последняя жертва», «Жертвоприношение»...

«Вы не читали «Смерть в капюшоне», Лев Сергеевич? Это потрясающе!»

Если вы такой талантливый, Лев Сергеевич, то отчего же так вопиюще непопулярны? Ась?

Да потому, что не умеешь разговаривать с читателями бестселлеров на их языке. Ты предлагаешь им литературу – а им нужен «потрясающий мужчина». Стеллажи киосков обновлялись постоянно; неизменной оставалась только природа потрясающих читателей, из которой перли психология и менталитет элементарных потребителей. Они ждут от тебя увлекательнейшего развлекательного продукта, а ты им о непостоянстве сердца и о тщете умственных подвигов. Дурак ты, Малиновский, а не они. Их невозможно назвать дураками, потому что понятие ум неприменимо к ходячему желудку в панаме, возле которого крутит упитанным задом ротвейлер.

Никто не виноват, что литература никому не нужна. Глупо сокрушаться, что человек такой, каков он есть, а не такой, каким бы хотелось его видеть.

Однако несовершенство мира еще не повод для того, чтобы стать дерьмом и заговорить на языке читателей, которые не читают литературы. Разве нет?

На сей раз не поднимая головы, Лев Сергеевич ощутил, как тучи облепили Солнце, огненного дракона, отчаянно сражавшегося с серостью.

Давайте помиримся и снимем друг перед другом панамы. Можем даже символически выпустить на волю по неопрятной голубке (хотя не уверен, что это добрый поступок: для них, развращенных дармовыми бисквитами, воля хуже клетки во сто раз). Что я имею против «Яда бессмертия»? Абсолютно ничего. Травитесь на здоровье. Вы меня неправильно поняли: я за прогресс в литературе, то есть за то, чтобы в высокой литературе были представлены жанры, которым там делать нечего. Будьте здоровы! Всего доброго! Очень приятно... С нетерпением ждем вашей следующей книги! О чем она будет? Ась? О любви? Уже неплохо. Любовь – необходимый элемент бестселлера, дорогой Лев Сергеевич. Главная тема массовой литературы. Раз любовь – значит, для широкой читательской аудитории. Любовь – это общедоступно. Мы верим, что ваши книги займут достойное место где-нибудь посередине между «Ядом бессмертия» и литературой патриотического направления, наподобие потрясающей книги «Ангелы моей Отчизны» небезызвестного генерал-лейтенанта Майорова.

«С другой стороны, я бы поставил памятник тому читателю, который выбирает «Поцелуй смерти», а не «Ангелы моей Отчизны», роман нашего славного земляка, увешенного лауреатскими значками, будто породистый ротвейлер, и бездарного настолько, что даже потрясающие читатели зажимают нос, обходя его немалые лауреатские тиражи. Или честно выбирать то, что не имеет отношения к литературе, или собственно литературу. А вот «Ангелов», эту низкую пародию на высокий вкус, которую потрясающие литературные судьи наивно, чтобы не сказать коварно, посчитали нашим национальным достоянием, надо действительно обходить стороной».

Ознакомимся с газетой, средством массовой информации, где брутальный писателишко Майоров, автор «Ангелов», дает интервью (в смысле навязывает его из лучших, то есть патриотических, побуждений потрясающей журналистке). В интервью много любопытного, хотя всем давно известного, приевшегося до оскомины. Романист считает своей главной заботой честно вколачивать прописные истины в незрелые мозги читателей, отвлекающихся на «Смерть по высшему разряду», а также заблудших и погрязших в черных страницах «Жертвоприношения». Вещает, казалось бы, бесспорное: «Для того чтобы написать десять романов о любви, не надо любить десять женщин». Подразумевается: любовь к одной женщине может быть настолько безмерна, что описать ее, любовь, не хватит и десяти романов. Весьма высоконравственное заявление, буквально апостольское послание. Молодежь будет обескуражена, тронута и взволнована. Ангелы не скрывая слез, должны заплодировать генералу, взрывая вековую тишину, литературные судьи – тоже, начальство посерьезнее – заметить. Да и читатели должны откликнуться: ведь это их, родное – типично ханжеский довод и плебейский стиль мышления.

Увы, чтобы написать хотя бы один приличный роман о любви, надо любить не менее десяти женщин. Надо жизнь посвятить любви. Целомудрие, которому аплодируют ангелы, – не для исследователей человеческих душ, не для

талантливых писателей. Целомудрие таланта – особого рода: оно заключается в том, чтобы уметь отличить подлинные чувства от не подлинных. Подлинное ханжество от подлинного целомудрия. Да что толковать этому «ангелисту», который в слове литература через раз делает ошибку, а в слове искусство – никогда не ошибется: в первом слоге всегда будет писать две «с». Это на всю жизнь осталось от первой и любимой учительницы.

Здесь Малиновский, далеко уже отошедший от киоска, решил встать на крепкую позицию «ангелиста» и «для порядку», а также объективности ради (издержки демократического образа мыслей, обрушившихся на страну, как цунами), критически отнестись к самому себе. «Во-первых, от тебя, Малиновский, ушла единственная жена из-за всех твоих десяти женщин. И правильно сделала, хотя ты пытался убедить ее в чистоте своих намерений. Смешно. Во-вторых, твой роман о неразделенной любви «Маргинал» продается во сто крат хуже «Ангелов», которые, кстати, скоро будут переизданы государственным издательством благодарного Отечества. В-третьих, твои книги давно надо запретить. Чему ты учишь читателей? А? «Целомудренной следует считать ту женщину, которая развратничает только с одним мужчиной». Цитата из твоего романа. Ну, не гадость? Это же пропаганда разврата!»

«Позвольте!» – стал горячиться Малиновский, незаметно для самого себя переместившись на какую-то иную точку зрения, хорошо ему знакомую. «У меня свои, особенные отношения с читателями, которых я, из уважения к истине, а также к тем, кто способен хоть немного представить себе, что это такое, ничему не учу. Точнее, учу только тех, кто хочет и может учиться. А мне есть чем поделиться с думающими людьми. Конечно, есть. Доказательства? Пожалуйста. Лет десять назад на одной читательской конференции, где начинающий тогда Майоров, полковник, побаловал публику своей забытой ныне повестью «Родина против демонов», ко мне подошла молодая девушка (свежая поросль нового поколения, с которым Майоров уже тогда был суров, но справедлив), и между нами состоялся простодушный диалог. Вот оно, доказательство.

- Вы кто?

- Малиновский.

- Автор романа «Человек осени»?

- Да, ангел мой весенний.

- Я думала, что вы давно уже умерли.

- Почему?

- Сейчас так хорошо никто не пишет.

- Спасибо на добром слове. Вы мне льстите. Но я, к моему изумлению, еще жив.

Отношения между нами, кстати сказать, продолжались после этой конференции еще много лет, и доказательств читательской любви я получил сколько угодно. Вам и не снилось. У нее была милая и тихая улыбка, которая пряталась в уголке пухлых губ, задумчивые серые глаза и замечательные светлые волосы, которые в сочетании со светлой кожей блондинки создавали

впечатление, что девушка светится изнутри. «Я даже в душе блондинка», - говаривала она. Тогда еще я не знал, что эта яркая фраза, которая мне так понравилась, принадлежала кинодиве, одной из самых глупых и пошлых женщин мира. М-да-а... Но это отдельная история.

Вернемся к полемике, чтобы ее закончить.

Это с каких пор литература должна кого-то чему-то учить? Да великая литература вообще создается не для читателей, если на то пошло!»

В этом месте гневной тирады писатель, прозаик, остановился и обернулся по сторонам. У него не было никакого желания объясняться с кем бы то ни было по поводу своих честных мыслей. В этом-то вся проблема: желание напрочь отсутствовало.

В заключительном слове, которое Малиновский великодушно предоставил сам себе, он был краток: «Да пошел ты в задницу к ротвейлеру, ангелист».

Майоров не нашел, что возразить хаму и грубияну.

Малиновский опять посмотрел на Солнце: тучки напирали, лоскуток к лоскутку, и уже почти все просветы были затянуты серым мехом. «Один – один», - миролюбиво подытожил он. «Ничья».

Сегодня прогулка явно удавалась: мало того, что он удачненько отбрил ангелиста, еще и подфартило утереть нос разбушевавшемуся светилу. Без везения в игре – никуда.

Парк, на зиму превратившийся просто в овраг, закончился крутым подъемом, одолев который, Малиновский подходил к церкви. Множество прихожан, добрая половина которых, несомненно, была поклонниками «Яда бессмертия», тянулись под злащенные купола и размягченно вытекали оттуда с просветленными и как бы решительными лицами. Все жаждали мира, стреляя глазами в тех, кто его не жаждал.

Вот этот социальный институт, заставлявший людей думать о себе лучше, чем они того заслуживают, Малиновский всегда обходил стороной.

А вот и поворот к своему дому. Знакомая бетонная стена с рядами окон – бесконечный дом, в середине которого находилась квартира прозаика Малиновского. Как говорится, мир дому сему. Если «мой дом – моя крепость», значит, я – крепостной?

После прогулки – да за работу. Впечатления от соприкосновения с реальностью, согласно вере тех, кто воспитывает читателя на образцах литературы, которую читатели не читают, должны были выплеснуться на бумагу, но на белоснежной целине листа кривыми каракулями застряли следы одной сиротливой фразы, обрывающейся у края белого поля и неизвестно к чему относящейся: «Март с трудом вырывался из объятий зимы и с надрывом торил дорогу к звонкому теплу».

2005

РАССКАЗ О ТОМ, КАК Я НАПИСАЛ РАССКАЗ

Часть первая

1

Истории повторяются.

Я вдруг обнаружил, что оригинальным быть невозможно. Оказывается, все уже описано, разобрано, занято. Первым быть не получается, в лучшем случае можно претендовать на место в первой сотне. Это грустно. Грустно оттого, что сама номинация «первое место» ликвидирована бог знает когда и неизвестно кем.

Рассказ – жанр, который изобретен не мною. Мыслью пользовались и до меня, и задолго до Сократа, чувства же знакомы и собаке. Если мне в рассказе понадобится цифра 3 или 17, то следует иметь в виду, что они уже множество раз использовались и до меня. Я не краду, конечно, и не заимствую, потому что у цифр нет хозяина. Неизвестно, кто первым сосчитал до 17. Известно лишь, что это был не я. Увы. Я не первый, это точно, хотя и далеко не последний (что тоже не радует: быть первым последним – весьма заманчиво). Я не краду, я цитирую, пользуюсь тем, что доступно каждому. Черпаю, так сказать, из кладезя культуры.

Понадобились мне в рассказе *он* и *она*. С ужасом отдаю себе отчет, что эта ситуация уже тысячу раз была прокомментирована до меня на разные лады. Что между ними происходит? Любовь, ненависть, дружба, вражда? Возможно, ничего не происходит. Возможно, случается странная любовь, или самая обычная, или что-то похожее на любовь, или любовь, переходящая в ненависть...

Что бы между ними ни происходило, все уже было. Ничто не ново под луной (не уверен, что первым это сказал Соломон).

Чем могут закончиться отношения между ним и ею? Смертью?

Я вас умоляю: это банальность, от которой тошнит; банальнее может быть только счастливый финал. Может быть, все таки немного счастья, может, прилепить счастливую концовочку, а? Желание счастливой финала так же вечно, как и невозможность его.

Ситуацию *он* и *она* мы можем расширить до треугольника – и вы попадете в болото банальщины (кстати, «болота банальщины», кажется, еще нигде не было. Первый?). Трансформируем ситуацию до масштабов квартета. Можем постепенно дойти до 17 человек. Все это уже было, было, было. Было. К сожалению, к сожалению, к сожалению. Можно даже изобразить народ – и этим вы никого не удивите: есть тысяча (и не одна) способов показать, полновесно воплотить неограниченное количество людей, необозримую массу и толпу. Было.

Если вы порассуждаете еще минут пять-семь, то придете к выводу (не вы первый), что вся возможная оригинальность кроется не в том, *что* вы скажете, а *как* вы это сделаете. Если вы дадите себе труд подумать еще минуты три (до вас это удавалось многим, очень многим), то поймете, что банальнее этого в

литературе придумать ничего невозможно. Как раз попадете в «болото банальщины». Было.

Остается отложить в сторону стило и горько вздохнуть. Так, кстати, и до вас поступали сотни одаренных творцов (ибо бездари не страшатся банального, у них отсутствует страх банального и нюх на банальное). Бездарям особенно тяжело: среди них быть и в первой тысяче уже престижно.

В состоянии творческого кризиса обычно так и случается: стило в сторону и глубокий горький вздох. Вдох, выдох. Встав из-за стола, вы попадаете в какую-то кошмарную среду обитания: что бы вы ни сделали, что бы вы ни подумали, что бы вы ни ощутили – все это уже было, было, было.

Вы теряете себя, растворяетесь в общем, общедоступном, начинаете презирать любую оригинальность, воспринимая ее как изнанку банальщины (что само по себе, откровенно говоря, избито до банальности). Можно было бы пойти и утопиться, если бы и это не отвращало своей допотопной банальностью. Со смеху умрешь, прежде чем утонешь.

Жизнь банальна.

Горе от ума – банально.

Глупость – банальна.

Жизнелюбие, суицид – все банально до чертиков, до скуки.

Продать душу дьяволу, которого, между прочим, не существует?

До этого додумались раньше моего, и это, по слухам, не очень-то помогло умникам. Дьявол оказался до банального примитивным.

Стать неподкупным героем?

Встретить Ее (или просто ее, красивую)?

Писать иль не писать?

В очередной раз банально испортив себе настроение, я встал из-за стола и выругался весьма вычурно и оригинально.

Вскоре и это вошло в привычку.

2

Истории повторяются. Не удивлюсь, если уже был рассказ о том, как некто (имярек) писал рассказ.

Однако со мной случилась действительно небывалая вещь. Во всяком случае, не удивлюсь, если это окажется правдой. Нет, я не научился летать – вдруг и ни с того ни с сего (в современной литературе – это сплошь и рядом). Нет, со мной не случилось самой очаровательной нелепицы на свете: умереть – а потом воскреснуть, чтобы травить банальные байки о бессмертии души, срамя направо и налево неверующих.

Ничего такого дешевого небывалого со мной не приключилось.

Я просто подумал: если все на свете бессмысленно, то надо бессмысленность сделать своей религией, возвести банальность в культ и существовать, поелику возможно, среди себе подобных, довольствуясь тем местом под солнцем, местечком под луною и тою мерою корма, которые доступны тебе. Баста. Надо перестать быть единицей, а стать одним из шести миллиардов.

И я банально успокоился. Для меня началось новое летоисчисление. Я с радостью отказался от притязаний быть первым, решив раствориться где-то в гуще, в многомиллиардной середине – так, чтобы меня невозможно было найти. Банально? Разумеется. Но не банальнее, чем быть Наполеоном или Львом Толстым.

Все. Я замолчал. Превратился в банального Будду.

После трехдневного молчания я подумал (про себя, не вслух): а что если я, именно я, один из шести (пока я молчал, боюсь, набежало до шести с половиной) миллиардов, с убийственной ясностью обнаружил и вывернул наизнанку природу человека вообще, всех живущих шести-шести с половиной миллиардов и неизвестно скольких уже банально умерших? Один – за всех?

Эта мысль лишила меня обретенного было покоя. И дело не в том, что я ощущал себя первым (я презираю банальные чемпионские эмоции); дело в том, что мне страшно захотелось поделиться этим знанием о человеке со всеми остальными. Я как-то банально забыл, что они банально не интересуются сутью вещей, тщась всяк по-своему (у них ведь каждому – свое; тьфу, банальные каналы!), то бишь оригинально, приспособиться к банальной бессмыслице.

Итак, я потянулся к перу, перо к бумаге...

И все вернулось на круги своя. Мое оригинальное знание можно было представить только в банальной форме, а этого мне делать не хотелось по причинам, как говорится в таких случаях, изложенным выше.

Рассказ в очередной раз не получился; точнее, в очередной раз получился банальный рассказ о том, как некто (имярек) в результате сложной умственной коллизии – и т.д.

Было.

3

Потом мне показался интересным такой поворот сюжета: я как-то подозрительно весело и беспечно взвалил на свои плечи груз познания. Я все равно не переставал чувствовать себя единицей, несмотря на то, что фактически был одним из шести миллиардов. Они жили бессознательно, корча из себя уникумов; я же сознательно пытался раствориться без остатка среди этого планктона, который с замиранием сердца листал Книгу рекордов Гиннеса. У кого длиннее борода, у кого круче сиськи из силикона, кто дальше плюнет, кто нелепее помрет. Большие оригиналы. У каждого – индивидуальный отпечаток пальцев, неповторимая форма ушных раковин и уникальная радужная оболочка глаз. Как легко быть непохожим на других! Похожи все были только в одном: каждому хотелось выше, быстрее, дальше, сильнее. Джунгли, вмещающие популяцию двуногих количеством около шести миллиардов при соотношении особей мужского и женского пола в пропорции приблизительно 50 на 50. Написать вам рассказ, братья по крови?

Но злился я как-то несерьезно, понарошку; злость моя была игровым моментом. Я не унизился до банального противостояния «я – толпа», полагая, что я первым влез в эту Антарктиду. (Между прочим, стремление выделиться из толпы – главный мотив поведения человека толпы.) Я подумал: само

понятие бессмыслицы производно от понятия смысл, или, по крайней мере, соотносимое с ним. Все таки я «один из», несмотря на то, что я – это я. Так, так, так. Что дальше?

А то, что все они являются еще и братьями по разуму, нравится мне это или нет. Братьями по коллективно рожденному смыслу. Вряд ли один, думающий, додумается до того, до чего додумались все, недумаящие. Один может быть гласом всех?

Преодолевая отвращение к себе, к ним, ко всеобщей и вездесущей банальщине, я усадил себя за письменный стол, левой рукой вложил зеленую авторучку в правую – и...

Родился рассказ. Удивительнее всего, что он как-то счастливо не противоречил (или противоречил, но счастливо) всему тому, что я испытывал до сих пор. Правда в том, что рассказ родился из того, что предшествовало написанию, поэтому я записал то (см. Часть 1), что к рассказу (см. Часть 2), казалось бы, не имеет никакого отношения. По-моему – имеет. Одна часть без другой становится банальностью, а связанные вместе две части становятся одним целым. Неясно?

Скажу так: я был обескуражен смесью оригинальности и банальности – смесью, которая не дает мне покоя и по сей день.

Часть вторая

1

Вечерние облака были похожи на разложенные в камине раскаленные малиновые уголья, подернутые слоем усталого рыхлого пепла, – с той только разницей, что светящиеся изнутри опаловые облака были сливочного каления, а серый пепел, тревожно мерцающий белым жаром, имел бледный оттенок.

Да, я разглядывал облака. А что прикажете делать, если она не пришла?

Ее звали Ирина, у нее были муж и дочка. Это была благополучная семья, если не считать того обстоятельства, что Ирина любила меня, дочку и, как выяснилось после нашей встречи, совсем не любила мужа, который обожал дочку и с ума сходил от Ирины. А я...

Я любил себя и, как мне казалось, был равнодушен к Ирине. Но больше всего на свете я любил покой. И волю. Может быть, любовь к покою была только проявлением любви к себе?

Может быть. Это вовсе не исключено. Я же не говорю, что я умный и не обещаю, что не стану противоречить себе. Я лишь утверждаю, что я любил себя. Мне и сейчас кажется, что эгоизм – корень наших достоинств, которые легко превращаются в наши пороки в первую очередь из-за недостаточной любви к себе. Да...

Был месяц август. Наш роман не тлел и не пылал – он дышал сильным, устойчивым жаром, словно еще не прогоревшие дрова в камине.

Я переживал тот сладостный момент, когда чувства к женщине становятся главным смыслом существования; потом, обратясь в сухой холодный пепел, он осыпаются нежным прахом, обнажая в душе мудреный архитектурный остов,

поражающий смешением двух стилей: цинизма, переплетающегося с тоской по мечте.

Разумеется, такой роскошный дворец возводится в душе долго, и заканчивается подобное сооружение, как правило, годам к 40-45 (если в душе есть место и залежи многих, многих человеческих ископаемых; труд архитектора и инженера, то бишь светлой головы, – это само собой). Так при жизни фараонов им успевали возводить могучие пирамиды.

Чудесный возраст, нежный и основательный!

К этой поре обладаешь не только дачей с камином (где я безуспешно ожидал Ирину), но и дворцом в душе, несколько, возможно, неухоженным, однако несомненно великолепным.

Дворец этот – не только дом, в котором ты живешь, но и, как ни странно, приманка для одиноких, тоскующих женщин, обремененных или не обремененных семьями. Да...

Короче говоря, это возраст, когда самим собой быть приятно, даже выгодно, хоть и хлопотно, а казаться другим – легко, но неприятно.

Ирина не пришла. А я ее любил. Что из этого следовало?

Совершенно верно: я набрал телефон Анжелы. Мой легкокрылый и ветреный ангел уже через пару часов дремал в моих объятиях; я же, отрешенно взглядывая в окно, почему-то думал об Ирине.

Люблю я эти смутные загадки! Они согревают душу хмурыми вечерами не хуже камина и пледа, не хуже доброго глотка коньяка. Я находился в том состоянии, когда радует само наличие загадки, прелесть которой в том и состоит, что ее вовсе не обязательно разгадывать. Разгадывать, разрушать, хладнокровно анализировать, испепелять...

С годами все меньше и меньше прибегаешь к этому грозному оружию зрелости, сберегая изредка набегающие на душу облака иллюзий. Ведь отлично понимаешь, что в любой момент – в любой! – тебе ничего не стоит разъяснить себе практически любую загадку, окутывающую сознательную жизнь человека, а уж темную и мелкую душу женщины – и подавно. Зачем разрушать?

Нет, с годами тянешься к теплу, к очагу, к камину – к согревающей загадке.

Итак, все у меня было хорошо, насколько хорошо может быть в жизни, являющей собой феномен, которому тесно в рамках хорошо – плохо, добро – зло. Это общеизвестно. Собственно, писать было бы не о чем, если бы посреди ночи возле моей дачи не остановилось такси и ко мне в комнату не вошла долгожданная Ирина, имевшая глупость сбежать от мужа. Вот она, обратная сторона романтики: грустные и нудные хлопоты, обкладывающие тебя в самый неподходящий момент. Но в тот момент мне было не до размышлений: мне предстояло объяснение с двумя женщинами, каждая из которых мое славное одиночество воспринимала как возможность осчастливить меня узами брака. Узами! Вот дуры.

Ведь я однажды и навсегда разорвал узы. Я был разведен, и у меня были развязаны руки. Но они в глубине души не верили в искренность моих слов – вот вам очередная загадка! Каждая из них считала, что именно с ней моя мятущаяся душа обретет успокоение. Я полагал, что жизнь состоит из

мгновений, и потому старался делать их, насколько возможно, приятными; женщины же искали только те мгновения, которые плавно перетекали в вечность. А вечность, по моему убеждению, трудно совместима с легкомыслием и приятным времяпровождением – право, уж не знаю почему. Вечность как-то сопряжена с узами.

Каждая из оказавшихся у меня женщин в отдельности была украшением моей жизни; вместе же они источали яд и угрозу.

Признаться, моим хобби в последнее время стало упрощать жизнь. Кто-то ткет и латает у себя на даче альпийскую горку, вышивает цветами по травяному ковру, кто-то млеет от малины и укропа, кто-то пчел своих любит больше, чем мед. Я же целенаправленно и сознательно упрощал жизнь. Я был дачником: я все время жил на даче, сразу за чертой города (квартиру оставил горячо любимой когда-то и неизвестно за что жене). Идеал простоты – не делать ничего. И вот вам мое маленькое открытие: одним из результатов упрощения всегда бывает непредвиденное усложнение. Если угодно, еще одна туманная загадка. Да...

Вуаля: вот вам Ирина, которая была источником тепла для меня; вот вам Анжела, девушка погорячее, но в пределах разумного; а вот я, со своей пустой жизнью и никчемной философией. Три простых элемента давали в сумме ядерную смесь.

Оказалось, с точки зрения Ирины, что я ее обманывал, я ее увел, нет, оторвал от мужа, разорвал священные узы, а теперь...

Лучше не думать.

С моей точки зрения, которую, разумеется, озвучивать было неудобно (эгоизм лицемерно не приветствуется в любом обществе, состоящем даже из двух человек), она сама нажила себе беду на ровном месте, неизвестно зачем сбежав от мужа. «Зачем?» - спросил я, давно уже зная ответ на этот вопрос; мне также хорошо была знакома романтическая версия несчастных в супружестве молодых прекрасных женщин. Ирина озвучила именно эту версию, согласно которой ее, молодую и прекрасную, было жалко, за мужа обидно, а меня хотелось убить. Во всем виноват становился я. В принципе, я готов был отчасти взять вину на себя (размер этого «отчасти» – на усмотрение Ирины); однако чувствовать себя виноватым «во всем» – это было слишком большой честью для меня. Сразу во всем...

Это гордыня. Я ведь не Господь Бог.

Анжеле также не чуждо было чувство собственного достоинства, и у нее имелась своя, уже более оригинальная версия. Поскольку я проявил себя как чудовище (обнаруженные ею на прошлой неделе колготки Ирины были не в счет, ибо на них не было написано, что заочная соперница столь неприлично хороша), поскольку мои обещания (да, да: сам факт интимных отношений есть уже своего рода обещание для людей приличных) были самым гнусным образом растоптаны каблучками этой милой дамы, то меня в виде наказания (!) непременно следовало бросить. Меня ожидала горькая судьбина: я буду великодушно прощен – и тут же немилосердно брошен обеими. Буквально эшафот. «Максимум на неделю», - хотел добавить я, наученный горьким

опытом, но решил не дразнить моего ангела своим дьявольским, разнузданным эгоизмом. «Но я ведь не женат», - все же сказал я. «И я не связан никакими обещаниями. Я никому ничего не обещал».

Это простое заявление повергло моих любовниц в шок. Они оказались в неудобном, практически, в неловком положении: друг перед другом, не передо мной. Чего меня стесняться? Я же не муж. Приличия обязывали закатить скандал. Чтобы сохранить мину порядочной, каждая делала вил, что не догадывалась о существовании другой. Каждая была единственной, следовательно, могла, нет, должна была чувствовать себя обманутой. В таком случае виноват был только я, подлый, то есть «мужчины», то есть не они, женщины. «Ничего не обещал». Своими дурацкими словами я поставил под сомнение их порядочность. Шок.

Внезапно, поддаваясь эгоистическому чувству делать каждое мгновение прекрасным, то есть приятным, я предложил моим дамам выпить холодного шампанского за наш двусмысленный союз, коль уж так получилось. За гнусных мужчин они бы бокал не подняли, а за прекрасных дам не хотелось пить мне. Дамы замялись. Если бы я поддержал скандал, назвал бы каждую из них в отдельности стервой-престервой и выгнал бы всех вместе, – о, тогда бы никакого шампанского и вечная рана в душе.

А так на моем темноватом и не очень приличном фоне они выглядели светлым пятном: приятными и, главное, очень порядочными женщинами. Во всех отношениях. Все двусмысленное можно было списать на меня, мужчину. Вселенский скандал оборачивался легким недоразумением.

И я пошел за шампанским, соображая, что мне делать дальше.

2

Холодное шампанское легко хлопнуло пробкой, и пока я разливал его в запотевающие бокалы, мне в голову пришел мирный план.

- Прежде чем поднять тост за любовь, - сказал я, - сделайте маленький, но взаимный, дружеский жест.

Суть жеста была проста. Ирина просит Анжелу стать близкой подругой, та соглашается и уже в качестве близкой подруги звонит мужу Ирины, беспечно сообщая ему о том, что подруги веселятся на даче, да, да, на даче у Анжелы; обнять любимого мужа Ирина сможет только завтра, то есть уже сегодня, ибо сейчас далеко за полночь. Вот такой сумасшедший девишник. Мужьям обычно нравится. Чем больше подруг – тем крепче семья.

Мое предложение было настолько женским по духу, что подруги приняли его с восторгом. Исполнение было выше всяких похвал – не виртуозным даже, а естественным до такой степени, что граничило со сверхъестественным. Если бы я был мужем Ирины, я был бы счастлив, ощущая милую заботу женушки. Все прошло как нельзя лучше. По-моему, они сами верили в то, что плели их розовые язычки. Мы выпили за любовь, после чего я продолжительно поцеловал Ирину. Нам было что праздновать. Во-первых, возвращение к мужу состоялось под знаком укрепления семьи, а во-вторых, я приник к ее устами, так сказать, в порядке очереди: с Анжелой мы недавно переспали. Целовались

мы отчасти дружески, намекая, однако, губами друг другу о том, что мы проделывали еще вчера. Анжела с улыбкой смотрела, как мы забавляемся. Возникла странная пауза, которая заполнялась чем-то пикантным, из области очень игривого и очень-очень запретного, что ощущается кожей и возможно, пожалуй, только раз в жизни.

Мы все опустили глаза. Я разлил остатки шампанского в бокалы и пошел за водкой, размышляя о волшебной силе женской интуиции.

Когда я вернулся, женщины возбужденно болтали о вещах, которые никак не могли вызвать такого возбуждения. Их можно было понять: у Ирины появилось железное алиби (о котором, кстати, она позаботилась независимо от результата ночного, очень романтического визита ко мне: вот она, великая сила женской интуиции!), Анжела также была довольна: ее права на меня еще более укрепились, так сказать, легализовались. Подругу отправила к мужу, а сама осталась со мной.

Сумасбродный поступок Ирины – ночью сбежать от мужа, пусть и с железным алиби в кармане: все же изрядный риск! – говорил о том, что она находится на пике возможного для себя авантюризма. Это последние волны веселья, за которыми последует скучная кабала порядочной на всю оставшуюся жизнь, – кабала, о которой втайне сожалеешь, а наяву перед другими гордишься, и даже кичишься, неся свою порядочность как крест и яростно сплетничая о том, кто в чем был замечен, в чем-нибудь «таком». Кому как не тебе знать, на что способны порядочные женщины. Сегодня ты еще свободна, а завтра – кабала. А кабала все спишет... (В скобках замечу: меня всегда приводит в восхищение изобретательность дочек, которые часто ставят в тупик своих опытных мамаш, знающих о женском коварстве буквально все и ещё немножко.. И все-таки дочери находят скандальные решения! Они отваживаются на такое, что матери и в голову не придет! То ли воображение со временем притупляется, то ли порядочность становится второй натурой. Сказать сложно. Но факт есть факт: каждое последующее поколение на порядок развратнее предыдущего, и так продолжается испокон веков. Здесь вызывает изумление не подколотная порочность прекрасного пола, а присущий ему неистребимый запас порядочности. Все-таки женщины всегда лучше, чем мы о них думаем... А вот мужчины стабильно гнусны.)

Все это я мгновенно и едва ли разумом принял к сведению, и все это неуловимым образом отразилось на моем поведении. Что бы я ни делал и что бы ни говорил, во всем зияли двойные планы и подтексты. «Я готов к большему», - стреляли мои глаза. «К еще большему», - звенело в смехе. «К чему угодно!» - говорили руки, которыми я горячо касался обеих женщин. Когда в таких случаях говорится «неуловимым образом», имеется в виду не то, что невозможно уловить чьи-то шокирующие послы, а то, что дьявола невозможно уличить в столь бесстыдном трюке. Я в любой момент мог отпереться, но несомненно предлагал, соблазнял...

Анжела сразу приняла мою сторону, это стало ясно нам всем – очевидно потому, что непорочность Ирины колола нам глаза. Порядочная женщина случайно попала в вертеп. Завсегдатаям вертепа это не понравилось. Мы

осторожно втягивали в наш разбитной хоровод Ирину, которая делала попытки отказать нам, боясь, однако, что мы поверим в их искренность.

Поведение моих дам чем-то напоминало поведение девственницы, которая уже приняла решение расстаться со своей невинностью, но ведет себя так, чтобы «он» не подумал ничего «такого».

Всем нам было удобнее казаться более пьяными, чем мы были на самом деле. Предвкушение небывалого греха было небывало сладостным. Женщинам предстояла еще одна дефлорация. Какие грезы у камина я готовил себе, бог мой!

Напрасно мы так переживали за Ирину. Я ведь знал ее и видел, что она перевозбуждена до предела. Мы втроем быстро раздели друг друга, и даже не погасили свет. На глазах у Анжелы проделывать наши интимные трюки с Ириной оказалось легко и приятно. По умолчанию мы все ненадолго сошли с ума. Подруги щедро делились мною. После наших оргазмов, которых мы достигли одновременно, нам все же захотелось погасить свет. Второй круг любви был менее бурным, но не менее сладким.

Чем поразили меня дамы?

Бесстыдством. Со мной tet-a-tet они были более сдержанны, чем втроем.

Очевидно, «все позволено», девиз той бурной ночи, наши тела и души восприняли буквально. Кроме того, всеми ощущалось, что такое вряд ли повторится. Повторение означало бы скучный разврат, а «раз в жизни» – это как-то украшало нас. Мы попробовали клубнички, утолили любопытство. Один раз – не в счет.

Так или иначе, но наутро мы избегали смотреть друг другу в глаза и говорили, в основном, на бытовые темы, отчего тема ночи всплывала и обозначалась только еще отчетливее.

- Чаю или кофе? – спросил я громче, чем было нужно.

- Чаю, пожалуй, - откликнулась Анжела, которая всегда пила по утрам кофе.

- А ты, Ира? – озабоченно интересовался я.

- Чаю. Нет, кофе.

Один на один с любой из этих женщин я всегда бывал нежен и легкомысленно приветлив, а сегодня утром что-то не клеилось.

- Я позвоню мужу, - то ли спросила, то ли поставила нас в известность Ирина.

- Конечно, - сказал я.

Мы с Анжелой, не сговариваясь, поднялись, чтобы выйти из комнаты. Вчера мы все принимали участие в беседе с мужем, сотворяя приличное алиби, а сегодня присутствовать при разговоре Ирины с мужем казалось кощунством. В нас явно обострилось чувство приличия.

Я поцеловал Анжелу, ощущая поцелуй как светский ритуал, но не как душевную потребность. Я не благодарил ее, как обычно, а делал вид, что благодарю.

Когда Ирина вошла, мы отпрянули друг от друга, словно нас застали за неподобающим занятием.

- Мне пора, - деловым и дружеским тоном, исключая даже самую возможность намека на то, что было, сказал Ирина.

- Ну, что ж, счастливо, - поддержал я подругу.

Она даже не поинтересовалась, остается ли Анжела, ее лучшая подруга, со мной: сегодня утром Ирина подчеркнуто не интересовалась другими мужчинами. Она сама стала другой. Вот в таком состоянии женщины уходят в монастырь, каются, истово замаливают грехи, чтобы потом втайне разочароваться и раскаяться в своей святости... Накатило, знаете ли. Я ощущал некоторую неловкость перед загадочной женской душой.

- Звони, если что, - улыбнулась Анжела.

Ирина не ответила.

Когда мы остались одни и я приготовился к долгому прощанию, признавая некоторые права Анжелы на себя и свою дурацкую жизнь, она сказала:

- Ты знаешь, дорогой, вчера мне сделали предложение.

- Кто? Рыжий Валерий?

- Нет, другой. Ты его не знаешь. Я с ним недавно познакомилась.

- Кто он? Расскажи...

- Стоит ли?

- Хорошо, потом как-нибудь расскажешь.

- Не знаю, захочется ли мне рассказывать.

Это прозвучало приблизительно так: «Будет ли наше «потом» – большой вопрос. У меня с ним все серьезно, не так, как с тобой...» Я внимательно посмотрел на нее, безуспешно пытаюсь поймать глаза.

- Кстати, ты приняла его предложение?

- Приняла.

- Почему же вчера не сказала об этом?

- Я же еще не замужем. Можно я ему позвоню?

- Конечно, ангел мой, - сказал я почти с прежней теплотой в голосе и тактично вышел из комнаты.

3

Я сидел у камина, наблюдая за живым огоньком, который синим мотыльком порхал по поленьям.

Неделю назад мне позвонила Ирина. Я передал ей привет от Анжелы и сообщил, что ее подруга вышла замуж.

- За кого? – спросила Ирина после паузы.

- Не за меня, - ответил я.

Опять пауза.

- Я хотела бы завезти тебе книги, которые брала у тебя. Помнишь? Бунина, Набокова, еще кого-то... Хотелось бы еще что-нибудь взять почитать. Отвлечься. Завтра я целый день свободна.

- Не стоит завозить, - сказал я. - Я тебе их дарю. Бунин – это прекрасно. Хотя примитивно. «Чистый четверг» помнишь?

- Не очень... Ладно. Позвонишь?

Я пожал плечами, положил трубку – и только после этого сообразил, что Ирина не могла видеть моего зябкого движения плечами. Получилось нехорошо.

Я разочаровался в своих подругах. Это непостижимо, я никак не ожидал такого от себя, но это именно так.

История повторялась: мне нужна была, необходима была женщина, которая не расставалась бы с мечтой и нуждалась во мне, герое своей сказки. Я цинично отмечал это, и мне становилось приятно. Я почти уважал глупую женщину, идеализирующую меня. Нас связывали странные отношения, в которых ощущался привкус романтического – якобы, того, что я терпеть не мог по определению.

Но как только женщина расставалась с мечтой (а это рано или поздно происходит с неглупыми женщинами) и протягивала руку дружбы моему цинизму, стараясь подстраиваться под меня, – я не в силах был поддерживать с ней отношения. Меня словно предавали. Обманывали. Прощай, любовь. Я чувствовал, как холодный дротик ненавистной реальности пронзает мне сердце.

Истории повторяются. Наверное, не один я искал успокоения у камина, глядя на догорающие дрова. Вот уже жар погас, бледной ленточкой вверх скользит, истаивая, слабый дымок. А вот и бледного дымка не стало.

На темном скелете решеток скучно чернеют обугленные головешки.

2005

РАССКАЗ О ТОМ, КАК Я ЗАКОНЧИЛ РОМАН

- У вас вышел очередной роман, я слышала? – спросила как-то меня моя очаровательная знакомая, точнее, знакомая моего знакомого, большой знаток прекрасного, которая уже года два умоляла дать ей почитать «что-нибудь из своего»; правда, вспоминала она об этом только тогда, когда сталкивалась со мной нос к носу; а это, благодаря моим стараниям и неусыпной бдительности (цепких ценительниц прекрасного много, а я один), происходило «до обидного редко», собственно, раз в год.

Тот памятный день начался крайне неудачно для меня. Я был расстроен благополучной, но бездарной развязкой очередного своего опуса (свидетельства собственной никчемности лицезреть так же тяжело, как и талант коллеги) и не успел увернуться от знакомой, отвлекшись на черную кошку, молнией метнувшейся у меня под ногами за бисквитом, которым именно в это время, минута в минуту, местная сумасшедшая прямо из окна своей квартиры сердобольно кормила тучных обнаглевших кошек, трусивших на полусогнутых лапах к десерту, брюхом при этом задевая асфальт. Говорили, что она тоже была большой любительницей прекрасного, и даже танцевала в балете, но потом в ее жизни случилась трагическая история...

- Какая прелестная киска, - игриво мяукнула леди, твердо беря меня под руку.

- При таких добрых людях кошки не пропадут, - заметил я.

Моя дорогая знакомая весьма решительно была настроена на благодеяние, а я никак не мог найти благовидного повода, чтобы избавиться от нее и не стать жертвой ее великодушия, приступ которого был налицо. К сожалению, она была энергична, обладала изрядным жизненным опытом (третий раз замужем: уже одно это чего стоило), известной наблюдательностью и склонностью творить добрые дела. Разумеется, считала себя умной и заслужившей право поучать. Результатом всего этого явилось то, что она была буквально набита историями (про себя я невежливо называл ее Мешок Историй). Бремя творить добрые, следовательно, полезные, дела было для нее легким и приятным: она излечивала историями. Очевидно, она считала меня не очень удачливым коллегой, в глазах у которого стояла мольба о помощи. Вежливым с этим Мешком, распираемым темпераментом, можно было быть единственным способом: молчать. Мне всегда было неловко перед ней за то, что я пишу романы. Хотелось оправдываться.

- Да, роман вышел, - сказал я, виновато вздохнул – и очень кстати вспомнил, как зовут Мешок Историй. Его звали Виолетта Кожедуб (она вернулась к девичьей фамилии, чтобы никого не обижать). – Как ваше здоровье, драгоценная Виолетта Леопольдовна?

Она вполне самозабвенно и альтруистически махнула рукой на свое здоровье (и это был, спешу заметить, лицемерный жест: здоровье перло из нее, как пена из шампанского) и тут же приступила к добрым делам. Она давала мастер-класс, безвозмездно.

- Я вам сейчас расскажу историю, из которой можно выкроить три романа. Три!

Я молча сник.

- Моя подруга...

Подруг и друзей у мадам Кожедуб было больше, чем у меня, преуспевающего литератора, недоброжелателей. Те, кто, к несчастью, не попали в число ее друзей, были просто приятели. Остальных людей она просто любила. Врагов ее представить себе было невозможно: их тут же хотелось пожалеть, и они становились похожи на ее друзей.

У ее подруги была трагическая судьба. Но интересная, так и просится в роман. Отец подруги на почве ревности убил ее мать, а сам, естественно, попал в тюрьму. Ужасная судьба, просто ужасная!

Я молчал, хотя мне хотелось спросить: «У кого была ужасная судьба? У мамы? У папы? У подруги? У кого, черт побери?».

- И что бы вы думали? Моя подруга, Оленька, – мы вместе учились в архитектурном институте – встретила человека своей мечты, Лешеньку. Мы ей все завидовали, все до одной. Какие красивые отношения, с ума сойти. Как ее молодой человек за ней ухаживал! Усы, погоны, смелые глаза, которые делались робкими, когда он видел свою Олю. Каждый день дарил цветы. Каждый день! Мы украдкой наблюдали за ними из окна общежития и восхищались. Я была рада за нее: наступил ее звездный час. Справедливость восторжествовала. Я бы только об этом написала роман. Это очень красивая история.

Я молчал.

- Потом они поженились, у них родилась девочка. А муж по-прежнему любил Оленьку как сумасшедший. Я ей очень завидовала – белой-белой завистью. К тому времени я ушла от своего первого и разочаровалась в мужчинах. И только ее Лешенька поддерживал мою веру в то, что есть настоящие мужчины.

Когда я вышла замуж за второго, у Лешеньки с Оленькой произошла история. К тому времени страна развалилась, военных стали сокращать, устроиться на работу было очень сложно. Леша стал пить, как мой первый. А Оля была красивой женщиной, стройной, привлекательной. Глаз не отвести. И Лешенька стал ее ревновать. Стал закатывать ей скандалы, истерики, даже руку иногда поднимал и прикладывал. Он страшно ее любил. И вот однажды он не выдержал. Привязал ее к креслу и задушил. И оставил записку: ищите меня там-то и там-то. Его нашли в указанном месте. Он повесился. Представляете? Их хоронили в один день, и мать Лешки шла за гробом Оленьки. Ужасно, правда? Кто бы мог подумать: Оля повторила судьбу своей матери. Это невозможно выдумать. Разве это не роман?

- Это не годится в роман, - сказал я, никак не показывая, однако, интонацией, что я сопротивляюсь.

- Не годится?! Отчего?

- Видите ли, Виолетта Леопольдовна, калейдоскоп событий – это еще не роман.

- Почему?

- Потому что роман держится не на событиях, а на характере, на личности человека. Все, что случается, должно работать на характер и...

- Вы думаете у Оленьки не было характера? У нее был сильный характер. Она бросила курить однажды утром – раз и навсегда. Я свидетель. И она была личность. Она увлекалась живописью, обожала Сальвадора Дали.

- Я имею в виду нечто другое. Калейдоскоп и мозаика развлекают читателя; а хороший роман держится на внутренней интриге. Из ревности убить жену: где тут интрига? Интрига возникает тогда, когда добро становится трудно отличить от зла, хорошего человека – от плохого, ум – от глупости...

- Да вы что! Весь город рыдал, все соседи шли за гробом. Было море цветов. Кому ни расскажешь эту историю, у всех волосы дыбом. Леша ведь был хорошим? Хорошим. И вдруг взял и совершил зло. Это же невероятно!

- Это элементарно. Леша был обыкновенным дурачком, который ничего не понимал в жизни. Он слабак. Он не годится в герои романа. Герои романа – все понимают, но ничего не могут исправить. И не хнычут, и никого не убивают, потому что этим горю не поможешь. Вот когда возникает трагедия.

- А убить жену и повеситься – это, по-вашему, не трагедия?

- Никак нет. Это всего лишь море крови. У людей такое случается сплошь и рядом. Это больше смахивает на избитый боевичок.

- А Оленька? Не героиня, вы хотите сказать?

- Чтобы выйти замуж за дурачка, много ума не надо, Виолетта Леопольдовна. Кстати, Сальвадор Дали имеет к живописи такое же отношение, как ваша история к роману.

Боюсь, впервые она посмотрела на человека как на врага – причем, сделала она это от имени всего человечества. Глаза были очень большими и выразительными. Но надо отдать ей должное: она не отвернулась от меня, а сделала еще одну попытку.

- А вы все-таки напишите роман. Вот увидите, он у вас получится. Он станет бестселлером. И начните так: «Он принес ей лилии...»

- На могилу? Он же повесился.

- Не на могилу. На первое свидание. Правда, там были не лилии, а розы. Но лилии – звучит красивее. Надо же начинать сначала. А начало было как в сказке. Все люди мечтают о таком начале, как вы не понимаете?

Ей было искренне жаль меня, не сомневаюсь. И я решил не упускать возможность и довести дело до конца – то есть раз и навсегда отбить у нее охоту общаться со мной как с романистом. Перейти из друзей в приятели и занять среди них самое незаметное место. Кивка головы раз в год как способа общения мне будет вполне достаточно.

- Сказка – ложь, поэтому сказочное начало не годится для романа, - начал я.

- Красивой может быть только сказка. Красивой и вечной, - перебили меня.

- Ложь не может быть вечной. Вам когда-нибудь приходило в голову, что в жизни есть еще и правда? Я бы начал роман так. Сорвал бы с Лешеньки погоны, сбрил усы, кстати, имя бы тоже поменял, усадил в то самое кресло и заставил бы произнести следующее, ровным и вежливым тоном, про себя, ни к

кому не обращаясь: «Серьезно отнесешься к женщине – перестанешь себя уважать; несерьезно – будешь несчастлив». Такой человек никогда бы не задушил бедную женщину. Он бы, скорее всего, на ней не женился.

Я выстроил свою тираду в расчете на лучшие человеческие качества: меня должны были презирать и отвернуться от меня. Но я жестоко просчитался.

- Вы не правы! – бодро воскликнула Мешок Историй. – Если никого не душат – это скучно. Никакого гуманизма. Я сейчас расскажу вам еще одну историю, и вы поймете, как вы заблуждаетесь. Моя подруга...

Виолетта Леопольдовна тут же отреклась от меня как от загадочного, хотя и мелковатого, романиста и стала лепить из меня другой образ: я стал заблудшей овцой, которую надо было двумя-тремя историями вернуть, загнать в стадо. Я оказался хорошим раздражителем для той, кто привыкла казнить добротой.

Но я ей благодарен. Я понял, что концовка правдивого романа не может быть благополучной и сказочной и с восторгом переделал ее в тот же вечер. Остался доволен. Мой герой сел в кресло и произнес именно ту фразу, которую я предложил вниманию Виолетты Кожедуб. Я стер сказочные румяна – и роман ожил.

Но вот писать следующий роман мне совершенно расхотелось.

Я замолчал.

29.01.2005

ШКОЛА ДЛЯ УМНЫХ, или МЕТАМОРФОЗЫ ГИПЕРБОРЕЯ

Рассказ, может быть

- У меня раздвоение сознания, - сказал Асан. – В этом все дело.
- У всех раздвоение сознания, - ответил Серебряный. – Только немногие – избранные – способны воспринять раздвоение как норму, а не как предвестник темных откровений. С умения собрать себя воедино и начинается культура. А художественные сопли как следствие раздвоения... Мне твой мистер эСэС напоминает мальчика-подмастерье, которого допустили смешивать краски на палитре. А к чему эти краски – он понятия не имеет. Paint boy. Смешивает гениально, спору нет. Каким-то особым евразийским способом. Явится мастер-папа и скажет спасибо – спасибо, скажет, детка. Thanks, boy. Но, малыш... Как тебе сказать... Палитра – это палитра, а картина – это картина. Understand?
- ЭСэС – это эстетический эскулап. Он вправил вывихи эпохе. Ой, кхе-кхе, строчка получилась... Лась-лась-ась... Надо записать... Погоди...
- Литераторы... Расписали бисером под хохлому – а потом подтерлись этим роскошным свитком. Натуральный перформанс. Эффект, конечно, получился грандиозный. Слов нет. Их нет у меня. Их бин, блин.
- Ты ничего не понимаешь, - горячился Асан. – Проза должна быть как лава огнедышащая, ша-ща, э-ю-я, как обжигающая энергия. Ее нельзя держать в руках, ее даже читать нельзя – запросто можно сгореть.
- Прокатилась, словно шаровая молния по Лувру, и все испепелила?
- Истинно так! Эффект от цветущей прозы – пустыня вокруг. Это великолепно! Это очищение. От скверны. И все анчары перемрут. И Брут.
- Напоминает грозное ядерное оружие. Ядовитый грибок. Нет? Что-то до боли апокалиптическое.
- Ядерная проза и есть ядерное оружие.
- Вот это уже интересно. И против кого оно направлено?
- Против пошлости! – продолжал горячиться яростный Асан. – Против тех, кто не умеет обращаться со словом – и лезет при этом в писатели.
- Я не лезу, если ты адресуешь свои дерзкие намеки мне.
- Ты не лезешь. Я согласен. Другие лезут, согласись. Они, как крысы, оккупировали корабль, они заблевали, бляди, палубу, загадили трюмы, и захламленный корабль уже скрежещет днищем о рифы – о, рифмы! – и крысы затыкают лапками ушки, но не покидают уютного прибежища... Хиросиму на них, Хиросиму! Х..р на них! Огонь пожирающий! А потом развеять пепел от пипла, собрать серые хвостики грызунов и соорудить из них жертвенный костерок, едкое пламя которого достигнет чутких ноздрей Гиперборея, и сей гигант как раз чихнет здоровым чихом-ахом на все это безобразие – и очистит мир от праха разносчиков эстетической чумы. Ха-ха-ха! Что скажешь?
- Ай, да Асан, сын Асана! Красава! Одно смущает. Гипербореи – это ведь блаженный народ, по свидетельству Плиния Старшего, живущий там, там, там,

на крайнем севере, где невооруженным глазом различимы *петли мира*, далее – ничего. А у тебя Гиперборей превратился в мифического великана...

- Борей – это северный ветер, а ГиперБорей – сам понимаешь... Гипер – это многожды супер. Я словом создал новый образ. Вслушайся: ГиперБорей! Гип-Гип! Гибототам! Вот она, сила слова и сила духа! Что скажешь?

- Срал я на бисер, - сурово возразил Серебряный. – Тучи надувают щеки, ветер, дуясь, надувает паруса. Корабль плывет. Куда ж нам плыть? Вот в чем вопрос. Затоварили все обозримое пространство айсбергами гнусной бочкотары, цветет она узорчатой плесенью, смердит который век подряд – и все вам мало цветов зла, гладиолусов гибели. Анютиных глазок скандала. И все невдомек вам, раздвоившимся, расстраивающим меня, что самая смердящая на свете плесень пошлости – это ваша гребаная, загребушая, скудоумием порожденная, затасканная сентенция, будто красота, блять, спасет прогнивший мир. Вот возьмет, понимаешь, руками Гиперборея за загривок, за холку – и спасет за милую душу нахохлившихся словоблудцев, страдающих от скуки-зависти, изрыгающих бисер по утрам и вечерам, в никуда, в серое пространство, затаренное не токмо бочкотарой капризов и прихотей, но и, камрады, травой-муравой тлетворных прозрений. Come on, guys! Куда, курва, плывем? – вопрошаю я, пожелав Гиперборею жирного здоровья, благополучия и счастья в личной жизни. Вот куда, сука? Опомнитесь, дураки! На каждого Гиперборея, жиреющего в морях, страдающего от насиженного непосильным сидением геморроя, найдется та еще Голова, кошмар Руслана, которая так зарядит своими замшелыми форсунками, так шандарахнет в два ствола, что мало не покажется узурпатору Гиперборею, имеющему, судя по всему, цвет лица геморроидальный. Здравомыслящая Голова соплей перешибет твоего Гиперборея!

- Аплодисменты, аплодисменты Аполлону слова, жирафу мысли и грозе угроз! Вот где свила себе гнездо смерть Гиперборея, сына титанидов, – красивейшее, так сказать, враг красивого, если я что-то не упустил.

- Ты упустил самое главное. Не играй словами, Красава. Не кощунствуй. Для тебя и иже с тобой серьезно относиться к словам – значит, играть словами. Играть. Между тем ваша ядерная гейм-проза – это нешуточная угроза. Это вызов. Надо отвечать за базар.

- А для тебя? Что значит для тебя серьезно относиться к словам, Серебряный ты наш, глубокомысленный и земноводный?

- Для меня? Сегодня – метать бисер перед вами, мастерами бисера. Как видишь, и я за бисер. Но в отличие от вас я протестую против конкретного смысла, а не против смысла вообще. *Красота спасет мир* из ваших рук – это принять йаду от аффтара, который уже, как известно, почил в бозе. Я против угрозы заражения трупным ядом. Но я за красоту, если тебе интересно. Я за красоту смысла. Не за красоту расшитой бисером фразы, которая (красота) убивает смысл, «спасая» тем самым уже преданный, обосранный красотой мир, а за красоту фразы, которая выражает красоту смысла. Если ты понимаешь, о чем я. Вот такой бисер. Который бисеру рознь.

- Да ладно, Серебряный! Ты сейчас конкретно раздвоился! В тебе говорит умопомрачение. Мы же заодно: за красоту. Нас мало избранных. Нам ли ссориться? Гиперборей, враг литературных опарышей, враг вообще всех званных, – наш общий бог и друг, разве нет?

- Тут есть нюанс, Асан. Я вашу красоту принимаю – и где-то даже преклоняюсь перед ней. Во всяком случае, снимаю шляпу. Я понимаю, что ваша красота – это школа для дураков; тем не менее, красоту никто не отменял. Она действительно парит и веет, где захочет. Я другой такой страны не знаю, где так вольно. Прекрасная шалунья... Но вы – и тут внимание! – вы призываете Гиперборея смести к бесу красоту смысла. Сунуть ее в крепкую бочку, запечатать смолой – и бросить в море с нашего общего корабля. Не удосужившись спросить меня. Тем самым вы красоту смысла ставите на ту же доску, где резвятся литературные опарыши. Я с вами – отчасти заодно; вы со мной – нет, Красава.

- Почему, Серебряный?

- О, Гиперборей всемогущий! И все на голубом нордическом глазу! И все с ангельским выражением лица! Да потому что вы игру ставите выше жизни, а я подчиняю игру жизни; для вас жизнь – игра, а для меня – игра в игру.

- Всего-то разница? Плюнь на нюанс, приятель! Плюнь – и разотри. Разотри – и забудь. Что наша жизнь? Икра! Так перестань метать икру. На ветру. Поутру...

- О, Асан! Ведь это и есть дьявольское искушение в чистом виде, Асан. Дьявол сокрыт в нюансах, Асан. У тебя, я вижу, рожки на макушке, Асан. И левый глаз фиолетовый.

- Дьявол – это игровая маска бога. Нашего бога. Гиперборея. Утверждаю я, добрея.

- Выпускников Школы для дураков отправляют служить в царство мертвых, где *ни о чем*, где *тьма и тьма* ценятся на вес злата; отличники Школы для умных служат жизни – с помощью смысла. Такова цена нюанса.

- Что ж, пусть Ветер нас рассудит.

- За ветром всегда есть Насылающий Ветер, Асан.

- Неважно. Как это пошло – за деревьями всегда видеть лес, за Ветром – Насылающего. Просто: Ветер, ветер, ты могуч, ты силен, поешь калач – строго на ночь... Ты гоняешь, распинаешь... Держать, бежать, и вертеть, и ненавидеть, и терпеть... Да здравствует ядерная проза, я хочу сказать!

- Опять раздвоение сознания?

- Не то чтобы очень... Но у меня тоже есть дорогой моему сердцу нюанс. Ядерную прозу можно писать только в состоянии измененного сознания. Ш-ш-ш!

- Истинно так! Вы и людям пытаетесь изменить сознание! От шизы к шизе. Ш-ш-ш... Кролик-эстет полощет мозги боа-констриктору, и это никого не удивляет, ибо белый и пушистый кролик, десерт царя зверей, в любую секунду способен оборотиться недобрым Гипербореем. Это ведь вы давеча посеяли прохладный бриз, освежающий после сна и застоя? Не отпирайтесь, я прочел. Теперь вот пожинаете эстетический торнадо, сеющий смерть. Красотой

попирающий красоту. Отрицающий отрицание. Ветер, Ветер, на всем белом свете. Ветер, возникший от взмаха крыла бабочки. О, боги, боги мои! Дай дураку в руки, скажем так, серебряное, да хоть золотое стило...

- Но-но! Я бы попросил не выражаться. Никогда не предполагал, что моя писанина, нет, песно... песняпесней! нет, *мое писание*, вуаля, настолько серьезно. Я как-то не задумывался над этим, резвяся и играя. Белея своим неприкаянным одиночеством. При чем здесь торнадо, старичок? Ядерная проза – это метафора, если на то пошло. Обжигающая энергия – это фигура речи. Понимаешь? Омар Хаём не пил вина, но в стихах был алкашом. Ниспровергателем. Понимаешь? Я отвожу твой комплимент. Мне вовсе не нужна такая ответственность. Чур меня...

- У тебя раздвоение сознания, - сказал Серебряный. – В этом все дело.

После этого А. Серебряный пристально посмотрел в зеркало, по правилу буравчика въедаясь сверлами-зрачками в амальгаму, и задумчиво произнес:

- Ну, что, Асан, я не прав?

И никто ему не ответил.

Это довольно странно, так как действие происходило далеко на севере, в местечке Виттерпляц.

16 сентября 2012

СОБОР ГАУДИ

Завтрак опять показался безвкусным.

Сыр скрипел за зубами и отдавал паленой резиной, крепко заваренный чай казался недостаточно насыщенным, что раздражало; свежайшая булка горчила, сливочного масла, с детства не отделимого от ритуала «плотный, то бишь здоровый завтрак – лучшее начало дня», вообще не хотелось.

Потеря аппетита и утрата вкусовых ощущений беспокоила его не с медицинской точки зрения, а как симптом таинственных процессов, которые то ли начинались, то ли завершались смутным понятием *творческий кризис*.

Ну, вот с чего вдруг кризис или, сказать безобиднее, непонятной природы апатия?

Добро бы цель в жизни потерял, или случилось неладное, или перо притупилось. Так ведь не потерял и не притупилось. И не случилось, кажется. Со стороны упрямых фактов, что было ясно, как божий день, ничего не грозило.

Все остальное, по идее, пустяки.

Но какое-то несомненное, ясно отдающее болью под лопатку духовное недомогание (сказать нездоровье – уже перебор) давало о себе знать. Об этом который месяц невнятно доносила интуиция, опираясь на сумбурные душевные данные.

Если все хорошо, но на горизонте что-то не так, тучка ли, сумрак непонятный, то все сразу становится плохо.

Вот эта ускользающая от определения составляющая творчества беспокоила так, словно потерял цель в жизни.

Когда писались лучшие вещи, он был как будто другим, не таким сложным и разбалансированным, не настолько разобранным на органы-запчасти, состоящие из хаотично скачущих молекул. Сам был проще, а вещи писал куда как сложные; сейчас картина обратная: просто физически ощущаешь себя вместилищем необъятного информационного космоса, а из-под пера появляется нечто униженно элементарное, совершенно недостойное искусственного творца. Как будто пишешь не ты, а вселившийся в тебя дух заморыша, на которого навели порчу редукции; раньше тоже казалось, что пишешь не ты, только это было лестное раздвоение: казалось, что пишет исполин, которому на время творчества подвластны любые сферы, который способен укротить, раззадорить, довести до ярости псов творческой страсти.

Аппетит и творчество, конечно, – разные вещи, и не стоит путать божий дар с яичницей; однако нельзя не видеть связи между аппетитом и апатией.

Если позволить воображению заняться выяснением причин недуга, то получим приблизительно следующее. Впечатление такое, что твои жизненные силы уже на исходе, а ты еще не знаешь об этом, и только интуиция, сбиваясь с пятого на десятое, врет тебе что-то несомненно правдивое. Отвратительное ощущение нехорошего предчувствия – вот что становится ложкой дегтя в бочке с амброзией.

Неужели столь хрупок космос, в том числе космос человека, что пресловутый эффект бабочки (который он всегда вульгарно понимал как грубую материализацию эфемерного, позволяющую трактовать катастрофу как результат ничтожнейших колебаний, причину и следствия как результат взаимодействия несопоставимых величин – что-то вроде дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила, а мышка бежала, хвостиком вильнула, золотое яичко упало и разбилось, то есть слиток драгоценного металла, за малым едва ли не килограмм аугит, не устоял против слабого произвольного движения хилого грызуна) способен все испортить? Бабочка еще только крылышком махнула – а у тебя уже пропал аппетит; ты чихнул – а тебе из преисподней «будь здоров» в ответ.

Тут хочется откровенно спросить: что есть творчество? Эстетически воплощенный эффект бабочки? Колдовство, чуткое к незримым вибрациям «аукнулось – откликнулось»?

Если так, то кризис также имеет отношение к эффекту бабочки: это эффект развоплощения, расколдовывания. Распад системы. Дисгармоничный итог, когда что-то не сошлось, не срослось, где-то заклинило.

Логично.

Та же интуиция, которая оповестила, что процесс творчества – собирание нитей истины в узорчатое полотно ручной работы, изнурительное рукоделье, когда холст ткется сам, легко и непринужденно, – дает сбои, подсказывала: бессмысленно искать точку отсчета, тот самый взмах хрупкого, осыпанного пылью крыла. Надо ждать иного эффекта, и трудно сказать, что необходимо сделать для того, чтобы бабочка встрепенулась, повела опахалами – и ты уловил своими рецепторами молекулярные колебания озона.

Что-то делать надо, конечно; но вот что?

А вдруг твои собственные рецепторы износились, утратили былую чувствительность, и бабочка, строго говоря, здесь не при чем? Она исправно делает свою работу, изо всех сил бьет крылами, махаонит, только вот адресат выдохся, обессилел, сложил крылья. Контакт исчез.

Нет, не похоже: интуиция по поводу интуиции (спецнадзор за спецконтролем) не дремала, но беспокойства не выказывала.

Как собака отыскивает спасительную траву против одолевающей хвори, так и он бессознательно действовал в нужном направлении.

По наитию он реанимировал какую-то древнюю технологию: решил загрузить подсознание и терпеливо ждать, чем закончится эксперимент. Собственно, он творил – то есть пытался нейтрализовать сознание. Играл с собой в прятки.

Внешне все выглядело обыденно.

Он вспомнил о старом, когда-то почему-то действенном средстве: решил перечитать свой давно, несколько лет тому назад, опубликованный роман. В те времена перечитывание собственных вещей стимулировало, возбуждало самолюбие. Давало творческий толчок. Только надо было правильно сориентироваться: выбирать было из чего, к услугам автора несколько романов теснились на полочке.

Уверенно взял матово-глянцевый томик (даже не задумываясь – все, рыба заглотила наживку, подсознание уже повело его, надо было послушно отдаваться ритмам вселенной). «Всего лишь зеркало...» Не удивился, то есть удивился, но предчувствовал, что удивится, поэтому готов был к удивлению: не удивился.

Дело было не в романе; точнее, дело было не в тексте, а в том, что текст этот также рождался как преодоление кризиса. Выбор романа отсылал к ситуации, чем-то похожей на нынешнюю.

Когда он писал роман, перед глазами стояла блондинка с ярко накрашенными губами, пошлая стерва, которую он никогда не видел, но которая жила своей отдельной жизнью – и вызывала раздражение тем, что существует самоуверенно и несомненно, словно навязчивое сновидение; в романе не было ни одной блондинки, но все женщины были слеplены из ее эфемерной плоти. Вот это закон: думается об одном, перед глазами маячит другое, а пишется нечто третье. Когда он только начинал играть в игру под названием творчество, он старался честно описывать воображаемое изображение.

Потом научился себе не мешать: главное, чтобы струился текст, превращаясь в свет. В такие моменты переживаешь противоречивые чувства: самому себе кажешься беспомощным богом. Богом – ибо творишь нечто подлинное, материально-нематериальное; беспомощность же рождается из ощущения невозможности контролировать процесс созидания. Вперемешку с ощущением мощи и уверенности возникает и нарастает противная неуверенность: а смогу ли я точно так же чудодействовать в следующий раз?

Ведь я даже не знаю правил и законов, в соответствии с которыми получается что-то из ряда вон. А вдруг завтра не получится?

Но и законы знать запрещено, табу, потому как тогда уже точно в следующий раз ничего не получится.

А без следующего раза уже не обойтись: желание пережить моменты творчества сильнее тебя. Ты становишься заложником своего дара.

Иногда это называют наркотиком; его всегда раздражало подобное сравнение, правильное, казалось бы, хотя и поверхностное; причем, он не принял его сразу всей душой, чувствуя глубинную фальшь. Творчество становится наркотиком только для бездарей; для тех, кто обладает талантом, творчество позволяет ощущать связь с жизнью. Это проще и страшнее. Для бездаря наркотиком становится творчество-игра, для прирожденного писателя – жизнетворчество.

Когда стал асом, он вдруг утратил этот странный навык не мешать себе. Все силы стали уходить на то, чтобы не мешать – и пропала легкость.

Потом вновь появилась.

Сейчас вот опять пропала.

А зачем она, собственно нужна, эта легкость?

Почему без творчества так плохо?

Вместе с исчезновением легкости пропадает аппетит. Пропадает связь с жизнью. Чувствуешь себя зрелым деревом, распустившим свежую лакированную крону, в самом соку и цвете, дубом, у которого подгнили корни.

Да, «Всего лишь зеркало...» Он был поражен своим романом. Рассматривал его, словно компактный собор: все стройно, продуманно, вдохновенно (то есть как бы непродуманно). Вот это сочетание сознательного с бессознательным и есть чудо. Других чудес не бывает. Роман создавался не по шаблону, не слепо следуя традиции – а ломая традицию настолько, что впору говорить о закладке новой традиции: о фундаментальном обновлении при фундаментальном следовании традиции.

Залюбовался.

Вчитался настолько, что почувствовал себя нынешнего ничтожеством. Он способен был оценить каждый нюанс, заново вникал в сложнейшую систему культурной символики; и чем больше он вчитывался, тем более крепла в нем разрушительно-злая уверенность, что создать подобное – уже нет ресурсов. Время ушло.

Он почувствовал нечто странное: его роман вместо того, чтобы придать сил, отнимал последние. Его роман, перестав подчиняться воле автора, добивал его своим совершенством. Жестоко и безжалостно.

Чтобы сбросить эти удушающие чары, чтобы не присутствовать в качестве свидетеля при акте собственного самоубийства, он поспешил выйти на улицу. Тоже знакомый позыв: когда хочется убежать от себя, рвешься на улицу, где особенно отчетливо понимаешь: от себя не убежать.

Что же это происходит, товарищ: молодость бросает вызов зрелости?

Аргумент «ведь роман написал я, я, я, а не кто-нибудь другой!» не срабатывал. «Я не могу больше написать подобный роман»: вот что он читал между строк.

Получалось, что сам себе невольно бросил вызов. Сам же принял его. И поплелся на безнадежную дуэль.

Опыт подсказывал: не все еще потеряно. Надо выиграть несколько часов – всего только несколько часов, которые сразу же скажутся на качестве жизни. Надо ходить, ходить, глазеть, прислушиваться, принимать, не давать себе думать – тогда, возможно, родится новый спасительный замысел.

Перед глазами каменной грезой стоял незавершенный Собор Святого Семейства Гауди, с которым он ознакомился мельком (глянул как-то на телеэкран, а там в разных ракурсах крутилась картинка, поражающая воображение, откуда ни посмотри). Он видел его в деталях: огромные витые купола-свечи ввинчивались в небо, легко было представить себе несуществующую пока гигантскую свечу-храм в середине ансамбля; ключевые слова для творения зодчего подбирались легко – «огромный» и «соразмерный», причем, соразмерность скрадывала гигантский масштаб проекта, а громадность усиливала впечатление соразмерности; все вместе порождало невиданное благолепие: Собор, в котором не было ни одного прямого угла. Не храм, не костел – именно собор, ансамбль собранных воедино строений, в совокупности представлявших собой вызывающе великолепное подношение Господу Богу. Колоссальный ковчег, чудом перенесенный на твердь в сердце города.

Конечно, храм предусмотрительно спланирован в форме латинского креста, кто бы сомневался; разумеется, стены буквально испещрены

сложнейшей символикой и визуальным объяснением тайн веры. Ох, уж эти объяснения...

Объясняет – значит, оправдывается, под этим подпишется любой верующий.

Невозможно было отделаться от мысли, что это прежде всего творение рук человеческих, и этот гимн в камне человек пропел в свою честь; предлог – во имя Господа нашего, аминь! – звучал в органной аранжировке мощно, но неубедительно, если не издевательски. Столь роскошный подарок (вспоминались простодушно-хитроватые данайцы, дары приносящие) неизбежно превращается в памятник творческим возможностям личности. О скромности творца не могло быть и речи. Более того, своим Собором Гауди словно бросал вызов Тому, в честь Кого он возводился. Творчество становилось силой, которую не стыдно было противопоставить высшим силам.

Священное сооружение La Sagrada Familia навевало кощунственные мысли. Оно упорно напоминало сказочный замок, где, должно быть, жутко страшно и вместе жутко весело заглядывать в углы и на чердаки, и всамделишность чистого искусства вызывала смешанные чувства. Столь совершенные творения всегда будут не только восхищать, но и угнетать человека. От великого до ужасного – один шаг, великое всегда будоражит не только здоровые, но и нездоровые чувства.

«Всего лишь зеркало...» не собор, понятно, а всего лишь роман...

Вот только не спрашивать себя, при чем здесь Собор Гауди, не пытаться думать в эту сторону. Кажется, это удалось. Во всяком случае, приятным сюрпризом оказалось то, что в этой адской попытке переиграть самого себя предусматривалась и такая стадия: тупик стал сочетаться с немотивированным оптимизмом. Забрезжил свет в конце тоннеля. И уже без страха он стал ждать: что впереди?

В конце концов, он устал: это хороший знак. Утро вечера мудренее. Сейчас главное уснуть. Добраться домой, выпить вина, уставиться в телевизор, дожидаться, когда веки отяжелеют, потом отяжелеет тело – и уснуть. Утром он проснется с готовым ажурным замыслом. Уже сейчас это чувствует (ах, жизнь-творчество – это особый жанр).

Он переминался на пяточке тускло освещенного перекрестка. Здесь господствовал светофор. К продолжительно-серьезному красному подплыл снизу легкомысленно-недолговечный желтый – и веселую парочку сменил пронзительный оптимизм зеленого. Пора.

Посмотрел по сторонам. Ступил на зебру – выпуклые полосы, освеженные жирной белой краской, чередовались с крупнозернистым лоснящимся асфальтом, напоминающим спрессованные комья тучного чернозема. Почву. Мать сыру землю. Ту самую, куда пущены корни.

На зеленом табло в обратном порядке спешили к нулю секунды: девять, восемь, семь...

Он шагал в такт секундам: пять, четыре, три...

Из темноты бесшумно вынырнул изящно-хищный силуэт оскалившегося BMWэшной решеткой внедорожника. Ему показалось: высокий внедорожник

неотделим от темноты, является ее продолжением, чем-то вроде быстрого и точного выпада черного кота, мягко, но уверенно бросившего вперед лапу. Чувства обострились настолько, что он ощутил в себе былую мощь молодого воображения. Любую картинку, обраставшую сюжетами, описать не составляет труда, слова, вырезанные из мрамора (каждое слово разбивать или выбрасывать будет мучительно), находятся моментально и располагаются в нише абзаца надежно и основательно. Надолго. Салон машины тепло освещен. За рулем расслабленно восседала красивая ухоженная женщина, не привыкшая ни в чем себе отказывать. Живя своей непрерывной женской жизнью, она совершала какие-то движения (тянулась за телефоном? за сигаретой? за сумочкой?). Мелькнуло и навсегда (то есть на доли секунд!) запечатлелось в памяти ее лицо: светлые волосы и ярко красная помада, наверное, эффектно смотревшиеся на черном фоне.

«Жалко ее», - успел подумать он.

Двадцать пятым кадром, который едва ли успело отметить сознание, мелькнул недостроенный Собор Гауди.

Он бы удивился (то есть, обрадовался бы такому совпадению!), если бы узнал: женщина тянулась к радиомангнитоле, чтобы усилить звук. Все ее внимание было сфокусировано на радиоприемнике; бойкий ведущий напоминал радиослушателям забавный факт: знаменитый архитектор Гауди, оказывается, погиб до смешного нелепо: он засмотрелся на Собор, творение рук своих, и попал то ли под трамвай, то ли под автомобиль. Скорее всего, под автомобиль, уважаемые слушатели «Авторadio».

Его и похоронили в крипте недостроенного им La Sagrada Familia.

8-9 ноября 2010

Я

Я не мог не написать рассказ под названием «Я».

Я был обречен судьбой написать рассказ «Я».

Это должно было случиться рано или поздно.

Случилось поздно.

Так мне и надо?

Я давно заметил: буква Я напоминает самоуверенный иероглиф-раскоряку, который надменно выставил ножку; в пышных формах угадывается абрис бой-бабы, предположительно жгучей хохлушки, принявшей анекдотическую позу «руки в боки», и эта поза явно напоминает боевую стойку.

Любой психолог скажет вам, что подобная поза выдает субъекта агрессивного, бессознательно нацеленного на захват жизненного пространства. Уверенность скрывается за такой позой или неуверенность – тут уже грамотный психолог ничего не скажет.

Это весьма женская буква-оборотень, которая на глазах изумленной публики способна отделиться от алфавита и превратиться в двуполое местоимение.

Попробуйте растянуть его: я-а-а-а-а...

Слышите, вы? Последняя буква алфавита сливается с первой. Женской буквой охотнее всего пользуются мужчины.

Еще раз: я-а-а... Многие услышат в этом «да».

И напрасно. Я – это традиционный способ отрицания. «Я» приходит в этот мир, чтобы не соглашаться. Когда громко звучит «Я», «они» всегда настаивают.

В этом простеньком слове зашифрован код культуры: оно становится способом существования противоречий.

Говоря о себе «Я», вы берете на себя ответственность – если ваше «Я» звучит гордо, если вы заявляете о себе как о личности.

Но никто не мешает вам сказать «я», имея в виду следующее: я такой, как все, как они, я и есть, собственно они, и я попросил бы не путать меня со всякими там «Я».

Говорю же: я был обречен судьбой написать рассказ «Я». До «Я» надо дорасти, и если это, не дай бог, случится, вы обречены.

А если не случится – тем более.

Я испытывал странное чувство, когда в своей шустрой тойоте «Ярис» едва поспедал за громоздкой каретой скорой помощи, в которой везли моего отца. Мне пятьдесят лет, отцу – семьдесят семь. Во мне неожиданно проснулся мальчик, которого стали душить слезы, подступившие не к глазам, а к разбухшему сердцу. Странно: на глазах не было влаги, но переднее стекло заволокло вдруг пеленой, и я инстинктивно сбросил скорость. Тут же между скорой и мной вклинилась алая «пежо», за рулем которой восседала мисс надменность, чем-то напоминавшая мою бывшую, а также букву Я (нога вдавлена в педаль газа, тормозить мы не умеем); потом меня подрезал равнодушный таксист (сгорбленное и сдувшееся Я в очках), и вскоре я уже

потерял из виду белый микроавтобус, перебинтованный красной лентой, в котором находился мой отец.

У него подскочило давление, случился приступ аритмии, и «Я» мгновенно превратился в «я». Я испытывал то же, что испытывают, скорее всего, все. Я стал таким, как все жители Земли – самым обычным. Врач уловил это, и разговаривал со мной, как со всеми остальными детьми пожилых пациентов, в этой ситуации похожими друг на друга, как две капли воды.

- Имя? Отчество?

- Моего отца зовут Федор Николаевич.

- Я не об отце спрашиваю. Как зовут вас?

- Меня? Ярослав Федорович.

- Так вот Ярослав Федорович. Мест в клинике нет. Мест, понимаете ли, всегда несколько меньше, чем пациентов.

- Понимаю.

- Что вы понимаете? Могу предложить вам только коридор.

- То есть мой отец будет лежать в коридоре?

- Вот именно.

Меня это несколько задело. Отцу, моему отцу плохо, а я ничего не могу для него сделать.

- А нельзя ли в палату?

- Палаты переполнены. Говорю же вам – мест нет.

- И сколько он будет лежать в коридоре? Сколько будет ждать места в палате?

- Может быть, день; может – три дня; а может неделю. Как повезет.

Врач, с которым я обсуждал проблемы пространства и времени в одной, отдельно взятой клинике, гордо носил фамилию Коврик. Имя и отчество его были зашифрованы в буквах К.Я. Он поднял на меня водянистые глаза и стал смотреть сверху вниз (хотя он сидел на стуле, а я стоял), предлагая сделать какой-то очевидный вывод.

- Так, так, - сказал я. – Как же нам быть?

- Вы можете расположиться в этом чудном прохладном коридоре. А можете ехать домой. Только расписку напишите, что вы отказываетесь от госпитализации.

- Мы не отказываемся.

- Тогда – коридор.

- В коридоре холодно.

- Значит, пишите расписку. Принимайте на себя ответственность; станет больному хуже – пеняйте на себя.

Водянистые глаза не меняют выражения, а я начинаю нервничать.

- Доктор, - говорю я, - я не знаю, какое решение в этой ситуации будет правильным.

- Этого никто не знает, - говорит доктор Коврик.

«Как же вы меня все достали», - думаю я.

Во взгляде доктора К.Я. читаю то же самое.

- Я забираю отца, - говорю я решительно – именно потому решительно, что я совершенно не уверен в своей правоте. Просто в коридоре очень холодно.

- Пишите: я такой-то, сын такого-то, будучи в здравом уме и осознавая все последствия своего поступка, отказываюсь от госпитализации...

- Знаете что, мой отец остается в клинике.

- Привезите ему теплое одеяло, Ярослав Федорович. И шерстяные носки.

Мой отец простудился. Теплое одеяло и шерстяные носки не помогли. Кончилось все опасным в его возрасте воспалением легких.

В конце концов, сердце его не выдержало, и он умер.

Сын мой не пришел на похороны моего отца, и я, отец своего сына и сын своего отца, вмиг осиротел.

Попросту говоря, остался один.

Мир, едва помещавшийся в границы моего «Я», теперь сузился до тех же размеров.

- Ты не присутствовал на похоронах своего деда, Степан, - сказал я.

- Я вчера отвез цветы на его могилу. А в тот день у меня была премьера, ты ведь знаешь, декорации были не готовы, спектакль сырой...

- Какие цветы? – прервал его я.

- Как это какие? Обычные цветы на могилу.

- Живые?

- Кажется, да.

- Как они называются?

- Розы, кажется.

- У-у-у-у... - я до боли сжал скулы. – Неужели ты не помнишь, что дед терпеть не мог роз?

- Да ладно, - сказал Степан, которого, очевидно достали все эти церемониальные штучки. – Какая разница?..

Это так похоже на Степана. Он эмоционально не вкладывается в жесты и поступки по отношению к ближним своим, в число которых я по умолчанию зачислял и себя. По священному праву отца. Вроде бы ведет себя как человек, который обременен кучей обязательств, который по рукам и ногам повязан какими-то твердыми словами, обещаниями, на него все рассчитывают, он боится их всех подвести. Среди друзей своих он слывет добрым малым. В меру ответственным.

Вот только я никогда не мог на него рассчитывать. Если судить по словам и намерениям, то он, вроде, был неплохой сын, в меру адекватный; если судить по поступкам...

Я всегда боялся судить его по поступкам, всегда зачарованно останавливался у этой черты, за которой начиналось нечто такое же страшное, как смерть моего отца. За чертой начиналась боль.

Да ладно. Если судить по поступкам, то он меня не любил. И не нуждался во мне. И это было необъяснимо.

Я никак не мог принять решения, как вести себя с сыном: так, как требует разбушевавшееся сердце, или продолжать терпеливо и гибко гнуть воспитательную линию, ожидая, что чудесный результат вот-вот даст о себе

знать, и сын оценит, наконец, мое тонкое и деликатное отношение к нему. Воспитание мое состояло в том, чтобы не заставляя сына, не подчинять его себе, не манипулировать им, а дать ему шанс осознать, что он обречен выбирать. Ибо: «Я» не рождаются, «Я» становятся; я ждал, когда же мой сын поймет это.

В тот день, когда не стало моего отца, я позвонил сыну и сказал:

- Степан, твой дед умер.

- Да, - сказал Степан. – Понятно.

- Похороны завтра.

- Понятно...

- Матери своей сообщи...

Больше я ничего тогда не сказал, потому что не хотел давить на Степана съезжавшим в хриплый регистр голосом. Открытые проявления чувств я всегда считал слабостью.

- ...Разница большая. Ты засранец. К тому же инфантил. А также конченный эгоист.

Это я произнес неожиданно для себя. Но я вложил в слова, которые, оказывается, выстрадал, поэтому произнес их тихим голосом.

- Да ладно, - сказал Степан. – Можно подумать, ты не эгоист. И мама эгоистка. Все эгоисты. Все только и носятся со своим я. Вот ты даже не спросил, как прошла премьера...

Было видно, что мои слова его не задели.

Спектакль назывался «Я и другие жители Земли». Степан сам поставил его и сыграл главную роль. Можно не сомневаться, успех был шумным.

- Розы тебе перепали на премьере?

Он сделал жест, означающий «да ладно», из которого торчал шип «какая разница?» Он был талантливый актер, в этом я не сомневался.

Он – я ощущал это всеми фибрами своего «Я» – судил меня с позиций своего маленького «я», уютно вписавшегося в мироощущение своего поколения, девизом которого стало «не бери в голову». Это было фатально и неисправимо. Я терял своего сына. Я перешел за черту. Пятьдесят лет, что вы хотите. После пятидесяти все другое. Верно, доктор Коврик?

Отец тоже никогда меня особо не понимал, он все проблемы объяснял по-своему: «Эх, развалили страну...» Но в той ситуации мне было легче: я был умнее отца, следовательно, ответственность за наши отношения лежала на мне.

Иметь глупого сына, который считает себя умным, – это совсем другое. Это наказание. Кара.

Возможно, издевательство.

А возможно, месть.

Или – всего лишь плата за роскошь быть «Я».

Мог ли я не записать рассказ, сотворенный самой жизнью, – я, которому сам бог велел взяться за роман «Авто, био, граф и Я» (это я давно решил)?

Это должно было случиться рано или поздно.

Случилось слишком рано.

Так мне и надо?

26-27 марта 2011

IV. КОРОТКИЕ НОВЕЛЛЫ

ИЗ-ЗА ДЕНЕГ?

- Из-за денег?

В глазах Виталия Савельевича застыл ужас страха смерти, смешанный с ужасом только что открывшейся бессмысленности жизни.

В этот момент сын – стеклянные глаза, чужое медвежье выражение, давно уже приросшее к лицу, – безо всяких сантиментов сбросил отца с балкона восьмого этажа, словно отслуживший свое мешок с мусором.

Виталий Савельевич, приличный виолончелист, из чувства внутреннего протеста даже не стал сопротивляться. Он кулем перевалился через крашенные прошлым летом желтые перила и – «перед ним пролетела вся жизнь его».

На самом деле он испытал краткое недоумение, не более того. Он даже не осознал, что перед его «мысленным взором» как одно мгновение в деталях пробежала вся жизнь. Он не заметил этого.

Он просто упал и разбился «вдребезги напополам», как выражался его приемный сын Денис.

- Уважать ребенка – не уважать себя, - говаривал папаша маленькому Виталию.

Как в воду глядел.

2009

ИСКУССТВО НЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ

Я всегда считал, что нет ничего проще, чем ненавидеть себя; я считал, что гораздо сложнее любить себя.

Вообще любить сложнее, чем ненавидеть.

Но Вика сказала мне:

- Сначала научись любить себя. После этого, возможно, поймешь, что значить ненавидеть себя. А уж потом, может быть, сообразишь, что твое отношение ко мне... Это, к сожалению, даже не эгоизм; это черт знает что... Это... деревянное равнодушие. Ты не умеешь любить или ненавидеть. Ты не способен испытывать чувства. Понял? Так вот – начни с себя...

- Ага. Спасибо. А ты, Вика, можешь сказать о себе, что ты эгоистка?

Она задумалась.

- Да, могу. И для меня любить – значит, с удовольствием переставать быть эгоисткой. А с тобой мне хочется быть эгоисткой еще больше.

- Значит, ты меня не любишь?

Она задумалась.

- Наверное, нет. Если бы любила, я бы перестала быть эгоисткой. А мой эгоизм только усиливается. Значит, не люблю. Логично?

- Я слышал, любовь и логика не совместимы. Где любовь, там нет логики. Когда любишь...

- Правильно. Вот я тебя не люблю – поэтому логики сколько угодно.

- Я не это имел в виду... Твой эгоизм усиливается, но это не показатель отсутствия любви. Возможно, это как раз показатель любви. На самом деле, ты, может, и любишь меня, только сама еще этого не знаешь.

- Какого ты о себе мнения... Да ты, как я погляжу, конченный эгоист.

- Пожалуй. Как и ты. Только я с удовольствием перестал им быть. С тобой. А ты приняла это за равнодушие.

- Ты поставил меня в тупик. Ты хочешь сказать... Подожди, давай еще раз сначала.

- Ага. Только я тебя перед этим поцелую.

- Зачем?

- Вот видишь: опять не дружим с логикой. Корявенький ответ. Его подсказал тебе глупый амур. А затем, что я не собираюсь ненавидеть себя.

- Отчего же?

- Оттого, что я тебя люблю.

Она задумалась.

- Тогда целуй.

- А мое деревянное равнодушие тебя не покоробит?

- Не будь таким занудой. Я могла и ошибиться... Давай, целуй.

Я поцеловал Вику – и сразу после этого почувствовал прилив ненависти к себе.

Через день ко мне вернулась любовь к себе.

А еще через день я понял, что не люблю Вику.

Просто потому, что я ее не люблю.

29.11.08

КАПЛИ МОЛОКА

- Бабушка, смотри – капли молока! – свежие глазки подвижной девочки лет двенадцати оживленно забегали.

- Где? – поправляя очки, строго поинтересовалась старенькая запыхавшаяся бабуля, годящаяся своей внучке в прабабушки.

- Вон, смотри, на полу!

- Ага, молоко. Кто-то разлил.

- Ага. Из дырявого пакета. Как ты думаешь, кто разлил?

- Не знаю, - протянула укрощавшая дыхание бабуля, однако, призадумавшись.

Ветхая бабушка и напоминающая ее близко посаженными глазами девчонка с косичками только что вошли в троллейбус. Действительно, на платформе («на полу!»), прагматично обтянутой ковриком из черной рифленой резины, расплескалось белое молоко.

Я смотрел на них с таким же интересом, как они на капли молока.

- Смотри! Быстрее! – воскликнула внучка, тыча пальчиком в окно.

- Что такое? – сосредоточилась бабушка.

- Видишь собачку? Я хочу такую же.

- Собачку?

- Ага.

На следующей остановке выходило много народу, в том числе я и бабушка с внучкой. Теперь они обсуждали уже стильный объект (лицо двигалось как-то отдельно от щуплого туловища: мужественный массивный подбородок (Челюсти!) был свиреп сам по себе, однако нависшая над узким лбом мягкая челка, закрывающая один глаз, парадоксально делала носителя челюстей безобидным персонажем мультика), проплывавший справа от них. Казалось, бочком движется человек в маске.

Навстречу бабушке с внучкой, лоб в лоб, быстро двигались молодые люди, предположительно он и она (бусы, четки, серьги, стрижки на обоих или обеих дезориентировали); они тоже бурно что-то обсуждали. Я остановился и замер: впечатление было такое, что столкновение парочек неизбежно (хотя вокруг был даже не тротуар – просторная площадь, только стайки людей там-сям). В самый последний момент молодежь, передумав идти на таран, словно два стрижа резко заложили вираж влево, едва чиркнув локтями по буклям бабули.

Ни те, ни другие, кажется, даже не заметили этого.

Мир и гармония царили вокруг.

Я стоял и смотрел истуканом вслед сначала одним, потом другим.

Потом посмотрел на себя со стороны и увидел: я стоял один немой вопросом посреди огромной площади, по которой в разные стороны струились редкие потоки людей. Изредка они сливались, а затем, отпрянув, опять держались своего, заданного инстинктом, направления.

20.05.2010

ЛЕДИ В ГОЛУБОМ

- Я позвонила сказать, что у нас ничего не получится.

Я не спешил с ответом, а она, судя по всему, не собиралась комментировать сказанное.

- А могло что-нибудь получиться? – спросил я приличия ради: все-таки мяч был на моей стороне.

- Наверное, могло... - вздохнула я. - У меня уже две ночи бессонница. Становится страшновато. С вами невозможно никого сравнивать. Но не стоит дразнить судьбу.

- Думаете, не стоит?

- Я не знаю...

Чувство мои перепутались, и я с трудом улавливал главное ощущение: судьба соблазняла меня, а я не готов был к такому искушению. С каждым часом мне все труднее было выдерживать мужественную генеральную линию: независимость прежде всего. Иногда чудилось, что это линия слабости.

Мне эта женщина показалась уверенной в себе и знающей себе цену.

Мы были едва знакомы с ним, однако испытали мгновенную симпатию друг к другу. Непреодолимую. У меня уже был грустный опыт по поводу того, насколько обманчивы чувства, и потому я, казалось бы, должна была начать с обоснованных сомнений: стоит ли направлять отношения в рискованное романтическое русло?

Но я отчего-то поддавалась другой волне.

Мне не было стыдно; но я была уверена, что отсутствие стыда он не поймет как бесстыдство. Не знаю, кого я больше испытывала: его или себя?

Себя, конечно; он производил впечатление мужественного и надежного.

Любовь?

О любви никто не говорит; это нечто другое, какой-то иной жанр общения. Она – тонко чувствующая женщина, несомненно, а я – ценитель этого редкого женского дара. Вот и все.

Но странно: наши возможные отношения могут только навредить нам.

А если их исключить – то становится грустно. Как будто тебя обделили.

Любовь?

Я не готова. Я не остыла ещё от прошлого и не знаю, какого будущего желаю для себя. Мужчин побаиваюсь, женщин не понимаю.

Позавчера мы всего час ехали вместе в пустой вечерней электричке. Она была в голубом платье, которое подчёркивало очарование невыразимо прекрасного тела недавно родившей молодой женщины. С ней была дочь, крупная девочка на вид около двух лет.

Я заглянул ей в глаза и произнес речь, удивившую меня самого:

- Ребенка, дитя природы, уважать нельзя; можно уважать в нем будущую личность – то есть уважать в нем самого себя. И ребенок ориентируется именно на то, *кто* его уважает и *как* он это делает. Собственно, в этом и заключаются процесс социализации и суть воспитания.

Масштаб личности воспитателя становится решающим фактором, именно он программирует и формирует масштаб личности ребенка; а кем станет уважаемый воспитанник (перерастет ли он этот формат или не дотянет до него) зависит в том числе и от его природных данных.

Странно получается: уважать ребенка – не уважать себя. Вы согласны?

В ответ я достала свою налитую красивую грудь и стала кормить Машку. Сначала он из чувства приличия отвернулся, а потом не отрываясь стал смотреть, как Машка, причмокивая, терзает мой сосок.

Она смотрела на меня, сжимая ладонью волнующую красивую грудь.

- Сколько вашей дочке? – спросил я, не зная, как себя вести.

- Год и девять месяцев, - сказала я, не отводя глаз. – Вы не любите детей?

Вдруг он наклонился ко мне и взял мою грудь в свою ладонь. Машка продолжала сосать, а я испытывала...

Сладкий, сладчайший стыд и желание отдаться здесь и сейчас. Наверное, я рождена была русалкой. Или ведьмой.

- Упругая..., - сказал я.

- Нет, уже не то. Раньше была лучше, - честно ответила я.

Я просунул руку под легкое голубое платье и погладил её бедро. Быстро добрался до трусиков.

Я отвела его руку из последних сил.

Она решительно убрала мою руку и стала смотреть в залитое электрическим светом окно, в котором отражались наши фигуры и лица. Выражения глаз было не разобрать.

Я дал ей номер своего телефона и, не прощаясь, вышел из вагона.

Я набрала его номер.
Машка спала.
Я была совершенно обнаженной.

2008, апрель 2010

ПЕРВАЯ ФРАЗА

«Дверь отворилась с протяжным скрипом, напоминающим сладострастно-изумленный женский вздох».

Я написал эту первую фразу, слетевшую, как и положено, откуда-то ниоткуда и зацепившуюся за кончик моего пера, и «задумался» (то есть «забродил» ощущениями, открыв свое сознание всем ветрам и веяниям).

Прошло какое-то время – ничего не менялось. На чистом листе красовалась только эта первая фраза. О чем писать дальше – неизвестно.

Откуда-то из ниоткуда не поступало никакой информации.

Но фраза, словно начало или конец клубка, не давала покоя. Какая-то богатая, мерцающая клочками смыслов и ощущений фраза. Чертовщина, однако. Пытался приладить ее и так, и этак, однако ситуаций под нее не находилось. Но если эта фраза про дверь была ключом, должна же быть и дверь в события.

Фраза могла быть ключом в чье-то прошлое. Или будущее.

И вот уже несколько красавцев героев примеривали на себя разные легенды. Отчетливо вижу: набриолиненный молодой человек (слащавый брюнет, разумеется) лет тридцати спешит на свидание. Ему жаль, что его модные лакированные туфли слегка припорошила пыль (хотя он аккуратен, переступает, словно кот, с булыжника на булыжник; откуда взялась проклятая пыль южной ночью?). Его ведет эта фраза, призывно ведет куда-то по узким лабиринтам древнего города. Он уже слышит этот волнующий звук тяжелых завесов...

А вот стареющий мачо поворачивает рано поседевшую голову на едва слышное пение массивной двери. Где он? В холле гостиницы?

Возможно.

Тут следует описать его молодые глаза...

А вот юноша, которому женские вздохи чудятся отовсюду. Он вздрогнул и смотрит на приоткрывшуюся дверь: что там? Кто там?

А вот я сам, тоскующий по идеалу. Передо мной чужая дверь с глазком. Меня долго рассматривают. Я переминаюсь с ноги на ногу.

Кончилось тем, что я набрал номер Веры: муж её был в командировке.

За полночь – самое время.

Следующим вечером в моем воображении ни с того ни с сего стал рождаться диалог.

- Как дела?

Я на секунду задумался и, чтобы отвязаться, избрал проверенную тактику:

- Спасибо. По-разному плохо.
- А что случилось?
- Начну, пожалуй, с болезни жены...
- А сами вы здоровы?
- Нет, пожалуй, не совсем. Не совсем... Начну с печени. Видите ли... Сработало. Я опять один.

Кончилось тем, что я набрал номер Веры.

2009

ПЕРСОНАЖ

Сразу после 50 я стал чувствовать себя персонажем какой-то истории, возможно, небезынтересной, по-своему увлекательной, у которой, однако, предопределён был нелепый финал.

Я раздвоился, но это раздвоение не носило характера нового способа познания, как это бывало у меня раньше. Я вступал в диалог с самим собой – и всегда, смещая точки зрения, открывал для себя многогранность объекта, что только усиливало мой познавательный аппетит.

На сей раз всё было совсем не так.

Восприятие жизни со стороны стало превалировать над восприятием изнутри. Казалось бы, это я уже проходил. Совмещаем обзор и получаем... что?

Я получал печаль. При желании это можно было считать новым знанием, но откуда оно бралось, если я напрочь лишен был энергии любопытства?

Если это симптом, то симптом чего, хотелось бы знать?

Если фаза жизни, то из чего она родилась и куда продолжается?

Весьма странное ощущение: я живу и одновременно наблюдаю за своей жизнью со стороны.

Началось с того, что я пережил опыт катастрофы (развала семьи): оказалось (к сожалению? к счастью?), всё в жизни можно потерять раз и навсегда, причём легко и просто.

С тех пор ощущение зыбкости, хрупкости, готовности в любой момент собрать пожитки и уйти в никуда – всегда со мной. Отношения людей перестали казаться мне надёжными. Я перестал верить другим – потому что перестал верить себе.

Я утратил вкус к основательности, фундаментальности и незыблемости.

Нет, даже не так, ещё проще. Я перестал бояться одиночества. А ведь боязнь одиночества – основа цивилизации.

Что это: мудрость или обнажившаяся так некстати слабость?

Моя новая возлюбленная Кристина оказалась женщиной с характером, легко несущей самую тяжёлую ношу человека – свою уверенность в том, что она верит в принципы и никогда в них не разочаруется. Никогда, до самого горизонта.

Эта лёгкость меня уже не воодушевляла, не обнадёживала, не настораживала; она меня попросту раздражала.

Ещё проще и грустнее: Кристина оказалась женщиной.

Она смотрела на меня и ждала, когда в глазах моих растворится грусть, которую она считала явлением временным и неприятным, словно атмосферные осадки в виде снега или дождя.

- Неужели ты не замечаешь, какие гармоничные у нас отношения?
- Замечаю, - отзывался я.
- Скажи мне, в чём секрет гармоничных отношений?
- Секрет в том, что я понимаю, а ты прекрасно обходишься без понимания – и при этом не мешаешь мне понимать.

- Нет, ты опять нагнетаешь и накручиваешь. Скажи проще.

- Хорошо: вот формула гармоничных отношений: женщина доминирует, мужчина управляет её доминированием.

Она рассмеялась (какая страшная и точная реакция – просто ужас для посвящённого!) и вовсе не испугалась того, что я ей сказал. Она всерьёз полагала, что я выразился проще. Я же сам внутренне похолодел, тщательно взвешивая и выговаривая слова и продвигаясь в тёмный тоннель медленно и точно, словно сапёр, который, так сказать, по долгу службы закладывает сверхмощную мину под памятник культуры мирового значения.

Она жила на спящем вулкане, думая, что это лужайка, чудом занесённая сюда из райских кущ на веки вечные (повезло! должно же везти кому-то, почему не нам?); я же прикидывался, что живу на ковре-самолёте: лёгкая болтанка, ощущение невесомости, но в целом жить (прозябать, не улыбаясь) можно. Моё чудачество мне прощалось, её же «точка зрения» фактически становилась нашей точкой отсчёта в жизни. При этом считалось, что она реалистка, а я – романтик неисправимый.

Обманывал ли я её?

Нет. Как можно выжившему после катастрофы обманывать жителя страны иллюзий?

Я просто не мог передать ей свой опыт – это раз; а во-вторых, не считал нужным это делать.

Мы жили в разных измерениях, каждый в своём; не знаю, можно ли было считать это гармонией, однако у нас получалось нечто совместное.

Персонаж, персонаж...

Теперь я понимаю, почему я чувствовал себя персонажем: я совершал невозможное, совершал то, во что сам никак не верил – невольно обманывая, но и увлекался сам, не решаясь до конца верить в то, во что, наверно, не верить не мог. Всё сложно...

- Хочешь круассан?

- Хочу.

Я его действительно хотел; я ел и получал удовольствие от круассана. Слоёное тесто крошилось и рассыпалось. Удовольствие было несомненным.

Да, несомненным.

Чем не почва для выстраивания дальнейших отношений?

2010

СКОВОРОДКА, БЛИНЫ И НАДКУШЕННАЯ САРДЕЛЬКА

Муж и жена, Прохор и Елизавета, сидели дома на диване, умиротворенно прижавшись друг к другу. Ее голова была забинтована, в его позе ощущалась нездоровая напряженность, однако по их лицам, мягко освещенным светом торшера, можно было угадать: они были счастливы.

...Вчера он вернулся домой поздно – гораздо позднее обычного, за полночь. И не слегка выпившим, как это случалось иногда (ритуал «деловая доза» – особо не приветствовался, но особо и не возбранялся супругой), а в стельку пьяным, чего никогда прежде не случалось.

Елизавета была в бешенстве: глаза ее восхитительно сверкали, а в руке не доставало какой-нибудь скалки или, в интересах Прохора, веника. Она не позволила ему лечь рядом с собой в спальне («чтобы духу твоего здесь не было!»), а отправила на диван в другую комнату.

Прохор безропотно подчинился: из немногих чувств, которые он испытывал в ту минуту, его переполняло одно – чувство вины. Во-первых, он где-то потерял букет, предусмотрительно купленный часов в десять вечера, чтобы смягчить триумфальное появление домой; Петра Ефимовича, большого и нужного человека, удалось-таки внести и «посадить» в вагон московского поезда, и на радостях Прохор со своим компаньоном, Виталиком, решили отметить это событие.

Вот тогда Прохор и купил букет, а вместе с ним и маленькую плоскую бутылочку коньяка. Коньяк благополучно выпили – а вот с букетом промашка вышла. Исчез. Как потом выяснилось. Испарился самым подлым и неопишуемым способом.

Во-вторых, они с Елизаветой запланировали вечер любви. Так им захотелось, и к тому располагал ход дел. Сорвалось, естественно.

Вот почему то, что произошло утром, тоже было по-своему естественно.

Елизавета проснулась от рабочего шума на кухне: звяканье посуды перемежалось с каким-то клетотом (взбалтывает? Прохор? что он там взбалтывает, пес бродячий?) и плеском воды в раковине. Быстро реанимировав вчерашние воспоминания, а также воодушевленная новым поводом (выспаться не дает толком в субботу!), Елизавета в тонкой сорочке (ждала этого выродка, разделась соблазнительно...) устремилась на кухню, в свои исконные владения.

Прохор творил блины – то есть он делал то, чем не занимался последние десять лет, что сделал, собственно, однажды, а именно: утром в первый день их медового месяца. Это был незабываемый завтрак в постель, их трогательное семейное предание. Ах, лето...

Елизавета сразу же простила ему все. Теперь она могла бы, в принципе, довольствоваться формальным признанием вины и извинениями – да и то потом, после того как...

В общем, Елизавета решила сделать то, что впервые сделала ему тем утром десять лет назад, то, что мужчины называют пошлым словом, а женщины предпочитают делать, а не называть, – короче говоря, она решила побаловать его отменным минетом. Это была чистой воды импровизация – непредсказуемая и

оттого особенно впечатляющая. Прохор поворачивается к ней с раскаленной сковородкой в руке (перевернуть блины, чтобы не подгорели, да прямо перед женой, да с трактирным шиком и цирковым форсом, с подбросом – продемонстрировать все, на что способен случайно оступившийся крепкий семьянин) и гротескно отчеканенным чувством вины на лице (еще не знает, что прощен, бродяга) – а она опускается перед ним на колени. Вот этот момент – на колени перед фраером-коком, чей торс был обернут только влажным полотенцем (предусмотрительно был принят душ, на всякий случай), более из одежды ничего, – Прохор, увлеченный сковородными манипуляциями, пропустил. Блин был уже практически подброшен вверх, оказавшись во власти сил инерции и притяжения, как вслед за блином с торса шеф-повара взлетело полотенце и жена припала губами к его плоти.

Прохор застыл.

Дальше восстановить произошедшее можно только с помощью замедленной съемки, буквально покадровой. Итак...

Елизавета, решительно занятая священным дамским делом, вдруг почувствовала, как на ее красивую (она знает, знает это!) спину падает расплавленное солнце в полужидком, непропеченном состоянии; челюсти ее от дикой боли рефлекторно сокращаются – и дорогой Прохор познал все прелести ада: головка его ободрившегося дружка была практически откушена, так сказать, купирована той, кто должна бы хранить ее, как зеницу ока; еще не осознав всей трагичности положения, Прохор с коротким криком, почти без размаха вlepил сковородкой любимой жене по черепу – сработал инстинкт самосохранения: Прохор, понятное дело, целил не в жену, а в объект («Челюсти!»), который надкусил, ну, вы понимаете, сардельку, только-только набиравшую сок.

Елизавета пикнуть не успела, рта не успела раскрыть, как оказалась поверженной у ног супруга; его кровь смешалась с ее, хлеставшей потоком из открытой раны на голове.

Так и не выпустив сковороды из рук (казалось, даже разжатие пальцев принесет новую боль), Прохор умудрился вызвать скорую.

Приехали быстро.

Врачи, он и она, были несказанно изумлены картиной, открывшейся их взорам.

Прохор в двух словах описал неопишемое.

Бывалый, выдавший виды эскулап сначала посинел от душившего его смеха (он стонал и всхлипывал с каким-то козлиным восторгом, исторгавшимся из него вулканически), а потом быстро наложил швы Прохору и Елизавете. Чувствовалось – профессионал. Во время работы не смеялся. Только головой покачивал от удивления.

...И вот теперь супруги сидели на диване, на котором коротал ночь пьяный Прохор, и вспоминали то летнее утро, наступившее в первый день их медового месяца, длившегося уже без малого десять лет.

19.11.2008

ЧУДО

- Этот мальчик умеет читать с закрытыми глазами, - взревел телеведущий. – Зовут его Богдан Обруч.

Публика в студии восторженно рукоплескала.

- Он проехал с завязанными глазами на роликах 16 километров по улицам Минска. Никого не сбил и сам, как вы сейчас убедитесь, остался цел и невредим!

Бурные аплодисменты.

- Богдан с повязкой на глазах определяет цвета кубиков!

Публика в студии уже беснуется: ещё бы, её подзадоривает фанат Богдана, которого все зовут просто Лёсик.

- Богдан Обруч – с закрытыми глазами! – повторяет рисунки или вырезает из бумаги нарисованные другим человеком узоры.

Это чудо! Наука не может объяснить этот феномен, имя которому Богдан Обруч!

Лёсик прыгает, все кричат «вау!», но телезрители этого не видят: на экране иной сюжет. Словно в подтверждение слов ведущего, по телевизору показали кадры бесконтактной борьбы цигун. Мастера этой борьбы заставляли своих противников совершать действия, направляемые «сгустками энергии» мастеров.

«Чудеса вокруг нас. Какие еще нужны доказательства чудес?» - как бы вопрошали кадры.

- А ты знаешь, что такое горе от ума? – спросил у Богдана Антон, его ассистент, ровесник и одноклассник.

- Нет. И что это за горе?

- Что такое счастье, Богдан?

- Не знаю.

- С тобой не интересно.

- Разве это не весело делать вслепую всякие штуки? Все тащатся...

- Нет. Это скучно. У меня есть приятель, так он стекла глотает. Тоска. Мне вот интересно, почему Печорин так поступил с Бэлой.

- У нас есть физрук Печорин.

- Знаю. Прыжки в ширину и в сторону.

- Угу. Прикольно.

- Можешь прочитать, что я написал на листке? Только не подсматривай.

- Могу.

- Читай.

- «Ты болван».

- Правильно. А мысли мои прочитать можешь?

- Нет.

- А свои мысли у тебя есть?

- Зачем они мне?

В этот момент Антона позвали на интервью с телеведущим.

- Скажите, ведь безумно интересно быть другом такого человека, как Богдан? Не так ли? – кривлялся ведущий.

Антон подумал и сказал:

- Конечно, интересно. Мой друг наделён уникальными способностями. Уникальнее их только умение думать. Но это почему-то не считается чудом. Кстати, вы не знаете, почему?

Ведущий пожал плечами и задал следующий вопрос:

- Скажите, Богдан и правда учится плохо? Не так ли?

- Изумительно плохо. Учителя в восторге.

- Угу. Отлично. А скажите, правда ли...

В этот момент режиссёр дал команду, и ведущий отвернулся от Антона.

Предстоял выход на сцену самого Богдана.

Лесик махал руками и тряс головой. Публика стонала и пищала.

- Чудо! – рявкнул ведущий и Богдан вышел на сцену с повязкой на глазах.

2009, 2010

ШАРФИК И ШЛЯПА

- Что на вас надето? – спросил человек в шляпе, предварительно учтиво поблагодарив незнакомца за то, что тот любезно позволил воспользоваться своей зажигалкой, чтобы раскурить сигару. Оба были уже не первой молодости и оба не спешили.

- Это? Шарфик.

- Вы что, донжуан?

- Пожалуй. А как вы догадались?

- По шарфику.

- А вы... дайте подумать... тоже донжуан?

- Пожалуй. По шляпе раскусили?

- Дело не в шляпе. Дело в ухоженности и желании произвести впечатление. Сигара, опять же. Плэйбой, практически.

- Пожалуй, пожалуй...

- Вот, казалось бы, шарфик, ничего особенного, да? Не скажите. В моем возрасте необходима отвага, чтобы освежить облик, прямо скажем – омолодить себя. Это не всем дано, далеко не всем. И действует шарфик, скажу я вам, избирательно – то есть сигнализирует о чем-то важном именно тем дамам, которые нравятся мне. Тут что-то от магии и волшебства, я не знаю, но это так. Это работает, как говорят в паршивых американских фильмах. Кстати, там мужчины никогда так не одеваются, там шарфик – это всегда пошлость какая-то. Атрибут дешевого мачо. У меня, извините, мужественная ностальгия по молодости и желание не сдаваться; а там – дешевка.

- Да, да, пожалуй. А шляпа вносит дополнительный акцент. На вас какие дамы западают, извините за откровенность?

- Бальзаковского возраста, само собой.

- Вдовушки?

- Преимущественно.

- Ага, вот видите! А на меня обращают внимание и вполне замужние. И гораздо моложе меня.

- Вы хотите сказать, что шляпа молодит гораздо более шарфа?

- Пожалуй, именно это я и хотел сказать.

- Но почему?

- Это вопрос практики, а не теории. Давайте спросим вон у той прилично одетой женщины, может она нам ответит. В ее возрасте уже не врут.

- Вот так сразу, подойти к незнакомой даме?

- Вот, видите, вам в шарфике это проблематично, а мне в шляпе все дозволено.

- А давайте от слов к делу.

- Мадам! Вы позволите!

Женщина остановилась и строго посмотрела на устремившуюся к ней фигуру мужчины в шляпе.

- Шура... - сказала Шляпа, споткнувшись и оторопев.

- Жигуль! Жигуленок! – выразилась женщина. – Какими судьбами?

- Вот именно: судьбами. Так сразу и не скажешь. Так, прохлаждаюсь.
- Так ты меня не узнал, Жигуль, не узнал?
- Шура! – сказал изумительно кстати подоспевший Шарфик.
- Боже мой, Пупсик! Ты ли это?! – всплеснула руками женщина.
- Собственной персоной, - исполнил кадетский кивок головой Пупс.
- Просто пятьсот лет не виделись.
- Точнее, пятнадцать.
- Я и говорю – целую вечность. Как ты?
- Разве по мне не заметно? Цвету и пахну.
- По-прежнему молодитесь, шалопаи. Вы ведь знакомы, я правильно поняла?
- спохватилась Шура.
- Да, - сказал Жигуль.
- Несомненно, - подтвердил Пупсик.
- Гулены, гулены, - погрозила она пальцем обоим. – Про меня, конечно, друг другу рассказывали?
- Ну, что ты, как можно! – напыщенно запротестовал Пупсик, непрерывно поправляя тонкой шерсти пестрый шарф.
- Да, несомненно, - сказал Жигуль.
- Шура, прищурившись морщинами, рассмеялась долгим молодым смехом.
- Тебе идет шарф, а тебе – шляпа, - кокетливо сказала она.
- А тебе – платье. Я помню, ты всегда носила платья, никогда не признавала брюк. Я помню, пожалуй, все твои платья, - сказал Пупсик.
- А я отлично помню тебя без платья.
- Ой, Жигуленок, дело прошлое. Какой ты... дерзкий. Ты женат? А ты?
- Я недавно развелся, - сказал Жигуль.
- А я – давно, - вздохнул Пупсик.
- Печально, мальчики.
- Отчего же? Мы вполне довольны своей жизнью, верно, Жигуленок, извини за фамильярность. А ты замужем?
- А как же? И дважды бабушка! А у вас есть внуки?
- Я не могу представить себя дедом, - сказал Жигуль. – Мне это претит.
- Мне тоже, - поправил шарф Пупсик.
- Чем же вы живете? Заберите у меня внуков – и я труп.
- Шура, - осторожно сказал Жигуль. – Как ты думаешь, что более освежает джентльмена: шляпа или шарф?
- Мне нравятся мужчины, которые с ума сходят по внукам. Они меня просто заводят. Вы разочарованы?
- Ну, что ты, как можно! – занервничал Пупсик.
- А вот я разочарован, - сказал Жигуль.
- Шура опять рассмеялась, стараясь разогнать неловкость.
- Как она вам в первой молодости? – спросил Жигуль после того, как они распрощались с Шурой.
- Вулканическая женщина. Она была просто огонь! – мечтательно произнес Пупсик.
- Странно. Мне она всегда казалась хладнокровной стервой, - сказал Жигуль.

- Вот как?
 - Боюсь, что да.
 - Гм-гм.
 - В сущности, она всегда хотела стать бабушкой. Любой ценой. И она добилась своего.
 - Я никогда не был женат, - сказал Пупсик. – Я всегда любил ее.
 - Позвольте еще раз зажигалочку. Сердечно благодарю. Зачем же вы носите с собой зажигалку, если не курите?
 - Глупая привычка. С молодости осталась.
- Жигуль молча выкурил сигару, вкусно попыхивая.
- Знаете, что я вам скажу по поводу шляпы? – сказал он.
 - Что, позвольте полюбопытствовать?
 - Шарфик круче. Прощайте.

2010

НА ЯЗЫКЕ ЯГАН

- Все это безумно сложно! – проворковал Младший брат, недавно закончивший школу.

- Да уж ты потрудись, объясни, - как всегда, скептически молвил Старший брат.

Младший говорил долго, он находил точные слова для передачи сложных душевных движений, оттенков, бликов, при этом он мычал, восклицал, прищелкивал языком и кончиками пальцев, глаза его блеснули – и всякому видно было, что он говорит языком сердца, языком первой любви.

- Все это безумно сложно! Это неопишимо! – заключил Младший брат.

- То, что невозможно передать словами, ясно даже дураку, - возразил Старший брат. – Или собаке.

- Что ты хочешь сказать? – Младший брат находился в том возрасте и в том состоянии, когда чувства его кипели, и обидеть его было легко. Старший знал это, поэтому хладнокровно добавил:

- «Это неопишимо!» – сказала маленькая собачка, обходя баобаб.

- Сам дурак! – парировал Младший.

- Согласен, - с чувством кивнул головой Старший. – Я хочу сказать, что твои переживания на языке племени яган, что обитает на Огненной земле (Чили, Южная Америка, у кого плохо с географией), описываются одним словом: мамихлапинатапай.

- Как?

- Mamihlapinatarai, - уточнил Старший.

- Опять что-нибудь про баобаб?

- Слушай внимательно, индеец. Это слово, которое я настоятельно рекомендую тебе взять в репертуар, означает примерно следующее: «взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого в том, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым».

- Круто! Это как раз то, что я хотел донести до тебя!

- А я о чем! Такие же губошлепы, как и ты, в школе не учились, письма не имеют – а чувствуют то же самое. Я же говорю: то, что невозможно передать словами...

- Да ладно! Ты хочешь сказать, что мои чувства весьма просты? Примитивны? Мне кажется, они огромны, беспредельны! Я чувствую себя человеком! Если ты не испытывал что-то подобное, ты не поймешь! И твой ум тебе не поможет! И лучше быть Моськой, чем толстокожим слоном!

- Разумеется, твои чувства просты, чисты, наивны. И беспредельны. Это нормально. Это хорошо. Первый опыт чувств – это своего рода шок. И жалок тот, кто его не испытал, а также тот, кто его испытывает. Ибо ты сейчас способен говорить исключительно на языке яган, на языке чувств – и это плохо. Вот я, переживший первое чувство, тебя способен понять, а ты меня нет.

- Я и не хочу тебя понимать!

- Совершенно верно. Не хочешь – и не можешь, что гораздо хуже. Я говорю на русском – а ты на яган. Я чувствую себя личностью, а ты всего лишь – человеком.

- Как это – всего лишь? Я – человек! И это звучит гордо. Только влюбленный имеет право называться человеком!

- Это звучит примерно так: мамихлапинатапай.

- Зато мы дети Солнца! И нам нравится быть детьми, радоваться жизни, а не ворчать: личность, личность...

- Это замечательно, конечно. Только вот неувязочка настораживает: человечество сегодня говорит на твоём языке, на языке яган. Пароль – *matihlapinatapai*. Судьба Земли в руках детей. Способных понимать лишь язык чувств. Только и слышишь: язык чувств не требует перевода, он понятен всем. Ура. Язык разума тоже понятен всем без перевода, однако нет пока такого языка. Все говорят на яган и переводить приходится с языка психики на язык сознания. Знаешь, как будет на языке яган «умное, зрелое чувство к очаровательной женщине, способной оценить достоинства мужчины как существа культурного, выделившегося из природы»?

- Как?

- Никак. Нет такого слова. А знаешь, как будет счастье? Свобода? Закон?

- Что, нет таких слов?

- Нет, все гораздо безнадежнее: нет таких понятий, и не будет. За ненадобностью. Детям, или, как ты изволил выразиться, человекам они не нужны. Неописуемо...

- Что же мне теперь делать? Перестать быть человеком? Отказаться от любви? Ни за что на свете!

- Ну, вот и молодец. Ты на верном пути. Идешь по стопам брата. Ведь поумнеть способен только тот, кто не отказывается от любви.

- Как это? Не понял.

- Подрастешь – поймешь.

- А человечество подрастет?

- Сначала надо перейти на язык сознания, на язык культуры. А там посмотрим.

- А где учат твоему языку? В университете, который ты закончил?

- К сожалению, нигде.

- А как называется твой язык?

- Русский. Или французский. Или английский, да мало ли...

- Так ведь и я говорю на русском! И на английском. Без словаря. Свободно.

- Нет, ты лопочешь на яган, детка. С русским акцентом.

- Опять переходишь на личности?

- О, мы уже слово личность освоили.

- Я имею в виду в хорошем смысле «на личность». Короче, ты меня понял.

- Я-то тебя понял. И как ее зовут, Ту, Которая желает, чтобы ты стал инициатором?

- Лена! – закатил глаза Младший брат. – Волшебное имя!

- Главное, редкое, - согласился Старший.

- А твою девушку как зовут?
- Оксана.
- Тоже хорошее имя.
- Имя как имя. Дело не в имени...
- А в чем?

18.07.2011